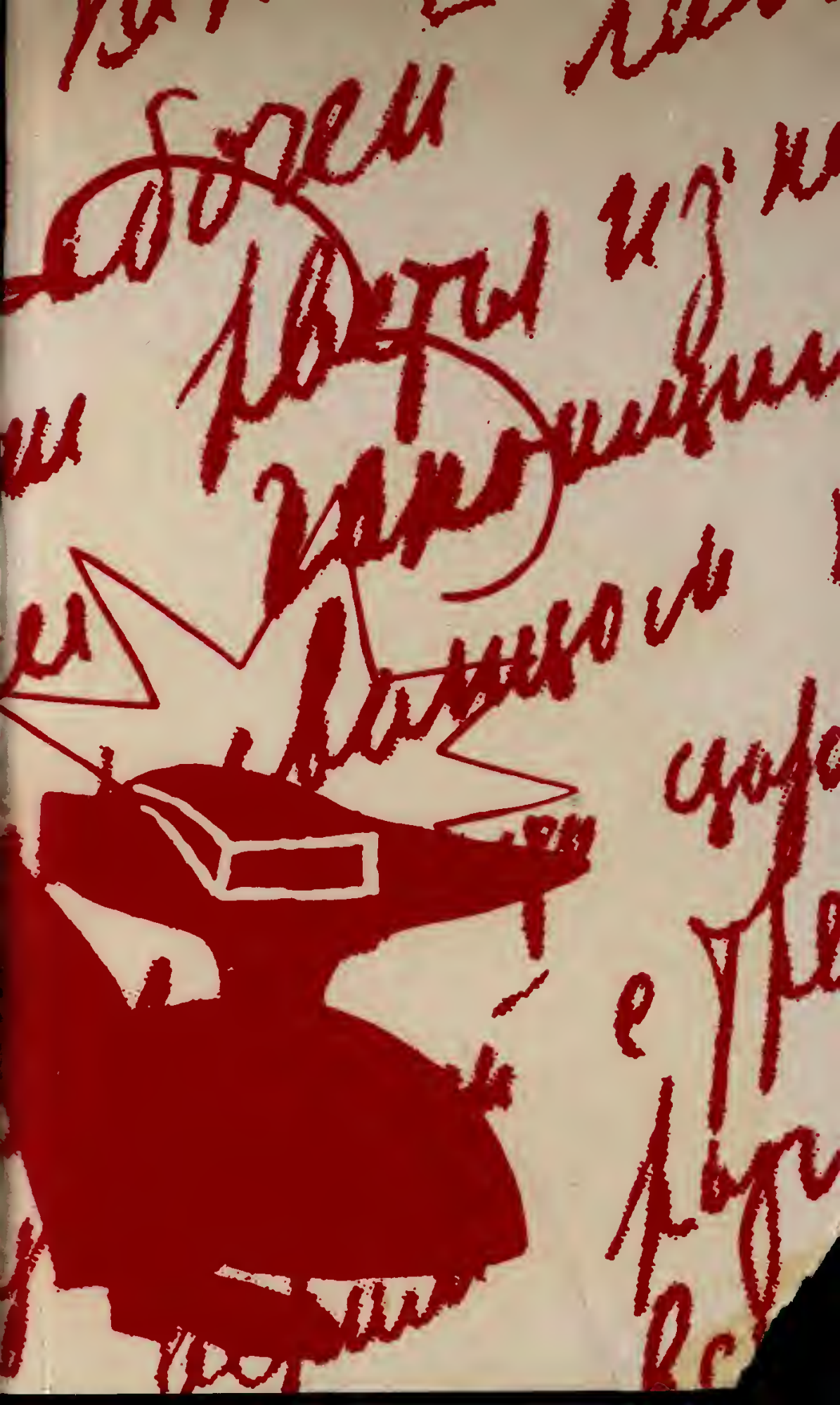
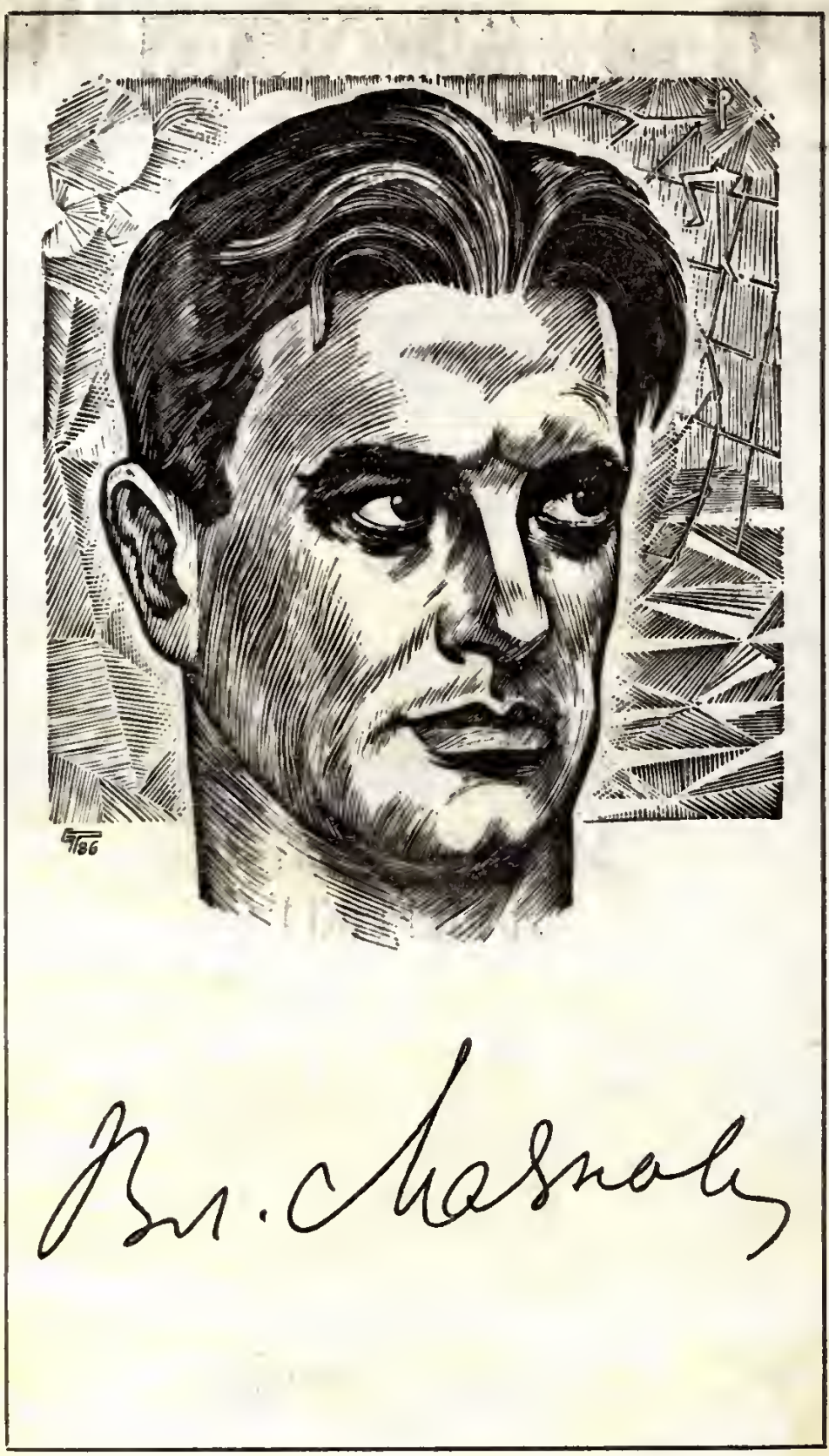


В. В. МАЯКОВСКИЙ

СОЧИНЕНИЯ
В ДВУХ ТОМАХ



В. В. МАЯКОВСКИЙ

СОЧИНЕНИЯ
В ДВУХ ТОМАХ

ТОМ ПЕРВЫЙ

●

Я САМ
СТИХОТВОРЕНИЯ
МОЕ ОТКРЫТИЕ АМЕРИКИ

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
1987

84 Р 7
М 39

Редакционная коллегия:

Бердников Г. П., Гоц Г. С., Дудин М. А.,
Исаев Е. А., Леонтьев В. П.,
Михайлов Ал. А., Пузиков А. И.,
Рождественский Р. И.

Тексты и научный аппарат тома
подготовлены издательством «Художественная литература»
с участием Института мировой литературы
имени А. М. Горького АН СССР

Составление
Ал. Михайлова

Вступительная статья
А. Метченко

Примечания и общая редакция
А. Ушакова

Оформление художника
А. Еремина

Портрет на фронтисписе художника
Е. Терехова

М $\frac{4702010200 - 1475}{080(02) - 87}$ 1475 — 87

© Составление, примечания. Издательство
«Художественная литература», 1987 г.
© Оформление. Издательство «Правда», 1987 г.

СЛОВО О МАЯКОВСКОМ[1]

В мировой поэзии XX века Маяковскому принадлежит особенная, можно сказать, исключительная роль. Маяковский первым из поэтов XX столетия отдал свой могучий талант революционному обновлению жизни, начатому Великим Октябрем. В наши дни наглядно видны глобальные масштабы совершенного им подвига. Уподобив поэзию Маяковского динамизму грандиозных межпланетных ракет, Пабло Неруда отметил, что под ее влиянием вся мировая поэзия «преобразилась, словно пережила настоящую бурю»[2].

* * *

Чудо слияния поэзии с социалистической революцией совершилось, в частности, потому, что Маяковский уже до Октября обладал такими важными предпосылками, как редкостный поэтический талант и пусть недолгое, но активное участие в освободительной борьбе. Причем — это имело особенное значение — в рядах самой революционной партии, большевистской. Эти обстоятельства сыграют свою очень весомую роль, когда придет пора зрелости — поэтической, гражданской и человеческой. А первые шаги Маяковского в литературе были осложнены сближением с одной из многочисленных в те годы модернистских группировок — с кубофутуризмом. Русский футуризм нашел в нем прекрасного пропагандиста, что, конечно, не дает оснований для идеализации этого течения. Как и все другие ответвления модернизма в искусстве тех лет, футуризм был узкогрупповым явлением и не имел связей с передовыми общественными силами страны, более того, был чужд им. От других подобных течений футуризм отличал лишь более резко выраженный бунтарский характер, но бунт этот носил чисто эстетическую устремленность и к тому же был направлен как против иных модернистских группировок, так и в особенности против традиций реализма с его высокой идейностью и гражданственностью.

---

[1] Статья дается в сокращении.

[2] «Маяковский и современность». М., Современник, 1977, с. 19.

Сам Маяковский был искренне убежден в том, что его участие в эстетическом буите футуристов было продолжением прежней борьбы — в другой области и другими средствами, убежден, что, сменив профессию революционера на профессию поэта, он не изменил первой, но должен был в совершенстве овладеть «тайнами» искусства. К этому, казалось поэту, идут вместе с ним люди, провозгласившие принцип самоценности слова. А кроме того, его захватила атмосфера эстетического буита, начатого футуристами. Среди них были и люди, не считавшие себя связанными с одряхлевшим строем помещичье-буржуазной России (В. Каменский, В. Хлебников).

Однако всего через полтора-два года стало очевидно, что в сравнении с Маяковским футуризм слишком незначительное и преходящее явление. Талант поэта стремительно обретал самостоятельность. Эксперименты над словом не стали для него самоцелью, а расценивались как средство повышения выразительности стиха. Творчество Маяковского даже в период близости к футуризму основной своей направленностью отрицало принципы, провозглашенные этим течением. Так, принципу «самовитого» слова, слова «вне быта и жизненных польз» явно противоречил тезис поэта: «Нам слово нужно для жизни. Мы не признаем бесполезного искусства». Несмотря на некоторую затемненность поэтической мысли, уже трагедия «Владимир Маяковский», а особенно последовавшие за ней поэмы «Облако в штанах», «Флейта-позвоночник», «Война и мир», «Человек» открывали совершенно новую страницу в истории русской литературы. После Некрасова жанр поэмы не достигал такой масштабности и социального накала, какими отличается «Облако в штанах». Это подлинно революционная поэма. Не только потому, что она содержит пророческие слова о близящейся революции, но и по самому характеру восприятия капиталистической действительности и отношения к ней поэта.

Империалистическая война, по признанию Маяковского, отодвинула в сторону споры об искусстве. Поэтом целиком завладели темы социального, гуманистического характера. Лейтмотивом его творчества становится крик: долой буржуазную цивилизацию, враждебную самому прекрасному, что создано природой и историей,— человеку. Это позиция активного гуманизма. Звучат трагедийные ноты, однако ноты не примирения, а борьбы. Как личную трагедию воспринимает поэт участь миллионов людей, которых кучка «жирных», в сущности, уже не людей (гротескные образы власть имущих в поэмах «Война и мир», «Человек»— шедевры сатиры), обрекает на самоистребление и одиночество.

Главное, что определило пафос предоктябрьского творчества Маяковского, точно назвал Горький: поэт «ищет слияния с народными массами и свое «я» понимает только как символ массы, до дна поднятой и взволнованной войной. Маяковский гораздо трагичнее (Уитмена.— *А. М.)* и, поднимая вопросы общественной совести, социальной ответственности, несет в себе ярко выраженное русское национальное начало» [1].

Начиная с «Облака в штанах» творчество Маяковского все заметнее приближалось к магистральному пути, который с начала

[1] «М. Горький в воспоминаниях современников», М., ГИХЛ, 1955, с. 336—337.

века прокладывал в литературе Горький. В социалистическую литературу поэт входит как революционный романтик, решительно отвергнувший мир капитализма, который залил кровью планету; входит, глубоко уверенный в том, что на смену этому безумному, бесчеловечному миру уже идет мир подлинных хозяев планеты и вселенной.

* * *

«О, четырежды славься, благословенная!» — такими словами встретил Маяковский Великую Октябрьскую социалистическую революцию. С Октября 1917 года начинается новый этап в его творчестве, этап, обусловленный прежде всего изменением действительности. Резко меняется тональность стихов. Господствующий в дооктябрьском творчестве поэта пафос решительного отрицания враждебной человеку действительности, саркастическое, гротескное ее изображение (персонажи сатирических гимнов, образ Повелителя Всего), мрачные картины людского горя, страданий уступают место мажорному, одическому утверждению начавшихся в стране коренных перемен. «Ода революции», «Левый марш», «Мистерия-буфф», «Потрясающие факты» — эти первые образцы социалистического искусства Великого Октября захватывают своей искренностью, глубочайшей верой в прекрасное будущее, открывшееся перед человечеством. Маяковский, как и прежде, романтик, но теперь его романтизм утверждения и созидания нового мира. «Необычайнейшее», почти фантастическое в его произведениях тех лет вырастает из жизни, переплавляемой революцией. В бурные дни великого исторического перелома, которые вскоре войдут в память человечества как начало новой исторической эры, Маяковский убеждению встает в ряды первых деятелей литературы и искусства, включившихся в гигантский процесс революционного обновления жизни. Он глубоко убежден, что революция и поэзия нужны друг другу, он верит в действенность слова. Но, чтоб оно стало подлинно действенным, все должно быть перестроено: лирика и эпос, поэзия и драматургия. Ведь никогда перед художником не стояла столь огромная задача — содействовать объединению миллионов людей на основе новых социальных и нравственных принципов, принципов взаимосвязи и взаимообогащения...

В этом искреннейшем желании непосредственно участвовать в революционном обновлении жизни и искусства во имя счастья миллионов — источник новаторства Маяковского. И одновременно иллюзорная надежда на то, что в великом деле сближения искусства и революции особая роль принадлежит футуризму.

Объективно Маяковский и футуризм представляли разные пути в искусстве. Если для Маяковского решающим было участие искусства в подвиге социалистической революции, то большая часть поборников футуризма сводила его назначение лишь к «революции» в самом искусстве. Социалистическая революция расценивалась ими как повод для собственного эстетического самоутверждения. В ряды футуристов после Октября влились новые люди, но главной задачей по-прежнему считалась борьба с художественным наследием прошлого, и прежде всего с реализмом. Стремление к гегемонии, к признанию футуризма «государственным искусством» вступало в противоречие с ленинской политикой в литературе и ис-

кусстве. Социалистическая революция, направляемая гением Ленина, осознавала себя законной наследницей всех созданных человечеством ценностей культуры, художественного творчества и, естественно, не могла не давать отпора любым попыткам, предамеренным или бессознательным, нигилистического отношения к этим ценностям.

Надежды на футуризм, на «левые» формалистические течения осложнили новаторские искания Маяковского, но не изменили их главного направления. После Октября, повторяем, это направление обрело особую четкость: служение революции, ориентация на Ленина («Я в Ленине мира веру славлю и веру мою»,— писал поэт в 1920 году). С 1919-го начинается работа Маяковского в «Окнах РОСТА», которая вошла в историю как пример непосредственного самоотверженного участия искусства в борьбе миллионов за свою свободу и счастье. Затем — работа в газете. «Окна РОСТА» и газетные стихи получили одобрение В. И. Ленина, отвергавшего футуризм.

* * *

С именем Маяковского прочно связано представление о поэте-новаторе. Таких смелых, радикальных изменений в поэзии не совершил ни один поэт XX века. А ведь этот век бредит новаторством. Никогда не говорилось о нем так много, никогда не было столько претендентов на славу первооткрывателя в искусстве. Но оказалось, что новаторство подчиняется общим закономерностям развития литературы и искусства.

Уже почти вековая «эпопея первооткрывательства» убеждает, что возникновение новых художественных форм — сложный процесс, в котором прихотливо пересекаются социальная атмосфера, мощь и характер таланта, литературные взаимодействия, традиции и т. д. Однако сопоставление опыта Маяковского и его современников приводит к мысли, что приживаются и оказывают влияние на дальнейшее развитие искусства прежде всего те открытия, которые отвечают потребностям времени, способствуют утверждению его прогрессивных тенденций.

Тем и дорого нам творчество Маяковского, Блока, Есенина, что эти поэты предпринимают поиски оздоровления поэзии и стремятся слить свою судьбу с судьбой народа. Маяковский сделал самый смелый и решительный шаг, превратив поэзию в активную участницу митингов, демонстраций, диспутов. Поэзия вышла на площади, обратилась к колоннам демонстрантов. «Улицы — наши кисти. Площади — наши палитры» — эти метафоры относятся и к слову поэта.

На такие эксперименты превращения поэзии в оружие масс не отважился ни один апологет формального экспериментаторства. Но именно эти поиски средств безотказного воздействия поэтического слова на сознание, чувство, действия масс и составляют важную черту «творческой лаборатории» Маяковского. Поэт вспоминал о традициях трубадуров и мейстерзингеров. Но и характер, и назначение, и масштабы совершенного им беспрецедентны.

Его слово действительно полководец человеческой силы. Его голос — голос эпохи.

Что это? Лирика? Публицистика?

У Маяковского есть и то и другое, так сказать, в «чистом виде». Но историческая заслуга поэта — создание лирики нового типа, в которой публицистика становится лирикой, а лирика звучит публицистически. Свой дерзкий опыт он, разумеется, совершал не на пустом месте. Сам поэт называл несколько близких ему поэтов: Некрасова, Пушкина. Однако гражданская лирика Маяковского — явление XX века. Это лирика личности, отвергнувшей «отчуждение» и погрузившейся в большой мир общественных, всенародных и всечеловеческих интересов и связей, забот и радостей.

В творчестве Маяковского поэмы — своеобразные вехи, обозначающие узловые точки пересечения его биографии с ходом истории. В его лирике и эпосе наиболее ярко, может быть, даже демонстративно, с подчеркнутой выразительностью запечатлены некоторые важнейшие черты новой личности, и это особенно рельефно сказалось именно в поэмах. «Поэтическое творчество Маяковского в целом — «Илиада» и «Одиссея» Октября»[1], — говорит Э. Межелайтис, отмечая также эпическое звучание лирики поэта революции.

Герой поэзии Маяковского при ее сосредоточенности на судьбе народа, судьбе миллионов — это и сам поэт, образ которого обретает эпичность. «Это было с бойцами, или страной, или в сердце было в моем» — таково «я» Маяковского в поэме «Хорошо!». Это «я» советского человека в наивысшем проявлении его убеждений и чувств. Поэту не удалось обезличиться, раствориться в ста пятидесяти миллионах даже тогда, когда под напором пролеткультовцев и «друзей»-футуристов он попытался было это сделать. К счастью, уже в процессе создания сказочно-былинной поэмы об Ване и Вудро Вильсоне он понял ненужность такой жертвы. Лирический герой Маяковского вовсе не сконструирован, это он — гражданин нового мира, советский поэт. И эпос, и лирика Маяковского в этом смысле едины, держатся на мощной личности самого поэта. Поэтому его эпос лиричен.

Но Маяковский не случайно считал поэмы «150 000 000» и «Владимир Ильич Ленин» эпическими. Высоко ценя активность личности, он прекрасно понимает значение революционных событий для формирования сознания, психики человека. Вот почему его послеоктябрьские поэмы, за исключением разве что «Про это», многолюдны и событийны.

Таланту Маяковского свойственна эпическая широта, если хотите, монументальность. Поэтому и лирика его по-своему эпична.

Поэмы Маяковского — синтез эпоса и лирики. В одних случаях в синтезе доминирует лирика («Люблю», «Про это»), в других — эпос («150 000 000», «Владимир Ильич Ленин», «Хорошо!»).

Но присмотритесь, как решается, например, вечная лирическая тема любви в «Облаке в штанах», «Люблю», «Про это». У Маяковского любовное чувство выражено яростно, страстно, с вулканической силой. «Громада-любовь», «громада-ненависть». В том числе любовь к женщине. Я говорю «в том числе», потому что у Маяковского почти нет произведений, посвященных только этому чувству.

[1] «Правда» от 19 июля 1963 г.

В «Облаке» крик «долой вашу любовь!» сливается с криками «долой ваше искусство!», «долой ваш строй!», «долой вашу религию!». Любовная коллизия несет, как сейчас принято говорить, «сюжетообразующую функцию», но идея поэмы, ее пафос — в безоговорочном отрицании буржуазных отношений, в чем бы они ни проявлялись, и в утверждении величия человека, мечты о всечеловеческом счастье.

Коллизия «Про это» трагедийна. Это конфликт между лирическим героем, борющимся за новые отношения в общественной и личной жизни, и миром мещанства, не уничтоженного революцией, окопавшегося в быту. Трагизм в том, что в мире мещанства оказалась любимая женщина. Коллизия, не раз освещавшаяся в литературе 20-х годов. В поэме Маяковского она приобретает предельную остроту. Сталкиваются два мира.

В поэме не исключается возможность взаимной любви, нужно только лирическому герою укоротить свою громаду-любовь до размера любви цыплячьей, примазаться к касте мещан, пролезть петушком «в ихний быт, в их семейное счастье». Но это означало бы задушить в себе человека, капитулировать перед карликом-мещанином. Для героя поэмы такое исключено. Страстно и гневно звучат слова:

...не приемлю,
ненавижу это
все.
Все,
что в нас
ушедшим рабьим взято,
все,
что мелочи́ным роем
оседало
и осело бытом
даже в нашем
краснофлагом строе.

Человек, ломавший прогнившие устои старого мира, разъединявшего людей, уверовавший в осуществимость цели: «Чтоб вся на первый крик:— Товарищ!— оборачивалась земля!»— не мог мириться ни с чем, что грозило возвращением к ненавистному прошлому.

* * *

Для Маяковского закономерны поиски нового эпоса, в котором нашли бы отражения события истории, подвиг народа. Поэма «150 000 000» представляет попытку создания эпоса, так сказать, в «чистом виде», подобно творчеству самих миллионов, былинам и сказкам. «150 000 000» задумана как «былина об Иване»— русском народе, совершившем подвиг всемирного значения. Антипод Ивана Вудро Вильсон изображен здесь в традициях сатирической сказки, как чудовище, с которым вступает в поединок Иван. Однако традиции фольклора все же подвергаются существенной модернизации. Стоит отметить, что на характере поэмы положительно сказалась работа Маяковского над плакатами в «Окнах РОСТА». Вместе с тем ее стиль осложнен формальными изысканиями, чрез-

мерным, по словам Луначарского, словесным виртуозничаньем. Это была дань футуризму, который в тот период защищал Маяковский.

Поэма не сыграла той роли, на которую он рассчитывал. Искреннее желание создать произведение глубоко народное вступило в противоречие с установкой на такое обновление формы, которое граничило с вычурностью. Тем не менее этот опыт создания нового эпоса имел серьезное значение как для эволюции собственно Маяковского, так и для развития советской поэзии. Поэт еще более укрепился в мысли о необходимости и перспективности эпоса революции.

Работа над поэмой о Ленине имела для Маяковского и для всей советской поэзии значение принципиальное. Те, кто противопоставляет его лирические поэмы поэмам «Владимир Ильич Ленин» и «Хорошо!», якобы лишенным лиризма, либо сознательно игнорируют, либо просто не в силах понять то обстоятельство, что эти произведения объединяет сокровеннейшая мечта о новом человеке, новой личности, способной вместить в себя весь мир с его радостями и горестями. В поэме о Ленине мечта поэта обрела живое конкретное воплощение: создан образ реального человека, «самого земного изо всех прошедших по земле людей».

Лиризм поэмы о Ленине, скорбный и нежный, открытый, гордый,— лиризм слияния с народом. И в этом слиянии — источник радости: «Я счастлив, что я этой силы частица, что общие даже слезы из глаз». Поэтому даже публицистика, которую поэт вонисственно здесь защищает, тоже обретает черты лиризма.

В личности и деятельности Ленина поэт революции искал (и нашел) ответ на вопросы, неотступно вставшие перед ним с самого начала творческого пути: о человеке, его сущности и назначении, месте в мире, о его счастье и преодолении трагического в жизни. «Что он сделал, кто он и откуда — этот самый человечный человек?»

Идеал большого человека, человека-борца, каким предстает в поэме Маяковского Ленин, озаряет и образ лирического героя. Через Ленина в его духовный мир входят судьбы народов, ему становятся еще понятнее, ближе, дороже думы и чаяния людей «ленинской выправки»— лучших людей эпохи. Пережив окрыляющее чувство радости слияния с народом-океаном, лирический герой ощутил себя участником всемирного исторического процесса. Это определило своеобразие стиля поэмы, соотношение в ней лирики и публицистики, лирики и эпоса.

Поэму «150 000 000» критика хвалила за сюжетность. Но это был условно-фантастический сюжет (как и в «Про это», «Пятом Интернационале»). Там условный сюжет отвечал замыслу, романтическому характеру обобщения. Но в поэмах «Владимир Ильич Ленин», «Хорошо!» явное предпочтение отдано фактам реальной истории. Используются гротеск, экспрессия, когда возникают картины или образы уходящего мира, но никакой фантастики. Факты истории, логика ее политического и философского обобщения — вот что, убежден поэт, более всего отвечает деятельности, характеру героя. Взаимодействие исторического и логического определяет развитие всех тем и образов, связанных с главной темой, центральным образом.

Опыт Маяковского в создании образа Ленина как вечного образа, рожденного нашей эпохой, не исключает, конечно, других подходов к теме, но, предпринятый под влиянием глубокого потрясения, он являет пример истинного, плодотворного новаторства, подсказанного слиянием взволнованного чувства и зрелой мысли.

* * *

Весь опыт работы на «злобу дня» («Окна сатиры РОСТА», стихи на газетной полосе) и особенно над поэмами, посвященными «истории современности», ставил Маяковского, как и всю советскую литературу, перед проблемой художественного метода.

В первых крупных послеоктябрьских произведениях поэта господствует принцип романтического преображения действительности. В отличие от дооктябрьских поэм, в которых страстно звучала романтическая мечта о прекрасном будущем, но идеал противостоял уродливой действительности, послеоктябрьские произведения проникнуты уверенностью: отныне все подвластно человеку, «как нам написано, мир будет таков...». Началось сближение романтической мечты с действительностью. В этом сближении большая роль принадлежала агитационной работе, которая учила ценить факты реальной жизни. «Агитация,— говорил поэт,— должна быть конкретной, детали надо брать не из общих принципов». В «Окнах сатиры РОСТА» и поэме «150 000 000», создававшихся одновременно, несмотря на общие черты, свойственные поэтике автора, все же нетрудно различить «сосуществование» разных стилевых систем: конкретно-реалистической и романтической. Романтическая в тот период более отвечала желанию запечатлеть в монументальных образах «поэтических вымыслов феерические корабли». Метафорическое движение мысли, создающее образное видение, мы наблюдаем и в поэме «Владимир Ильич Ленин», но совершенно особое. Никакой фантастики! По его признанию, он «хотел дать сильную фигуру Ленина» в тесном взаимодействии с историей. Взаимосвязь исторического и логического определяет развитие всех тем и образов поэмы. Тема вождя тесно сплетена с темой народа и партии. В этом единстве нашел отражение взгляд поэта на движущие силы исторического процесса. Ни в одном из предшествующих произведений Маяковский не достигал такой ясности и четкости в освещении активных сил революционного движения. Вся мировая история последнего столетия проходит в поэме перед нашим взором в публицистически обобщенных образах и картинах. Это художественные образы и картины. И секрет превращения их в искусство прежде всего в том, что поэт открыл в ленинской политике глубокую человечность и покоряющий пафос правды — основу новой этики и эстетики.

Победа, одержанная Маяковским в поэме,— это победа реализма. Социалистического реализма. После Маяковского многие и разные поэты попытаются запечатлеть этот бессмертный образ. Возникает художественная Ленинниана, созданная художниками разной одаренности, различных индивидуальных манер, приемами иными, чем те, к которым прибегал Маяковский. Однако полувековой опыт советских писателей в работе над этой центральной темой социалистической литературы позволяет сделать вывод: как поэма Маяковского, обогатив социалистическое искусство, не «закрыла» возмож-

ности иовых и иовых подходов к теме, так и все дальиейшие попытки в ее разработке ие затмили удачи Маяковского. Во миогих отиошеииях его произведеиие и в иаши дии представляет вершиу поэтической мысли.

* * *

Вся деятельиость Маяковского второй половииы 20-х годов иесет в себе приметы благотвориого влияиия работы иад леииискоЙ темой. Леиии, его идеи, подвиг, его человеческий образ — критерий оцеики всего совершающегося в Страие Советов.

Маяковский создал жаир лирического «разговора» (вспомиим его «разговоры» с фиииспектором, с солицем и др.). «Разговору с товарищем Леиииым» прииадлежит особая роль. В этом стихотвореиии удивительыо слилось обществеиное и иитимиое, рапорт республике и задушевиая исповедь повта. Это разговор с Леииным в себе самом.

Грудой дел,
суматохой явлеиий
деиь отошел,
постепеино стемиев.
Двое в комиате.
Я
и Леиии —
фотографией
иа белой стеие.

Постояиное ощущеиие присутствия Леииииа во всем, что делается в страие, побудило Маяковского выступить против апологии делячества, «американизма», в защиту героя иовой, социалистической формации. В стихотвореиии «Американцы удивляются» людьми, обладающими «строительыым иоровом», иеукротимой эиергией, увереииостью в своих силах и тем, чего поэт совершеиио ие иашел у американцев,— широтой кругозора, ясиым зиаиием прекрасиой и человечиой цели,— являются передовые советские рабочие, застрельщики социалистического строительства. Героическому труду и иовым условиям жизии втих людей поэт посвятил иемало стихотвориых «рассказов», близких к популяриому в те годы жаиру очерка («Рассказ о Кузиецкстрое...», «Рассказ литейщика Иваиа Козырева...» и др.). Маяковскому особеино дороги люди, жизиь которых — повседиевиый, будиичиый и тем ие меиее подлиииый подвиг.

Таков Теодор Нетте. В стихотвореиии «Товарищу Нетте — пароходу и человеку» героическое раскрывается ие как проявлеиие исключительыых духовиых качеств в исключительных обстоятельствах, а как своего рода иорма поведеиия советского человека. Коикретиый, едииичиый факт — гибель Нетте при защите советской дипломатической почты — включеи в систему жизиеииых явлеиий и наиболее дорогих автору мыслей и чувств, подчеркивающих закономериость и бессмертие подвига. Идея бессмертия подвига Нетте осмыслеиа как бессмертие иарода, создающего в героической борьбе иовую жизиь.

Ромаитическая мечта о подвиге, волиовавшая Маяковского с самых первых его выступлеиий, ио окрашивавшаяся порой в тоиа

жертвенности, апостольства, с укреплением на позициях ленинизма выступает как реальная черта эпохи социалистического созидания. Именно эту особенность эпохи поэт стремится запечатлеть в поэме «Хорошо!».

* * *

В поэме «Хорошо!» нашел особенно широкое применение принцип изображения советской действительности в диалектическом единстве героического и повседневного. Точнее — героического в повседневном, обыденном. «Я дни беру из ряда дней, что с тыщей дней в родне. Из серой полосы деньки...» Тыщи дней — это десять послеоктябрьских лет. И почти каждый серенький день достоин войти в историю.

«Хорошо!» тоже поэма о любви. О любви к родине, преображенной революцией. О преданности народу, ее совершившему. И о надежде, что история, которую отныне творят народ, ленинская партия, не будет больше безразлична к судьбе человека.

Как увековечить все это? Нужны новые поэтические формы. Потому-то решительно заявляет поэт:

Ни былин,
ни эпосов,
ни эпопей.
Телеграммой
лети,
строфа!
Воспаленной губой
припади
и попей
из реки
по имени — «Факт».

У Маяковского события (факты) революции и послеоктябрьской истории страны, даже самые незначительные (подобно щепотке соли, подаренной поэтом сестре) высвечены мыслью, служат утверждению большой поэтической идеи. В поэме «Хорошо!» — это идея возникновения нового, дотоле неизвестного человечеству государства, ставшего для трудящихся подлинным отечеством.

Оно еще очень молодо, отечество трудового народа. Об этом напоминают неназойливо вкрапленные в ткань поэмы ассоциации с юностью, молодостью (образ ребенка на субботнике, метафоры: земля молодости, страна — подросток, весна человечества).

Такой подход к фактам действительности имел принципиальное значение. Реализм поэмы «Хорошо!» — это реализм утверждения действительного мира, прекрасного и справедливого. «Тенденциозный реализм» в такой творческой, поэтической интерпретации войдет в искусство социалистического реализма как одно из основополагающих стилевых течений.

Творчество Маяковского все — от первого до последнего стиха — предельно правдиво. Но в таких поэмах, как «150 000 000» и «Про это», мы ценим прежде всего правду поэтического самовыражения. Однако правда объективного хода событий здесь еще не до конца схвачена поэтом — этому мешали порой художественные

средства, к которым в то время прибегал Маяковский. А в поэме о Ленине и в Октябрьской поэме он сознательно стремится к слиянию своей личной правды с истиной, с объективной картиной мира.

Можно смело сказать, что ни в одном из своих предшествующих крупных произведений автор не достигал такого художественно убедительного, объемного изображения истории революции, как в поэмах о Ленине и «Хорошо!». Четко выраженный историзм, выдвижение в центр сюжета судьбы народной позволяют присоединиться к авторской оценке поэмы «Хорошо!» как произведения эпического. Поэт здесь прибегает к новым средствам изображения, сознательно ограничивает роль метафоры, особенно характерной для романтического стиля. Господствующий в образном строе поэмы принцип — показывать целое через конкретный факт, видеть в капле воды океан — один из способов реалистической типизации.

Упорно стремясь создать новый эпос, поэт ищет новые и новые возможности его слияния с лирикой. Причем лирика служит Маяковскому для широкого обобщения. Достаточно вспомнить знаменитые лирические концовки глав («Я много в теплых странах плутал», «И я, как весну человечества...» и т. д.). Лирика обогащает эпос мыслью и чувством.

Слияние лирики и эпоса нашло в поэме глубокое обоснование как результат слияния личности с народом, рождения новой индивидуальности, утверждающей свою сопричастность ко всему, что свершают массы. «Это было с бойцами, или страной, или в сердце было в моем». И это также один из неиссякаемых источников жизнеутверждения.

* * *

«Жизнь прекрасна и удивительна!» — таков лейтмотив послеоктябрьского творчества Маяковского. Но любовно подмечая в жизни страны ростки нового, прекрасного, поэт не устает напоминать и о том, что «дрянь пока что мало поредела», что еще «очень много разных мерзавцев ходят по нашей земле и вокруг». Поэтому такое большое значение поэт придавал сатире. Она существует у Маяковского на равных правах с лирикой и эпосом, то составляя особые циклы, то входя в структуру поэм; а его последние драматургические произведения носят преимущественно сатирический характер.

Маяковский — один из самых талантливых сатириков XX века. Он создал классические образцы сатиры нового типа, отрицающей и обличающей все, что мешало успехам социализма, и тем самым расчищающей путь для движения советского общества к коммунизму. При этом господствующий в его послеоктябрьском творчестве пафос утверждения достигается не дозировкой света и тени, а глубокой убежденностью: если художник сознает величие цели, стоящей перед страной, и беззаветно служит этой цели, его сатира должна носить воинствующий характер. Только в этом случае она может содействовать утверждению прекрасного. Маяковский издевался над «обличителями», которые, отважившись на сатирический выпад, спешили подсластить его («Обличитель, меньше крему, очень темы хороши. О хорошенькую тему зуб не жалко искрошить»). «Грозный смех» — так назвал он сборник своих сатирических произведений.

Понимание сути и назначения сатиры в обществе, строящем социализм, требовало не только большого таланта, но и развитого чувства гражданственности, государственного мышления.

В борьбе за сатиру, за ее новую миссию Маяковский опирался на Ленина.

Отзыв Владимира Ильича о сатирическом фельетоне «Прозаседавшиеся» (1922) Маяковский воспринял прежде всего как поддержку политической направленности его поэзии. Признание Ленина: «...давно я не испытывал такого удовольствия, с точки зрения политической и административной»[1] — для поэта означало: сатира может оказывать помощь в строительстве коммунизма.

Ленинский анализ бюрократизма, высмеянного Маяковским, углублял социальный смысл его сатирического фельетона, связывая бюрократию с обломовщиной. Вскоре в произведениях «Плюшкин», «Помпадур» поэт продолжит ленинскую аналогию.

Сатирические произведения Маяковского 20-х годов поражают своим тематическим разнообразием. Кажется, нет такого отрицательного явления, которое не попало бы под увеличительное стекло поэта-сатирика. Перед нашим взором «целая лента типов тянется»: новый буржуй, кулак, вредитель, хулиган, обыватель, сплетник, хапуга, развратник, пьяница, лодырь, очковтиратель, бракодел, трус, «советский» вельможа, взяточник, головотяп и т. д. Это всего лишь перечень (далеко не полный) мерзавцев, которые в то время ходили (а некоторые и сейчас еще ходят) по нашей земле. В те годы поэт не обошел вниманием ни одного сколько-нибудь заметного явления международной жизни. Он создал галерею сатирических памфлетов, дал острые зарисовки западного, в том числе американского, образа жизни.

Подлинную сатиру рождает гнев. Сатира Маяковского рождена гневом поэта — патриота социалистической России, интернационалиста и гуманиста, отвергающего все, что унижает и оскорбляет человека. Зло равно омерзительно, где бы и в чем бы оно ни проявлялось. Различие в том, что в зарубежных циклах зло, воплощенное, например, в «порядочном гражданине», коренится в социальной системе Америки, в то время как зло, которое несут в себе герои фельетонов «Столп», «Помпадур», «Общее» и «мое», противостоит утверждающемуся в Стране Советов социализму.

Политическая в своей основе сатира Маяковского проникает и в сферу быта, нравственности, эстетики. Прозаседавшиеся, помпадуры, сплетники, трусы, обыватели, приспособленцы из категории «служителей муз», освещенные прожектором ленинской политики (а именно на нее ориентировался поэт), превращаются из безобидных, порой даже по-своему милых («чуть-чуть еще, и он почти б был положительнейший тип»), в людей, опасных для строительства новой жизни, утверждения новых духовных ценностей. Чтобы привлечь к ним внимание, сатирик пользуется различными способами укрупнения и заострения образа, создает особую, необычную ситуацию, близкую к фантастике.

И нельзя не заметить, что в послеоктябрьской сатире Маяковского гораздо чаще и сильнее, чем прежде, звучит смех.

---

[1] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 45, с. 13.

* * *

Ярче всего талант Маяковского-сатирика раскрылся в последних драматургических произведениях. Их новаторский характер был признан не сразу. Даже тогда, когда о поэзии Маяковского прочно утвердилось мнение как о самом ярком явлении советского искусства, пьесы «Клоп» и «Баня», не говоря уже о «Мистерии-буфф», долго оставались в тени. Сказывались и рецидивы недоверчивого отношения к сатире у иных деятелей литературы и театра, и узкое, ограниченное понимание возможностей, которые метод социалистического реализма открывает перед всеми сферами художественного творчества.

Драматургия Маяковского, как и его поэзия, прочно вступила на большой путь мировой классики, путь, ведущий в будущее.

А ведь Маяковский ставил проблемы, злободневнейшие для своего времени (мещанство, бюрократизм), менее всего, казалось бы, пригодные к тому, чтобы занять место в ряду «вечных тем». Маяковский научил зрителя подмечать все новые и новые формы мимикрии, к которым прибегают носители этого зла, уходящего корнями в далекое прошлое. Научил распознавать зло, выдающее себя за добродетель. Ведь, скажем, бывший рабочий Присыпкин, став мещанином, не считает, что он позорит рабочий класс. Более того, Пьер Скрипкин убежден, что возвышает его. Бюрократы Победоносиков, Оптимистенко, Иван Иванович склонны выдавать себя за образцовых государственных деятелей нового типа. «Да, да, да! Вы пойдите в его учрежденне. Директивы выполняются, циркуляры проводятся, рационализация налажнвается, бумаги годами лежат в полном порядке. Для прошений, жалоб и отношений — конвейер. Настоящий уголок социализма»— так оценивает деятельность главначпупса Победоносикова занимающий какой-то неопределенный, но высокий пост Иван Иванович.

Создавая подобные типы, Маяковский знает, что Присыпкины, Победоносиковы, Оптимистенки, Бельведонские — порождение определенного времени. Но драматург знает также, что подобные носители зла, изменив «вид и масть», не уйдут добровольно из жизни. Финал пьесы «Клоп», где Присыпкин, попавший к людям будущего, восторженно орет: «Граждане! Братцы! Свои! Родные! Откуда? Сколько вас?»—расценивается кое-кем как выражение пессимизма, увековеченне присыпкинщины. Те, кто склонен так думать, не понимают суть художественного метода Маяковского-сатирика: он видит не только живучесть пережитков прошлого, но и их изменчивость, приспособляемость к новым условиям. Ведь и «прозаседавшиеся» совсем как будто и не похожи на Илью Ильича Обломова, а вот Ленин подметил в них типическое проявление обломовщины. Проявления присыпкинщины встречаются и в наши дни. Финалом пьесы «Клоп» Маяковский как бы передает эстафету новым поколениям писателей.

Театр должен «врываться в жизнь»,— требовал Маяковский. Комедию «Клоп» он сам определил как «публицистическую, проблемную, тенденциозную».

Защищая публицистический театр, Маяковский широко пользуется в пьесах «Клоп» и «Баня» художественной условностью: преувеличением, гротеском, фантастикой (размораживание При-

сыпкиа через пятьдесят лет, машиа времеии). Но все эти приемы великолепио служат целям реалистической типизации с тем, разумеется, уточиеиием, что это типизация сатирическая, обладающая особой речевой характеристикой, сосредоточивающая виимание ие на психологических июаисах, а иа выявлеиии главиого в характере персонажа с точки зрения социальиой. Ибо мещаиство, бюрократизм — это прежде всего социальная опасиость.

В последиий период своего творчества Маяковский созиательио шел к создаиию образов большой реалистической выразительиостн, а его драматургия стала новым словом в развитии театральиого реализма. Фаитастика, гротеск всегда широко использовались реализмом, особенио в сатирических целях. В пьесах «Клоп», «Баия» Маяковский стремится по-иовому и на реалистической осиове продолжить, развить традиции иародиого театра. С этим связана устаиовка иа зрелищиость. «Попытка вернуть театру зрелищиость, попытка сделать подмостки трибуиой — в этом суть моей театральиой работы»,— писал Маяковский. Проверка современного этапа коммуиистическим будущим, характерная для всего творчества поэта, на сцеиических подмостках могла дать особеииый эффект.

Установка на публицистичиость и зрелищиость — одио из проявлеиий созиательного и целеустремлеиного движеиия Маяковского к иародности. Этот критерий поэт поиимал широко. Он хотел быть поият своей страной, ио хорошо зиал, что в его время массовый читатель и зритель еще не обладали высокой культурой. Создавая плакаты, агитациоиные и рекламиые стихи, он должен был считаться и с этим.

Но все же свою собствеиную задачу, как и цели всего социалистического искусства, поэт видел ие в подлаживаиии к иизкому уровию массового читателя, ие в сиижеиии требоваиий мастерства, а в приобщении масс к высокой художествеиной культуре. Он сделал единственно верный вывод: подиимать культурный и эстетический уровеиь самого широкого читателя, созиавая, что только в этом случае те, для кого он работал, смогут правильно поиять его творчество. Отсюда поиски коитакта с читателем, не имеющие аиалогии в истории мировой литературы.

Маяковский, обладая геииальиой одареииостью, сам был иосителем высокой культуры, как поэтической, так и театральной.

* * *

Человеческим величием, страстиой убеждеииостью, благородством потрясает каждый стих, каждый образ последиего шедевра Маяковского, его разговора с потомками — «Во весь голос».

Поэт разговаривает с «потомками» через головы современииков. Но ие о коифликте с временем, а «о времени и о себе», о том, как он поиимает время и искусство, этому времени необходимое.

«Во весь голос» — своеобразиый смотр всего, что писалось когда-то им «иа злобу дня» и что третировали эстеты. Все в этом разговоре масштабно. «О времени» здесь озиачает «об эпохе», «о себе» — о типе поэта.

Обобщая самые дорогие и заветные убеждеиия, добытые в самоотвержеииом труде и жестокой борьбе, поэт подводит итог трудиому, героическому пути.

«Во весь голос» — одно из самых ярких и талантливых выступлений в защиту партийности творчества. Это не только разговор с потомками, это исповедь-отчет революционного поэта перед самой высокой инстанцией — центральной контрольной комиссией коммунистического общества.

Явившись
в Це Ка Ка
идущих
светлых лет,
над бандой
поэтических
рвачей и выжиг
я подыму,
как большевистский партбилет,
все сто томов
моих
партийных книжек.

Партийность в поэме-исповеди не только политический и эстетический принцип, это и нравственный принцип, определяющий главную черту поведения художника — бескорыстие, а значит, и подлинную свободу.

Мне
и рубля
не накопили строчки,
красноде́ревщики
не слали мебель на́ дом.
И кроме
свежевымытой сорочки,
скажу по совести,
мне ничего не надо.

Эти признания выходят за рамки личной биографии поэта, приобретают глубокий принципиальный смысл. В них выражена уверенность в том, что борьба за коммунизм — высший, поистине универсальный критерий прекрасного,— очищая нравственную атмосферу от таких стимулов буржуазного мира, как корысть, карьера, жажда личной славы, создает условия для полного проявления самозабвенной любви к искусству и для расцвета искусства.

Так может ли поэзия, бескорыстно выполнявшая любую черную работу во имя счастья людей будущего, рассчитывать на признание потомков?

Стихи стоят
свинцово-тяжело,
готовые и к смерти
и к бессмертной славе.

Не каждый стих выдержит проверку впохой. Он сделал свое дело и может умереть «как рядовой, как безымянные на штурмах мерли наши». Но господствует в этих строках мысль о бессмертии созданного в трудах и бою, вера в разум и благодарность потомков.

Мы теперь знаем, что все сделанное им в искусстве — подвиг величайшего бескорыстия. И как бы ни была трагична личная судь-

ба Маяковского, в истории всемириой литературы трудио указать пример такого удивителььиого соответствия между потребностями впохи, ее характером и — личиостью повта, сущиостью его талаита, как бы создаииого историей для того времеии, когда он жил и творнл. И так же, как бессмертен подвиг иарода, страны, измеиивших ход всемирной нстории, бессмертеи и подвиг повта, увековечившего втот всеиародиый подвиг в огиеиином, по определеиию Н. Тихоиова, слове. Слове, почерпиутом из прозрачиых, бездоиых, светлых глубнн русского языка; свои грозиые рифмы, ошеломляющие по новизие сравиения, свои дерзкие по архитектоиике строфы поэт находил в «глубинах народиого языкового богатства» [1].

Мы помиим, что еще Горький отмечал у Маяковского «ярко выражеиное русское национальное иачало». В то же время его творчество проиикиуто духом иитериациоиализма. Написаиные на русском языке, его стихи и пьесы находят живейшнй отклик ие только у миогоиациоиальиого, миогоязычиого читателя и зрителя нашей страиы, но и за ее рубежами, преодолевая чиинмые врагами социализма преграды — цеизуриые запреты, ложиые истолковаиия...

Великий поэт, Маяковский входит в мировую литературу не как создатель поэтической школы, а как зачииатель поэзни, которая стала неотъемлемой частью иовой, социалистической цивилизации. Каиоиы любой повтической школы быстро исчерпываются, мертвеют, ио влияиие живого примера служеиия поэтическим словом великой цели вербует миожество последователей. К хорошо известиым имеиам — Назым Хикмет, Гео Мнлев, Пабло Неруда, Поль Элюар, Николас Гильеи и другие — прибавляются все иовые и новые наслединки Маяковского.

В русском языке — одиом из ярчайших выражеиий духовиого богатства иашего иарода — Маяковский видел также источиик сближеиня иаций. Ведь это язык Леиииа.

Да будь я
и негром преклоиных годов,
и то
без уиыиья и леии,

я русский бы выучил
только за то,
что им
разговаривал Леиии.

Умножая сокровища русской речн, Маяковский подиимал советскую поэзию к иовым высотам, будучи глубоко убежден, что вто и есть путь к иитериациоиальиому единству. Процесс интериациоиализации ои рассматривал как выявлеиие и развитие всех потеициальиых возможиостей каждой иациоиальиой культуры.

А. Метченко

---

[1] «Литературиая газета» от 16 мая 1973 г.

Я САМ

Тема

Я — поэт. Этим и интересен. Об этом и пишу. Об остальном — только если это отстоялось словом.

Память

Бурлюк говорил: у Маяковского память, что дорога в Полтаве,— каждый галошу оставит. Но лица и даты не запоминаю. Помню только, что в 1100 году куда-то переселялись какие-то «доряне». Подробностей этого дела не помню, но, должно быть, дело серьезное. Запоминать же — «Сне написано 2 мая. Павловск. Фонтаны» — дело вовсе мелкое. Поэтому свободно плаваю по своей хронологии.

Главное

Родился 7 июля 1894 года (или 93 — мнения мамы и послужного списка отца расходятся. Во всяком случае, не раньше). Родина — село Багдады, Кутаисская губерния, Грузия.

Состав семьи

Отец: Владимир Константинович (багдадский лесничий), умер в 1906 году.

Мама: Александра Алексеевна.

Сестры:

а) Люда.

б) Оля.

Других Маяковских, по-видимому, не имеется.

1-е воспоминание

Понятия живописные. Место неизвестно. Зима. Отец выписал журнал «Родина». У «Родины» «юмористическое» приложение. О смешных говорят и ждут. Отец ходит и поет свое всегдашнее «алон занфан де ля по четыре». «Родина» пришла. Раскрываю и сразу (картинка) ору: «Как смешно! Дядя с тетей целуются». Смеялись. Позднее, когда пришло приложение и надо было действительно смеяться, выяснилось — раньше смеялись только надо мной. Так разошлись наши понятия о картинках и о юморе.

2-е воспоминание

Понятия поэтические. Лето. Приезжает масса. Красивый длинный студент — Б. П. Глушковский. Рисует. Кожаная тетрадища. Блестящая бумага. На бумаге длинный человек без штанов (а может, в обтяжку) перед зеркалом. Человека зовут «Евгенионегиным». И Боря был длинный, и нарисованный был длинный. Ясно. Борю я и считал этим самым «Евгенионегиным». Мнение держалось года три.

3-е воспоминание

Практические понятия. Ночь. За стеной бесконечный шепот папы и мамы. О рояли. Всю ночь не спал. Сверлила одна и та же фраза. Утром бросился бежать бегом: «Папа, что такое рассрочка платежа?» Объяснение очень понравилось.

Дурные привычки

Лето. Потрясающие количества гостей. Накапливаются именины. Отец хвастается моей памятью. Ко всем именинам меня заставляют заучивать стихи. Помню — специально для папиных именин:

Как-то раз перед толпою
Соплеменных гор...

«Соплеменные» и «скалы» меня раздражали. Кто они такие, я не знал, а в жизни они не желали мне попадаться. Позднее я узнал, что это поэтичность, и стал тихо ее ненавидеть.

Корни романтизма

Первый дом, воспомииаемый отчетливо. Два этажа. Верхний — наш. Нижиий — виииый заводик. Раз в году — арбы виограда. Давили. Я ел. Оии пили. Все это территория стариинейшей грузиископ крепости под Багдадами. Крепость очетыреугольиивается крепостиым валом. В углах валов — иакаты для пушек. В валах бойиицы. За валами рвы. За рвами леса и шакалы. Над лесами горы. Подрос. Бегал иа самую высокую. Сиижаются горы к северу. На севере разрыв. Мечталось — это Россия. Тяиуло туда иевероятиейше.

Необычайное

Лет семь. Отец стал брать меня в верховые объезды лесничества. Перевал. Ночь. Обстигло тумаиом. Даже отца ие видно. Тропка узейшая. Отец, очевидно, отдернул рукавом ветку шиповника. Ветка с размаху шипами в мои щеки. Чуть повизгивая, вытаскиваю колючки. Сразу пропали и тумаи и боль. В расступившемся тумане под иогами — ярче иеба. Это электричество. Клепочиый завод киязя Накашидзе. После электричества совершеиио бросил иитересоваться природой. Неусовершеиствоваииая вещь.

Учение

Учила мама и всякоюродиые сестры. Арифметика казалась неправдоподобиой. Приходится рассчитывать яблоки и груши, раздаваемые мальчикам. Мне ж всегда давали, и я всегда давал без счета. На Кавказе фруктов сколько угодио. Читать выучился с удовольствием.

Первая книга

Какая-то «Птичница Агафья». Если б мие в то время попалось иесколько таких кииг — бросил бы читать совсем. К счастью, вторая — «Доп-Кихот». Вот это книга! Сделал деревяиный меч и латы, разил окружающее.

Экзамен

Переехали. Из Багдада в Кутаис. Экзамен в гимиазию. Выдержал. Спросили про якорь (на моем рукаве) — зиал хорошо. Но свящеиник спросил — что такое

«око». Я ответнл: «Три фуита» (так по-грузински). Мие объяснили любезные экзаменаторы, что «око» — это «глаз» по-древнему, церковнославяиское. Из-за этого чуть не провалнлся. Поэтому возненавндел сразу — все древнее, все церковное и все славяиское. Возможио, что отсюда пошлн н мой футурнзм, и мой атензм, и мой интернацноиализм.

Гимиазия

Прноготовнтельный, 1-й и 2-й. Иду первым. Весь в пятерках. Чнтаю Жюля Вериа. Вообще фантастическое. Какой-то бородач стал во мне обнаружнвать способиостн художнпка. Учнт даром.

Японская война

Увеличнлось колнчество газет и журиалов дома. «Русскне ведомости», «Русское слово», «Русское богатство» н прочее. Чнтаю все. Безотчетно взвннчеи. Восхищают откркткн крейсеров. Увелнчнваю н перерисовываю. Появнлось слово «прокламацня». Прокламацнн вешалн грузины. Грузниов вешали казаки. Мои товарнщи грузнны. Я стал ненавндеть казаков,

Нелегальщина

Приехала сестра из Москвы. Восторженная. Тайком дала мне длнные бумажкн. Нравнлось: очень рнскованно. Помню и сейчас. Первая:

> Опомнись, товарищ, опомнись-ка, брат,
> скорей брось внитовку на землю.

И еще какое-то, с окончаннем:

> ...а не то путь ной —
> к немцам с сыном, с женой н с мамашей...

(о царе).

Это была революцня. Это было стнхами. Стихи и революцня как-то объединнлнсь в голове.

905-й год

Не до учеиия. Пошли двойкн. Перешел в четвертый только потому, что мне расшибли голову камнем (на Рионе подрался),— иа переэкзаменовках пожалелн. Для меня революцня началась так: мой товарнщ, повар священнпка — Исндор, от радостн босой вскочил на плнту — убнлн генерала Алиханова. Усмнрнтель Грузнн. Пошли демонстрацин н мнтингн. Я тоже пошел. Хорошо. Воспринимаю жнвописно: в черном аиархнсты, в красиом эсеры, в сннем эсдеки, в остальных цветах федералнсты.

Социализм

Речн, газеты. Из всего — незнакомые поиятия и слова. Требую у себя объясненнй. В окнах белые кнпжнцы. «Буревестнпк». Про то же. Покупаю все. Вставал в шесть утра. Чнтал запоем. Первая: «Долой соцнал-демократов». Вторая: «Экоиомнческне беседы». На всю жизнь поразнла способность социалистов распутывать факты, снстематнзировать мир. «Что чнтать?» — кажется, Рубакнна. Перечел советуемое. Многое ие понимаю. Спрашиваю. Меня ввели в марксистскнй кружок. Попал иа «Эрфуртскую». Середнна. О «лумпенпролетарнате». Стал счнтать себя соцнал-демократом: стащнл отцовскне берданки в эсдечнй комнтет.

Фнгурой иравнлся Лассаль. Должно быть, оттого, что без бороды. Моложавей. Лассаль у меня перепутался с Демосфеном. Хожу на Рнои. Говорю речн, набрав камии в рот.

Реакция

По-моему, началось со следующего: при панике (может, разгоне) в демонстрацню памятн Баумана мне (упавшему) попало большущнм барабаннщем по голове. Я испугался, думал — сам треснул.

906-й год

Умер отец. Уколол палец (сшнвал бумагн). Заражение кровн. С тех пор терпеть ие могу булавок. Благополучне коичнлось. После похорои отца — у иас 3 рубля.

Инстинктивно, лихорадочно мы распродали столы и стулья. Двинулись в Москву. Зачем? Даже знакомых не было.

Дорога

Лучше всего — Баку. Вышки, цистерны, лучшие духи — нефть, а дальше степь. Пустыня даже.

Москва

Остановились в Разумовском. Знакомые сестры — Плотниковы. Утром паровиком в Москву. Сняли квартирку на Бронной.

Московское

С едами плохо. Пенсия — 10 рублей в месяц. Я и две сестры учимся. Маме пришлось давать комнаты и обеды. Комнаты дрянные. Студенты жили бедные. Социалисты. Помню — первый передо мной «большевик» Вася Канделаки.

Приятное

Послан за керосином. 5 рублей. В колониальной дали сдачи 14 рублей 50 копеек; 10 рублей — чистый заработок. Совестился. Обошел два раза магазин («Эрфуртская» заела).— Кто обсчитался, хозяин или служащий,— тихо расспрашиваю приказчика.— Хозяин! — Купил и съел четыре сухарных хлеба. На остальные гонял в лодке по Патриарших прудам. Видеть с тех пор сухарных хлебов не могу.

Работа

Денег в семье нет. Пришлось выжигать и рисовать. Особенно запомнились пасхальные яйца. Круглые, вертятся и скрипят, как двери. Яйца продавал в кустарный магазин на Неглинной. Штука 10—15 копеек. С тех пор бесконечно ненавижу Бемов, русский стиль и кустарщину.

Гимназия

Перевелся в 4-й класс пятой гимназии. Единицы, слабо разноображиваемые двойками. Под партой «Аити-Дюринг».

Чтение

Беллетристики не признавал совершенно. Философия. Гегель. Естествознание. Но главным образом марксизм. Нет произведения искусства, которым бы я увлекся более, чем «Предисловием» Маркса. Из комнат студентов шла нелегальщина. «Тактика уличного боя» и т. д. Помню отчетливо синенькую ленинскую «Две тактики». Нравилось, что книга срезана до букв. Для нелегального просовывания. Эстетика максимальной экономии.

Первое полустихотворение

Третья гимназия издавала нелегальный журнальчик «Порыв». Обиделся. Другие пишут, а я не могу?! Стал скрипеть. Получилось невероятно революционно и в такой же степени безобразно. Вроде теперешнего Кириллова. Не помню ни строки. Написал второе. Вышло лирично. Не считая таковое состояние сердца совместимым с моим «социалистическим достоинством», бросил вовсе.

Партия

1908 год. Вступил в партию РСДРП (большевиков). Держал экзамен в торгово-промышленном подрайоне. Выдержал. Пропагандист. Пошел к булочникам, потом к сапожникам и, наконец, к типографщикам. На общегородской конференции выбрали в МК. Были Ломов, Поволжец, Смидович и другие. Звался «товарищем Константином». Здесь работать не пришлось — взяли.

Арест

29 марта 1908 г. нарвался на засаду в Грузинах. Наша нелегальная типография. Ел блокнот. С адресами и в переплете. Пресненская часть. Охранка. Сущевская часть. Следователь Вольтановский (очевидно, считал

себя хитрым) заставил писать под диктовку: меня обвиняли в писании прокламации. Я безнадежно перевирал диктант. Писал: «социяльднмократическая». Возможно, провел. Выпустили на поруки. В части с недоумением прочел «Санина». Он почему-то в каждой части имелся. Очевидно, душеспасителен.

Вышел. С год — партийная работа. И опять кратковременная сидка. Взяли револьвер. Махмудбеков, друг отца, тогда помощник начальника Крестов, арестованный случайно у меня в засаде, заявил, что револьвер его, и меня выпустили.

Третий арест

Живущие у нас (Коридзе (нелегальн. Морчадзе), Герулайтис и др.) ведут подкоп под Таганку. Освобождать женщин-каторжан. Удалось устроить побег из Новинской тюрьмы. Меня забрали. Сидеть не хотел. Скандалил. Переводили из части в часть — Басманная, Мещанская, Мясницкая и т. д.— и наконец — Бутырки. Одиночка № 103.

11 бутырских месяцев

Важнейшее для меня время. После трех лет теории и практики — бросился на беллетристику.

Перечел все новейшее. Символисты — Белый, Бальмонт. Разобрала формальная новизна. Но было чуждо. Темы, образы не моей жизни. Попробовал сам писать так же хорошо, но про другое. Оказалось *так же про другое* — нельзя. Вышло ходульно и ревплаксиво. Что-то вроде:

> В золото, в пурпур леса одевались,
> Солнце играло на главах церквей.
> Ждал я: но в месяцах дни потерялись,
> Сотни томительных дней.

Исписал таким целую тетрадку. Спасибо надзирателям — при выходе отобрали. А то б еще напечатал!

Отчитав современность, обрушился на классиков. Байрон, Шекспир, Толстой. Последняя книга — «Анна Каренина». Не дочитал. Ночью вызвали «с вещами по городу». Так и не знаю, чем у них там, у Каренинных, история кончилась.

Меня выпустилн. Должен был (охраика постановила) идти на три года в Туруханск. Махмудбеков отхлопотал меня у Курлова.

Во время сидкн судили по первому делу — вчновеи, но летами ие вышел. Отдать под надзор полиции и под родительскую ответствеииость.

Так называемая дилемма

Вышел взбудоражеиный. Те, кого я прочел,— так называемые велнкие. Но до чего же иетрудио писать лучше нх. У меия уже н сейчас правильиое отиошение к миру. Только иужен опыт в нскусстве. Где взять? Я иеуч. Я должеи пройти серьезную школу. А я вышиблен даже нз гимиазни, даже и из Строгановского. Если остаться в партин — иадо стать нелегальиым. Нелегальным, казалось мие, не иаучишься. Перспектива — всю жизнь писать летучкн, выкладывать мысли, взятые нз правильных, но не мной придуманных книг. Если из меия вытряхиуть прочнтаииое, что остаиется? Марксистский метод. Но не в детские ли рукн попало это оружие? Легко орудовать нм, еслн имеешь дело только с мыслью свонх. А что при встрече с врагами? Ведь вот лучше Белого я все-таки ие могу написать. Ои про свое весело — «в небеса запустил аианасом», а я про свое иою — «сотнн томительиых дией». Хорошо другим партийцам. У иих еще и уииверситет. (А высшую школу — я еще ие зиал, что это такое,— я тогда уважал!)

Что я могу противопоставить навалившейся на меия эстетике старья? Разве революция ие потребует от меия серьезиой школы? Я зашел к тогда еще товарищу по партии — Медведеву. Хочу делать социалистическое искусство. Сережа долго смеялся: кишка тонка.

Думаю все-таки, что ои иедооцеиил мои кишки.

Я прервал партийную работу. Я сел учиться.

Начало мастерства

Думалось — стихов писать ие могу. Опыты плачевные. Взялся за живопнсь. Учился у Жуковского. Вместе с какнмн-то дамочками писал серебренькие сервизики. Через год догадался — учусь рукоделню. Пошел к Кели-

ну. Реалнст. Хорошнй рисовальщнк. Лучшнй учитель. Твердый. Меияющнйся.

Требоваиие — мастерство, Гольбейи. Терпеть ие могущий красивеиькое.

Поэт почитаемый — Саша Черпый. Радовал его аитиэстетизм.

Последнее училище

Сидел на «голове» год. Поступил в Училнще живописи, ваяиия и зодчества: едиистваиное место, куда прииялн без свидетельства о благоиадежиостн. Работал хорошо.

Удивнло: подражателей лелеют — самостоятельных гонят. Ларионов, Машков. Ревнистииктом стал за выгоняемых.

Давид Бурлюк

В училище появился Бурлюк. Вид наглый. Лориетка. Сюртук. Ходит напевая. Я стал задирать. Почтн задрались.

В курнлке

Благородиое собраиие. Коицерт. Рахмаиииов. Остров мертвых. Бежал от невыиосимой мелодизированной скуки. Через мииуту и Бурлюк. Расхохотались друг в друга. Вышли шляться вместе.

Памятнейшая ночь

Разговор. От скуки рахманииовской перешлн на учнлищиую, от училищиой — иа всю классическую скуку. У Давида — гиев обогнавшего современииков мастера, у меия — пафос социалиста, зиающего иеизбежиость крушения старья. Родился российскнй футурнзм.

Следующая

Дием у меия вышло стихотвореиие. Вериее — куски. Плохие. Нигде ие напечатаиы. Ночь. Сретеиский бульвар. Читаю строки Бурлюку. Прибавляю — это одии мой знакомый. Давнд остаиовился. Осмотрел меня. Рявкиул: «Да это же ж вы самн написали! Да вы же ж гениальный поэт!» Примеиеиие ко мне такого грандиоз-

ного и иезаслуженного эпитета обрадовало меня. Я весь ушел в стихи. В этот вечер совершенно иеожиданно я стал поэтом.

Бурлючье чудачество

Уже утром Бурлюк, знакомя меня с кем-то, баснл: «Не знаете? Мой гениальный друг. Знаменитый поэт Маяковскнй». Толкаю. Но Бурлюк непреклоиен. Еще и рычал иа меня, отойдя: «Теперь пишите. А то вы меня ставите в глупейшее положение».

Так ежедневно

Пришлось пнсать. Я и написал первое (первое професснональное, печатаемое) — «Багровый и белый» и другне.

Прекрасный Бурлюк

Всегдашней любовью думаю о Давиде. Прекрасный друг. Мой действнтельный учнтель. Бурлюк сделал меня поэтом. Чнтал мне французов н иемцев. Всовывал книги. Ходил и говорнл без конца. Не отпускал нн на шаг. Выдавал ежедневио 50 копеек. Чтоб писать ие голодая.

На Рождество завез к себе в Новую Маячку. Прнвез «Порт» и другое.

«Пощечина»

Из Маячки вернулнсь. Если с неотчетливыми взглядамн, то с отточеинымн темпераментами. В Москве Хлебников. Его тихая гениальность тогда была для меня совершенно затемнена бурлящим Давидом. Здесь же внлся футурнстнческий незунт слова — Крученых.

После иескольких ночей лнрнкн родили совместный маннфест. Давнд собнрал, перепнсывал, вдвоем дали нмя н выпустнли «Пощечниу общественному вкусу».

Пошевеливаются

Выставкн «Бубновый валет». Днспуты. Разъяреиные речи мон н Давнда. Газеты стали заполняться футуриз-

мом. Тон был не очень вежливый. Так, например, меня просто называли «сукинным сыном».

Желтая кофта

Костюмов у меня не было никогда. Были две блузы — гнуснейшего вида. Испытанный способ — украшаться галстуком. Нет денег. Взял у сестры кусок желтой ленты. Обвязался. Фурор. Значит, самое заметное и красивое в человеке — галстук. Очевидно — увеличишь галстук, увеличится и фурор. А так как размеры галстуков ограничены, я пошел на хитрость: сделал галстуковую рубашку и рубашковый галстук.

Впечатление неотразимое.

Разумеется

Генералитет искусства ощерился. Князь Львов. Директор училища. Предложил прекратить критику и агитацию. Отказались.

Совет «художников» изгнал нас из училища.

Веселый год

Ездили Россией. Вечера. Лекции. Губернаторство настораживалось. В Николаеве нам предложили не касаться ни начальства, ни Пушкина. Часто обрывались полицией на полуслове доклада. К ватаге присоединился Вася Каменский. Старейший футурист.

Для меня эти годы — формальная работа, овладение словом.

Издатели не брали нас. Капиталистический нос чуял в нас динамитчиков. У меня не покупали ни одной строчки.

Возвращаясь в Москву — чаще всего жил на бульварах.

Это время завершилось трагедией «Владимир Маяковский». Поставлена в Петербурге. Луна-Парк. Просвистели ее до дырок.

Начало 14-го года

Чувствую мастерство. Могу овладеть темой. Вплотную. Ставлю вопрос о теме. О революционной. Думаю над «Облаком в штанах».

Война

Принял взволиованно. Сиачала только с декоратнвной, с шумовой стороиы. Плакаты заказиые и, коиечио, вполие воеииые. Затем стнх. «Война объявлена».

Август

Первое сражеиие. Вплотиую встал воениый ужас. Войиа отвратительна. Тыл еще отвратнтельней. Чтобы сказать о войне — надо ее видеть. Пошел запнсываться добровольцем. Не позволилн. Нет благоиадежности.

И у полковиика Модля оказалась одиа хорошая идея.

Зима

Отвращеиие н неиависть к войне. «Ах, закройте, закройте глаза газет» и другне.

Интерес к искусству пропал вовсе.

Май

Выиграл 65 рублей. Уехал в Фииляндню. Куоккала.

Куоккала

Семнзиакомая система (семипольиая). Устаиовнл семь обедающих зиакомств. В воскресеиье «ем» Чуковского, поиедельиик — Евреинова н т. д. В четверг было хуже — ем репииские травкн. Для футуриста ростом в сажень — это ие дело.

Вечера шатаюсь пляжем. Пишу «Облако».

Выкрепло созиаиие близкой революции.

Поехал в Мустамяки. М. Горький. Читал ему части «Облака». Расчувствовавшийся Горький обплакал мие весь жилет. Расстроил стихами. Я чуть загордился. Скоро выясиилось, что Горький рыдает иа каждом поэтическом жнлете.

Все же жилет храию. Могу кому-иибудь уступить для провиициальиого музея.

«Новый сатирикон»

65 рублей прошли легко и без боли. «В рассуждении чего б покушать» стал писать в «Новом сатирикоие».

Радостнейшая дата

Июль 915-го года. Знакомлюсь с Л. Ю. и О. М. Бриками.

Призыв

Забрили. Теперь идти на фронт не хочу. Притворился чертежником. Ночью учусь у какого-то инженера чертить авто. С печатанием еще хуже. Солдатам запрещают. Одни Брик радует. Покупает все мои стихи по 50 копеек строку. Напечатал «Флейту позвоночника» и «Облако». Облако вышло перистое. Цензура в него дула. Страниц шесть сплошных точек.

С тех пор у меня ненависть к точкам. К запятым тоже.

Солдатчина

Паршивейшее время. Рисую (изворачиваюсь) начальников портреты. В голове разворачивается «Война и мир», в сердце — «Человек».

16-й год

Окончена «Война и мир». Немного позднее — «Человек». Куски печатаю в «Летописи». На военную иглу не показываюсь.

26 февраля, 17-й год

Пошел с автомобилями к Думе. Влез в кабинет Родзянки. Осмотрел Милюкова. Молчит. Но мне почему-то кажется, что он зайкается. Через час надоели. Ушел. Принял на несколько дней команду Автошколой. Гучковеет. Старое офицерье по-старому расхаживает в Думе. Для меня ясно — за этим неизбежно сейчас же социалисты. Большевики. Пишу в первые же дни революции Поэтохронику «Революция». Читаю лекции — «Большевики искусства».

Август

Россия понемногу откристаллизовывается. Потерялся уважение. Ухожу из «Новой жизни». Задумываю «Мистерию-Буфф».

Октябрь

Принимать или не принимать? Такого вопроса для меня (и для других москвичей-футуристов) не было. Моя революция. Пошел в Смольный. Работал. Все, что приходилось. Начинают заседать.

Январь

Заехал в Москву. Выступаю. Ночью «Кафе поэтов» в Настасьинском. Революционная бабушка теперешних кафе-поэтных салончиков. Пишу киносценарии. Играю сам. Рисую для кино плакаты. Июнь. Опять Петербург.

18-й год

РСФСР — не до искусства. А мне именно до него. Заходил в Пролеткульт к Кшесинской.

Отчего не в партии? Коммунисты работали на фронтах. В искусстве и просвещении пока соглашатели. Меня послали б ловить рыбу в Астрахань.

25 октября, 18-й год

Окончил мистерию. Читал. Говорят много. Поставил Мейерхольд с К. Малевичем. Ревели вокруг страшно. Особенно коммунистичествующая интеллигенция. Андреева чего-чего не делала. Чтоб мешать. Три раза поставили — потом расколотили. И пошли «Макбеты».

19-й год

Езжу с мистерией и другими вещами моими и товарищей по заводам. Радостный прием. В Выборгском районе организуется комфут, издаем «Искусство коммуны». Академии трещат. Весной переезжаю в Москву.

Голову охватила «150 000 000». Пошел в агитацию Роста.

20-й год

Кончил «Сто пятьдесят миллионов». Печатаю без фамилии. Хочу, чтоб каждый дописывал и лучшил. Этого не делали, зато фамилию знали все. Все равно. Печатаю здесь под фамилией.

Дни и ночи РОСТА. Наступают всяческие Деникины. Пишу и рисую. Сделал тысячи три плакатов и тысяч шесть подписей.

21-й год

Пробиваясь сквозь все волокиты, ненависти, канцелярщины и тупости — ставлю второй вариант мистерии. Идет в I РСФСР — в режиссуре Мейерхольда с художниками Лавинским, Храковским, Кнселевым и в цирке на немецком языке для III конгресса Коминтерна. Ставит Граиовский с Альтманом и Равделем. Прошло около ста раз.

Стал писать в «Известиях».

22-й год

Организую издательство МАФ. Собираю футуристов — коммуны. Приехали с Дальнего Востока Асеев, Третьяков и другие товарищи по дракам. Начал записывать работанный третий год «Пятый Интернационал». Утопия. Будет показано искусство через 500 лет.

23-й год

Организуем «Леф». «Леф» — это охват большой социальной темы всеми орудиями футуризма. Этим определением, конечно, вопрос не исчерпывается,— интересующихся отсылаю к №№. Сплотились тесно: Брик, Асеев, Кушнер, Арватов, Третьяков, Родченко, Лавинский.

Написал: «Про это». По личным мотивам об общем быте. Начал обдумывать поэму «Ленин». Один из лозунгов, одно из больших завоеваний «Лефа» — деэстетизация производственных искусств, конструктивизм. Поэтическое приложение: агитка и агитка хозяйственная — реклама. Несмотря на поэтическое улюлюканье, считаю «Нигде кроме как в Моссельпроме» поэзией самой высокой квалификации.

24-й год

«Памятник рабочим Курска». Многочисленные лекции по СССР о «Лефе». «Юбилейное» — Пушкину. И стихи этого типа — цикл. Путешествия: Тифлис, Ялта — Севастополь. «Тамара и Демон» и т. д. Закончил

поэму «Ленни». Читал во многих рабочих собраннях. Я очень боялся этой поэмы, так как легко было синзнться до простого полнтического пересказа. Отношение рабочей аудиторнн обрадовало и утвердило в увереиностн нужности поэмы. Много езжу за границу. Европейская техиика, ниндустриализм, всякая попытка соединить их с еще непролазиой бывшей Россией — всегдашняя идея футуриста-лефовца.

Несмотря на неутешительные тиражные даиные о журнале, «Леф» шнрится в работе.

Мы знаем эти «даиные» — просто частая канцелярская незаинтересованность в отдельиых журналах большого и хладнокровного механизма ГИЗа.

25-й год

Написал агитпоэму «Летающнй пролетарий» и сборник агитстихов «Сам пройдись по небесам».

Еду вокруг земли. Начало этой поездки — последняя поэма (из отдельных стихов) иа тему «Парнж». Хочу и перейду со стиха иа прозу. В этот год должен закончить первый роман.

«Вокруг» не вышло. Во-первых, обокрали в Парнже, во-вторых, после полугода езды пулей бросился в СССР. Даже в Сан-Франциско (звали с лекцией) не поехал. Изъездил Мексику, С.-А. С. Ш. и куски Франции и Испаинн. Результат — книги: публицистика-проза — «Мое открытие Америки» и стихи — «Испания», «Атлантический океан», «Гаванна», «Мексика», «Америка».

Роман дописал в уме, а на бумагу не перевел, потому что: пока дописывалось, проникался иеиавистью к выдуманному и стал от себя требовать, чтобы на фамилии, чтоб иа факте. Впрочем, это и иа 26-й — 27-й годы.

1926-й год

В работе сознательно перевожу себя на газетчика. Фельетон, лозунг. Поэты улюлюкают — однако сами газетничать не могут, а больше печатаются в безответственных приложеннях. А мне на их лирическнй вздор смешно смотреть, настолько этим заниматься легко и инкому, кроме супруги, не интересно.

Пишу в «Известиях», «Труде», «Рабочей Москве», «Заре Востока», «Бакинском рабочем» и других.

Вторая работа — продолжаю прерванную традицию трубадуров и менестрелей. Езжу по городам и читаю. Новочеркасск, Винница, Харьков, Парнж, Ростов, Тифлис, Берлии, Казань, Свердловск, Тула, Прага, Лениинград, Москва, Воронеж, Ялта, Евпатория, Вятка, Уфа и т. д., и т. д., и т. д.

1927-й год

Восстанавливаю (была проба «сократить») «Леф», уже «Новый». Осиовная позицня: против выдумки, эстетизации и психоложества искусством — за агнт, за квалифицированную публицистику и хроннку. Основная работа в «Комсомольской правде», и сверхурочно работаю «Хорошо».

«Хорошо» считаю программной вещью, вроде «Облака в штанах» для того временн. Ограничение отвлеченных поэтическнх прнемов (гиперболы, виньеточного самоценного образа) и изобретенне приемов для обработки хроннкального и агитациониого материала.

Иронический пафос в опнсанни мелочей, но могущих быть и верным шагом в будущее («сыры не засижеиы — лампы сияют, цены снижены»); введеине, для перебивки планов, фактов различного исторнческого калибра, законных только в порядке личных ассоциаций («Разговор с Блоком», «Мне рассказывал тихий еврей, Павел Ильич Лавут»).

Буду разрабатывать намеченное.

Еще: иаписаны — сценарни и детские книги.

Еще продолжал менестрелить. Собрал около 20 000 запнсок, думаю о книге «Универсальный ответ» (записочннкам). Я знаю, о чем думает читающая масса.

1928-й год

Пишу поэму «Плохо». Пьесу и мою литературную бнографню. Миогие говорнли: «Ваша автобнография не очень серьезна». Правильно. Я еще не заакадемичился и ие привык иянчиться со своей персоной, да и дело мое меня интересует, только если это весело. Подъем н опадание многих литератур, снмволисты, реалисты и т. д., наша борьба с ннмн — все это, шедшее на моих глазах: это часть нашей весьма серьезной историн. Это требует, чтобы об нем напнсать. И напншу.

1922. 1928

СТИХОТВОРЕНИЯ

НОЧЬ

Багровый и белый отброшен и скомкан,
в зелеиый бросали горстями дукаты,
а чериым ладоням сбежавшихся окон
раздали горящие желтые карты.

Бульварам и площади было ие страино
увидеть на здаииях сиие тоги.
И раиьше бегущим, как желтые раиы,
огии обручали браслетами иоги.

Толпа — пестрошерстая быстрая кошка —
плыла, изгибаясь, дверями влекома;
каждый хотел протащить хоть иемиожко
громаду из смеха отлитого кома.

Я, чувствуя платья зовущие лапы,
в глаза им улыбку протисиул; пугая
ударами в жесть, хохотали арапы,
над лбом расцветивши крыло попугая.

1912

УТРО

Угрюмый дождь скосил глаза.
А за
решеткой
четкой
железиой мысли проводов —
перина.

И на
нее
встающих звезд
легко оперлись ногн.
Но ги-
бель фонарей,
царей
в короне газа,
для глаза
сделала больней
враждующий букет бульварных проституток.
И жуток
шуток
клюющий смех —
из желтых
ядовитых роз
возрос
зигзагом.
За гам
и жуть
взглянуть
отрадно глазу:
раба
крестов
страдающе-спокойно-безразличных,
гроба
домов
публичных
восток бросал в одну пылающую вазу.

1912

ПОРТ

Простыни вод под брюхом были.
Их рвал на волны белый зуб.
Был вой трубы — как будто лили
любовь и похоть медью труб.
Прижались лодки в люльках входов
к сосцам железных матерей.
В ушах оглохших пароходов
горели серьги якорей.

1912

ИЗ УЛИЦЫ В УЛИЦУ

У-
лица.
Лица
у
догов
годов
рез-
че.
Че-
рез
железиых коней
с окои бегущих домов
прыгиули первые кубы.
Лебеди шей колокольных,
гиитесь в силках проводов!
В иебе жирафнй рисуиок готов
выпестрить ржавые чубы.
Пестр, как форель,
сыи
безузорной пашии.
Фокуснпк
рельсы
тяиет из пасти трамвая,
скрыт цинферблатами башин.
Мы завоеваиы!
Ваниы.
Души.
Лифт.
Лиф души расстегиули.
Тело жгут руки.
Кричи, не кричи:
«Я не хотела!» —
резок
жгут
муки.
Ветер колючий
трубе
вырывает
дымчатой шерсти клок.

Лысый фонарь
сладострастно снимает
с улицы
черный чулок.

1913

А ВЫ МОГЛИ БЫ?

Я сразу смазал карту будня,
плеснувши краску из стакана;
я показал на блюде студня
косые скулы океана.
На чешуе жестяной рыбы
прочел я зовы новых губ.
А вы
ноктюрн сыграть
могли бы
на флейте водосточных труб?

1913

ВЫВЕСКАМ

Читайте железные книги!
Под флейту золо́тченой буквы
полезут копченые сиги
и золотокудрые брюквы.

А если веселостью песьей
закружат созвездия «Магги» —
бюро похоронных процессий
свои проведут саркофаги.

Когда же, хмур и плачевей,
загасит фонарные знаки,
влюбляйтесь под небом харчевен
в фаянсовых чайников маки!

1913

Я

1

По мостовой
моей души нзъезженной
шагн помешаниых
вьют жестких фраз пяты.
Где города
повешены
н в петле о́блака
застылн
башеи
кривые выи —
иду
однн рыдать,
что перекрестком
ра́спяты
городовые.

2

Несколько слов о моей жене

Морей неведомых далеким пляжем
идет луна —
жеиа моя.
Моя любовинца рыжеволосая.
За экипажем
крикливо тяиется толпа созвездиӣ пестрополосая.
Веичается автомобнльиым гаражем,
целуется газетнымн кноскамн,
а шлейфа млечиый путь моргающнм пажем
украшеи мишуриыми блесткамн.
А я?
Несло же, палнмому, бровей коромысло
из глаз колодцев студеные ведра.
В шелках озериых ты внсла,
янтарной скрипкой пели бедра?
В края, где злоба крыш,
ие кииешь блесткой лесни.
В бульварах я тону, тоской песков овеяи:
ведь это ж дочь твоя —
моя песия
в чулке ажурном
у кофееи!

3

Несколько слов о моей маме

У меия есть мама на васильковых обоях.
А я гуляю в пестрых павах,
вихрастые ромашки, шагом меряя, мучу.
Заиграет вечер иа гобоях ржавых,
подхожу к окошку,
веря,
что увижу опять
севшую
на дом
тучу.
А у мамы больной
пробегают народа шорохи
от кровати до угла пустого.
Мама знает —
это мысли сумасшедшей ворохи
вылезают из-за крыш завода Шустова.
И когда мой лоб, веичаиный шляпой фетровой,
окровавит гасиущая рама,
я скажу,
раздвииув басом ветра вой:
«Мама.
Если стаиет жалко мие
вазы вашей муки,
сбитой каблуками облачиого таица,—
кто же изласкает золотые руки,
вывеской заломлеииые у витрин Аваицо?..»

4

Несколько слов обо мне самом

Я люблю смотреть, как умирают дети.
Вы прибоя смеха мглистый вал заметили
за тоски хоботом?
А я —
в читальие улиц —
так часто перелистывал гро́ба том.
Полиочь
промокшими пальцами щупала

меня
и забитый забор,
и с каплями ливня на лысине купола
скакал сумасшедший собор.
Я вижу, Христос из иконы бежал,
хитона оветренный край
целовала, плача, слякоть.
Кричу кирпичу,
слов исступленных вонзаю кинжал
в неба распухшего мякоть:
«Солнце!
Отец мой!
Сжалься хоть ты и не мучай!
Это тобою пролитая кровь моя льется дорогою дольней.
Это душа моя
клочьями порванной тучи
в выжженном небе
на ржавом кресте колокольни!
Время!
Хоть ты, хромой богомаз,
лик намалюй мой
в божницу уродца века!
Я одинок, как последний глаз
у идущего к слепым человека!»

1913

ОТ УСТАЛОСТИ

Земля!
Дай исцелую твою лысеющую голову
лохмотьями губ моих в пятнах чужих позолот.
Дымом волос над пожарами глаз из олова
дай обовью я впалые груди болот.
Ты! Нас — двое,
израненных, загнанных лапами,
вздыбилось ржанье оседланных смертью коней.
Дым из-за дома догонит нас длинными дланями,
мутью озлобив глаза догнивающих в ливнях огней.
Сестра моя!
В богадельнях идущих веков,
может быть, мать мне сыщется;
бросил я ей окровавленный песнями рог.

Квакая, скачет по полю
канава, зеленая сыщица,
нас заневолить
веревками грязных дорог.
1913

АДИЩЕ ГОРОДА

Адище города окна разбили
на крохотные, сосущие светами адки́.
Рыжие дьяволы, вздымались автомобили,
над самым ухом взрывая гудки.

А там, под вывеской, где сельди из Керчи —
сбитый старикашка шарил очки
и заплакал, когда в вечереющем смерче
трамвай с разбега взметнул зрачки.

В дырах небоскребов, где горела руда
и железо поездов громоздило лаз —
крикнул аэроплан и упал туда,
где у раненого солнца вытекал глаз.

И тогда уже — скомкав фонарей одеяла —
ночь излюбилась, похабна и пьяна,
а за солнцами улиц где-то ковыляла
никому не нужная, дряблая луна.
1913

НАТЕ!

Через час отсюда в чистый переулок
вытечет по человеку ваш обрюзгший жир,
а я вам открыл столько стихов шкатулок,
я — бесценных слов мот и транжир.

Вот вы, мужчина, у вас в усах капуста
где-то недокушанных, недоеденных щей;
вот вы, женщина, на вас белила густо,
вы смотрите устрицей из раковин вещей.

Все вы на бабочку поэтного сердца
взгромоздитесь, грязные, в калошах и без калош.
Толпа озвереет, будет тереться,
ощетинит ножки стоглавая вошь.

А если сегодия мие, грубому гуиию,
кривляться перед вами ие захочется — и вот
я захохочу и радостио плюиу,
плюиу в лицо вам
я — бесцеииых слов траижир и мот.

1913

НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮТ

Вошел к парикмахеру, сказал — спокойиый:
«Будьте добры́, причешите мие уши».
Гладкий парикмахер сразу стал хвойиый,
лицо вытяиулось, как у груши.
«Сумасшедший!
Рыжий!» —
запрыгали слова.
Ругаиь металась от писка до писка,
и до-о-о-о-лго
хихикала чья-то голова,
выдергиваясь из толпы, как старая редиска.

1913

КОФТА ФАТА

Я сошью себе чериые штаиы
из бархата голоса моего.
Желтую кофту из трех аршии заката.
По Невскому мира, по лощеиым полосам его,
профлаиирую шагом Дои-Жуаиа и фата.

Пусть земля кричит, в покое обабившись:
«Ты зелеиые весиы идешь иасиловать!»
Я брошу солицу, иагло осклабившись:
«На глади асфальта мие хорошо грассировать!»

Не потому ли, что иебо голубо́,
а земля мие любовиица в этой праздиичиой чистке,
я дарю вам стихи, веселые, как би-ба-бо,
и острые и иужиые, как зубочистки!

Женщины, любящие мое мясо, и эта
девушка, смотрящая на меня, как на брата,
закидайте улыбками меня, поэта,—
я цветами нашью их мне на кофту фата!

1914

ПОСЛУШАЙТЕ!

Послушайте!
Ведь, если звезды зажигают —
значит — это кому-нибудь нужно?
Значит — кто-то хочет, чтобы они были?
Значит — кто-то называет эти плевочки
жемчужиной?
И, надрываясь
в метелях полуденной пыли,
врывается к богу,
боится, что опоздал,
плачет,
целует ему жилистую руку,
просит —
чтоб обязательно была звезда! —
клянется —
не перенесет эту беззвездную муку!
А после
ходит тревожный,
но спокойный наружно.
Говорит кому-то:
«Ведь теперь тебе ничего?
Не страшно?
Да?!»
Послушайте!
Ведь, если звезды
зажигают —
значит — это кому-нибудь нужно?
Значит — это необходимо,
чтобы каждый вечер
над крышами
загоралась хоть одна звезда?!

1914

А ВСЁ-ТАКИ

Улица провалилась, как нос сифилитика.
Река — сладострастье, растекшееся в слюни.
Отбросив белье до последнего листика,
сады похабно развалились в июне.

Я вышел на площадь,
выжженный квартал
надел на голову, как рыжий парик.
Людям страшно — у меня изо рта
шевелит огами неприжеванный крик.

Но меня не осудят, но меня не облают,
как пророку, цветами устелят мне след.
Все эти, провалившиеся носами, знают:
я — ваш поэт.

Как трактир, мне страшен ваш страшный суд!
Меня одного сквозь горящие здания
проститутки, как святыню, на руках понесут
и покажут богу в свое оправдание.

И бог заплачет над моею книжкой!
Не слова — судороги, слипшиеся комом;
и побежит по небу с моими стихами под мышкой
и будет, задыхаясь, читать их своим знакомым.

1914

ВОЙНА ОБЪЯВЛЕНА

«Вечернюю! Вечернюю! Вечернюю!
Италия! Германия! Австрия!»
И на площадь, мрачно очерченную чернью,
багровой крови пролила́сь струя!

Морду в кровь разбила кофейня,
зверьим криком багрима:
«Отравим кровью игры Рейна!
Грома́ми ядер на мрамор Рима!»

С иеба, изодрапиого о штыков жала,
слёзы звезд просеивались, как мука́ в сите,
и подошвами сжатая жалость визжала:
«Ах, пустите, пустите, пустите!»

Броизовые геиералы иа граиеиом цоколе
молили: «Раскуйте, и мы поедем!»
Прощающейся коииицы поцелуи цокали,
и пехоте хотелось к убийце — победе.

Громоздящемуся городу уро́дился во сие
хохочущий голос пушечиого баса,
а с запада падает красиый сиег
сочиыми клочьями человечьего мяса.

Вздувается у площади за ротой рота,
у злящейся иа лбу вздуваются веиы.
«Постойте, шашки о шелк кокоток
вытрем, вытрем в бульварах Веиы!»

Газетчики иадрывались: «Купите вечериюю!
Италия! Гермаиия! Австрия!»
А из иочи, мрачио очерчеииой черию,
багровой крови лила́сь и лила́сь струя.

20 июля 1914 г.

МАМА И УБИТЫЙ НЕМЦАМИ ВЕЧЕР

По черным улицам белые матери
судорожио простерлись, как по гробу глазет.
Вплакались в орущих о побитом иеприятеле:
«Ах, закройте, закройте глаза газет!»

Письмо.

Мама, громче!
Дым.
Дым.
Дым еще!
Что вы мямлите, мама, мие?

Видите —
весь воздух вымощеи
громыхающим под ядрами камием!
Ма — а — а — ма!
Сейчас притащили израиеиный вечер.
Крепился долго,
кургузый,
шершавый,
и вдруг,—
иадломивши тучиые плечи,
расплакался, бедиый, иа шее Варшавы.
Звезды в платочках из сииего ситца
визжали:
«Убит,
дорогой,
дорогой мой!»
И глаз иоволуиия страшио косится
иа мертвый кулак с зажатой обоймой.
Сбежались смотреть литовские села,
как, поцелуем в обрубок вковаиа,
слезя золотые глаза костелов,
пальцы улиц ломала Ковиа.
А вечер кричит,
безиогий,
безрукий:
«Неправда,
я еще могу-с —
хе! —
выбряцав шпоры в горящей мазурке,
выкрутить русый ус!»

Звоиок.

Что вы,
мама?
Белая, белая, как иа гробе глазет.
«Оставьте!
О нем это,
об убитом, телеграмма.
Ах, закройте,
закройте глаза газет!»

1914

СКРИПКА И НЕМНОЖКО НЕРВНО

Скрипка издергалась, упрашивая,
и вдруг разревелась
так по-детски,
что барабаи ие выдержал:
«Хорошо, хорошо, хорошо!»
А сам устал,
ие дослушал скрипкииой речи,
шмыгиул иа горящий Кузиецкий
и ушел.
Оркестр чужо смотрел, как
выплакивалась скрипка
без слов,
без такта,
и только где-то
глупая тарелка
вылязгивала:
«Что это?»
«Как это?»
А когда геликои —
медиорожий,
потиый,
крикиул:
«Дура,
плакса,
вытри!» —
я встал,
шатаясь полез через иоты,
сгибающиеся под ужасом пюпитры,
зачем-то крикиул:
«Боже!»,
бросился иа деревяииую шею:
«Зиаете что, скрипка?
Мы ужасио похожи:
я вот тоже
ору —
а доказать иичего ие умею!»
Музыкаиты смеются:
«Влип как!
Пришел к деревяииой иевесте!
Голова!»
А мие — иаплевать!

Я — хороший.
«Знаете что, скрипка?
Давайте —
будем жить вместе!
А?»

1914

Я И НАПОЛЕОН

Я живу на Большой Пресне,
36, 24.
Место спокойненькое.
Тихонькое.
Ну?
Кажется — какое мне дело,
что где-то
в буре-мире
взяли и выдумали войну?

Ночь пришла.
Хорошая.
Вкрадчивая.
И чего это барышни некоторые
дрожат, пугливо поворачивая
глаза громадные, как прожекторы?
Уличные толпы к небесной влаге
припали горящими устами,
а город, вытрепав ручонки-флаги,
молится и молится красными крестами.
Простоволосая церковка бульвариому изголовью
припала,— набитый слезами куль,—
а у бульвара цветники истекают кровью,
как сердце, изодранное пальцами пуль.
Тревога жиреет и жиреет,
жрет зачерствевший разум.
Уже у Ноева оранжереи
покрылись смертельно-бледным газом!
Скажите Москве —
пускай удержится!
Не надо!
Пусть не трясется!

Через секуиду
встречу я
иеб самодержца,—
возьму и убью солнце!
Видите!
Флаги по небу полощет.
Вот он!
Жирен и рыж.
Красным копытом грохнув о площадь,
въезжает по трупам крыш!

Тебе,
орущему:
«Разрушу,
разрушу!»,
вырезавшему ночь из окровавленных кариизов,
я,
сохраивший бесстрашную душу,
бросаю вызов!

Идите, изъеденные бессонницей,
сложите в костер лица!
Все равио!
Это нам последнее солнце —
солнце Аустерлица!

Идите, сумасшедшие, из России, Польши.
Сегодня я — Наполеон!
Я полководец и больше.
Сравните:
я и — он!

Ои раз чуме приблизился троном,
смелостью смерть поправ,—
я каждый день иду к зачумленным
по тысячам русских Яфф!
Ои раз, не дрогнув, стал под пули
и славится столетий сто,—
а я прошел в одном лишь июле
тысячу Аркольских мостов!
Мой крик в граните времени выбит,
и будет греметь и гремит,

оттого, что
в сердце, выжженном, как Египет,
есть тысяча тысяч пирамид!
За мной, изъеденные бессонницей!
Выше!
В костер лиц!
Здравствуй,
мое предсмертное солнце,
солнце Аустерлица!

Люди!
Будет!
На солнце!
Прямо!
Солнце съежится аж!
Громче из сжатого горла храма
хрипи, похоронный марш!
Люди!
Когда канонизируете имена
погибших,
меня известней,—
помните:
еще одного убила война —
поэта с Большой Пресни!

1915

ВАМ!

Вам, прожевывающим за оргией оргию,
имеющим ванную и теплый клозет!
Как вам не стыдно о представленных к Георгию
вычитывать из столбцов газет?!

Знаете ли вы, бездарные, многие,
думающие, нажраться лучше как,—
может быть, сейчас бомбой ноги
выдрало у Петрова поручика?..

Если б он, приведенный на убой,
вдруг увидел, израненный,
как вы измазанной в котлете губой
похотливо напеваете Северянина!

Вам ли, любящим баб да блюда,
жизнь отдавать в угоду?!
Я лучше в баре блядям буду
подавать ананасную воду!

1915

ГИМН СУДЬЕ

По Красному морю плывут каторжане,
трудом выгребая галеру,
рыком покрыв кандальное ржанье,
орут о родиие Перу.

О рае Перу орут перуанцы,
где птицы, танцы, бабы
и где над веицами цветов померанца
были до иебес баобабы.

Банан, ананасы! Радостей груда!
Вино в запечатанной посуде...
Но вот иеизвестио зачем и откуда
на Перу иаперли судьи!

И птиц, н танцы, и нх перуанок
кругом обложилн статьями.
Глаза у судьи — пара жестянок
мерцает в помойной яме.

Попал павлин оранжево-синий
под глаз его строгий, как пост,—
и выли́нял моментально павлиний
великолепиый хвост!

А возле Перу летали по прерии
птичкн такие — колнбри;
судья поймал и пух н перья
бедной колибри выбрнл.

И нет ни в одной долине иные
гор, вулканом горящих.
Судья иапнсал на каждой долиие:
«Долииа для иекурящих».

В бедном Перу стнхн мои даже
в запрете под страхом пыток.
Судья сказал: «Те, что в продаже,
тоже спнртиой напнток».

Экватор дрожит от каидальиых звонов.
А в Перу бесптнчье, безлюдье...
Лишь, злобно забившись под своды законов,
жнвут унылые судьи.

А знаете, все-таки жаль перуанца.
Зря ему дали галеру.
Судьи мешают н птнце, н танцу,
н мие, н вам, и Перу.

1915

ГИМН УЧЕНОМУ

Народоиаселеине всей империи —
люди, птицы, сорокоиожки,
ощетииив щетиию, выперев перья,
с отчаянным любопытством висят на окошке.

И солице иитересуется, н апрель еще,
даже заиитересовало трубочиста чериого
удивительное, иеобыкиовеиное зрелище —
фигура зиамеиитого учеиого.

Смотрят: и ин одиого человеческого качества.
Не человек, а двуногое бессилие,
с головой, откусаииой начисто
трактатом «О бородавках в Бразилии».

Вгрызлись в букву едящие глаза,—
ах, как букву жалко!
Так, должио быть, жевал вымирающий нхтиозавр
случайио попавшую в челюстн фиалку.

Искривнлся позвоиочннк, как оглоблей удареиный,
ио учеиому лн думать о пустяковом изъяие?
Он зиает отлично иапнсаииое у Дарвиина,
что мы — лишь потомкн обезьяиьн.

Просочится солнце в крохотиую щелку,
как малеиькая гиоящаяся раика,
и спрячется иа пыльиую полку,
где громоздится иа баике баика.

Сердце девушки, выварееиое в иоде.
Окамеиелый обломок позапрошлого лета.
И еще иа булавке что-то вроде
засушеииого хвоста небольшой кометы.

Сидит все иочи. Солице из-за домишкн
опять осклабилось на людские безобразня,
и виизу по тротуарам опять приготовишки
деятельио ходят в гимиазии.

Проходят красиоухне, а ему ие иудно,
что растет человек глуп и покореи;
ведь зато он может ежесекуидио
извлекать квадратный кореиь.

1915

ВОЕННО-МОРСКАЯ ЛЮБОВЬ

По морям, играя, носится
с миионосцем миионосица.

Льиет, как будто к меду осочка,
к миионосцу миионосочка.

И коица б ие довелось ему,
благодушью миионосьему.

Вдруг прожектор, вздев иа нос очки,
впился в спнну миионосочкн.

Как взревет медноголосиина:
«Р-р-р-астакая миноносиина!»

Прямо ль, влево ль, вправо ль бросится,
а сбежала миноносица.

Но ударить удалось ему
по ребру по мнноносьему.

Плач и вой морями иосится:
овдовела миноиосица.

И чего это иесиосеи иам
мир в семействе миноиосиином?

1915

ГИМН ЗДОРОВЬЮ

Среди тоикоиогих, жидких кровью,
трудом поворачивая шею бычью,
иа сытый праздиик тучиому здоровью
людей из мяса я зычио кличу!

Чтоб бешеиой пляской землю овить,
скучиую, как баика коисервов,
давайте весеиних бабочек ловить
сетью иеиужиых иервов!

И по камиям острым, как глаза ораторов,
красавцы-отцы здоровых томов,
потащим мордами умиых психиатров
и бросим за решетки сумасшедших домов!

А сами сквозь город, иссохший как Оиаиия,
с толпой фоиарей желтолицых, как скопцы,
голодиым самкам иакормим желаиия,
поросшие шерстью красавцы-самцы!

1915

ГИМН КРИТИКУ

От страсти извозчика и разговорчивой прачки
иевзрачиый детеныш в результате вытек.
Мальчик — ие мусор, ие вывезешь иа тачке.
Мать поплакала и иазвала его: критик.

Отец, в разговорах вспомииая родословиые,
любил поспорить о правах материиства.
Такое воспитаиие, светское и салоиное,
оберегало мальчика от уклоиа в свииство.

Как роется дворнпком к кухарке сапа,
щебетала мамаша н кальсоны мыла;
от мамашн мальчнк унаследовал запах
и способность вннкать легко н без мыла.

Когда он вырос прнблнзнтельно с полено
н веснушкн рассыпалнсь, как рыжнкн на блюде,
его нзящным ударом колена
провелн на улнцу, чтобы вышел в людн.

Много ль человеку нужно? — Клочок —
небольшне штаны н что-ннбудь нз хлеба.
Он носом, хорошенькнм, как построчный пятачок,
обнюхал прнятное газетное небо.

И какой-то обладатель какого-то нменн
нежнейший в дверн услыхал стук.
И скоро крнтнк нз йменнного выменн
выдонл н брюкн, н булку, н галстук.

Легко смотреть ему, обутому н одетому,
молодых нскателей нзысканные нгры
и думать: хорошо — ну, хотя бы этому
потрогать зубенкамн шальные нкры.

Но еслн просочится в газетной сетн
о том, как велнк был Пушкнн нлн Дант,
кажется, будто разлагается в газете
громадный и жнрный офнцнант.

И когда вы, наконец, в столетнй юбнлей
продерете глазкн в кадпльной гарн,
имя его первое, голубцы белей,
чнсто засняет на поднесенном портсигаре.

Пнсателн, нас много. Собнрайте мнллион.
И богадельню крнтнкам построим в Нпце.
Вы думаете — легко нм наше белье
ежедневно прополаскнвать в газетной страннце!

1915

ГИМН ОБЕДУ

Слава вам, идущие обедать миллионы!
И уже успевшие наесться тысячи!
Выдумавшие каши, бифштексы, бульоны
и тысячи блюдищ всяческой пищи.

Если ударами ядр
тысячи Реймсов разбить удалось бы —
по-прежнему будут ножки у пулярд,
и дышать по-прежиему будет ростбиф!

Желудок в панаме! Тебя ль заразят
величием смерти для новой эры?!
Желудку ничем болеть нельзя,
кроме аппендицита и холеры!

Пусть в сале совсем потонут зрачки —
все равно их зря отец твой выделал;
на слепую кишку хоть надень очки,
кишка все равно ничего б не видела.

Ты так не хуже! Наоборот,
если б рот один, без глаз, без затылка —
сразу могла б поместиться в рот
целая фаршированная тыква.

Лежи спокойно, безглазый, безухий,
с куском пирога в руке,
а дети твои у тебя на брюхе
будут играть в крокет.

Спи, не тревожась картиной крови
и тем, что пожаром мир опоясан,—
молоком богаты силы коровьи,
и безмерно богатство бычьего мяса.

Если взрежется последняя шея бычья
и злак последний с камня серого,
ты, верный раб твоего обычая,
из звезд сфабрикуешь консервы.

А если умрешь от котлет и бульонов,
на памятнике прикажем высечь:
«Из стольких-то и стольких-то котлет миллионов —
твоих четыреста тысяч».

1915

ВОТ ТАК Я СДЕЛАЛСЯ СОБАКОЙ

Ну, это совершенно невыносимо!
Весь как есть искусан злобой.
Злюсь не так, как могли бы вы:
как собака лицо луны гололобой —
взял бы
и все обвыл.

Нервы, должно быть...
Выйду,
погуляю.
И на улице не успокоился ни на ком я.
Какая-то прокричала про добрый вечер.
Надо ответить:
она — знакомая.
Хочу.
Чувствую —
не могу по-человечьи.

Что это за безобразие!
Сплю я, что ли?
Ощупал себя:
такой же, как был,
лицо такое же, к какому привык.
Трогал губу,
а у меня из-под губы —
клык.

Скорее закрыл лицо, как будто сморкаюсь.
Бросился к дому, шаги удвоив.
Бережно огибаю полицейский пост,
вдруг оглушительное:
«Городовой!
Хвост!»

Провел рукой и — остолбенел!
Этого-то,
всяких клыков почище,
я и ие заметил в бешеиом скаче:
у меия из-под пиджака
развеерился хвостище
и вьется сзади,
большой, собачий.

Что теперь?
Одии заорал, толпу растя.
Второму прибавился третий, четвертый.
Смяли старушоику.
Оиа, крестясь, что-то кричала про черта.

И когда, ощетинив в лицо усища-веиики,
толпа иавалилась,
огромиая,
злая,
я стал иа четвереиьки
и залаял:
Гав! гав! гав!

1915

ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ НЕЛЕПОСТИ

Бросьте!
Коиечио, это не смерть.
Чего ей ради ходить по крепости?
Как вам не стыдно верить
иелепости?!

Просто имеиииик устроил кариавал,
выдумал для шума стрельбу и тир,
а сам, по-жабьи присев иа вал,
вымаргивается, как из мортир.
Ласков хозяииа бас,
просто — похож иа пушечиый.
И ие от газа маска,
а ради шутки игрушечной.
Смотрите!
Небо мерить
выбежала ракета.

Разве так красиво смерть
бежала б в небе паркета!
Ах, не говорите:
«Кровь из раны».
Это — дико!
Просто йзбранных из бранных
одарнвали гвоздикой.
Как же иначе?
Мозг не хочет понять
и не может:
у пушечных шей
если не целоваться,
то — для чего же
обвиты рукн траншей?
Никто не убит!
Просто — не выстоял.
Лег от Сены до Рейна.
Оттого что цветет,
одуряет желтолистая
на клумбах из убитых гангрена.
Не убиты,
нет же,
нет!
Все они встанут
просто —
вот так,
вернутся
и, улыбаясь, расскажут жене,
какой хозяин весельчак и чудак.
Скажут: не было ни ядр, ни фугасов
и, конечно же, не было крепостн!
Просто имениннник выдумал массу
каких-то великолепных нелепостей!

1915

ГИМН ВЗЯТКЕ

Пришли и славословим покорненько
тебя, дорогая взятка,
все здесь, от младшего дворника
до того, кто в золото заткан.

Всех, кто за нашей десницей
посмеет с укором глаза́ весть,
мы так, как нм н не снится,
иакажем мерзавцев за завнсть.

Чтоб больше не смела вздыматься хула,
наденем мундиры н медали
и, выдвинув вперед убеднтельный кулак,
спросим: «А это вндали?»

Если сверху смотреть — разннешь рот.
И взыграет от радостн каждая мышца.
Россня — сверху — прямо огород,
вся налнвается, цветет н пышнтся.

А разве вндано где-ннбудь, чтоб стояла коза
н лезть в огород козе лень?..
Было бы время, я б доказал,
которые — коза и зелень.

И иечего доказывать — ндите н бернте.
Умолкнет газетная нечнсть ведь.
Как баранов, надо стрнчь н брнть нх.
Чего стесняться в своем отечестве?

1915

ВНИМАТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ВЗЯТОЧНИКАМ

Неужели н о взятках пнсать поэтам!
Дорогне, нам некогда. Нельзя так.
Вы, которые взяточннкн,
хотя бы поэтому,
не надо, не бернте взяток.
Я, выколачнвающнй нз строчек штаны,—
конечно, как начннающнй, не очень часто,
я — еще н росснйскнй граждаинн,
беззаветно чтущнй н чнновника н участок.
Прихожу и выплакнваю все мон просьбы,
прнинкшн щекою к светлому кнтелю.
Думает чнновник: «Эх, удалось бы!
Этак на двестн птнчку вытелю».

Сколько раз под сень чиновник,
приносил обиды им.
«Эх, удалось бы,— думает чиновник,—
этак на триста бабочку выдоим».
Я знаю, надо и двести и триста вам —
возьмут, все равно, не те, так эти;
и руганью ни одного не обижу пристава:
может быть, у пристава дети.
Но лишний труд — доить поодиночно,
вы и так ведете в работе года.
Вот что я выдумал для вас нарочно —
Господа!
Взломайте шкапы, сундуки и ларчики,
берите деньги и драгоценности мамашины,
чтоб последний мальчонка в потненьком кулачике
зажал сбереженный рубль бумажный.
Костюмы соберите. Чтоб не было рваных.
Мамаша! Вытряхивайтесь из шубы беличьей!
У старых брюк обшарьте карманы —
в карманах копеек на сорок мелочи.
Все это узлами уложим и свяжем,
а сами, без денег и платья,
придем, поклонимся и скажем:
Нате!
Что нам деньги, транжирам и мотам!
Мы даже не знаем, куда нам деть их.
Берите, милые, берите, чего там!
Вы наши отцы, а мы ваши дети.
От холода не попадая зубом на зуб,
стоим голые под голые небеса.
Берите, милые! Но только сразу,
Чтоб об этом больше никогда не писать.

1915

ЧУДОВИЩНЫЕ ПОХОРОНЫ

Мрачные до черного вышли люди,
тяжко и чинно выстроились в городе,
будто сейчас набираться будет
хмурых монахов черный орден.

Траур воронов, выкаймленный под окна,
небо, в бурю крашеное,—
все было так подобрано и подогнано,
что волей-неволей ждалось страшное.

Тогда разверзлась, кряхтя и нехотя,
пыльного воздуха сухая охра,
вылез из воздуха и начал ехать
тихий катафалк чудовищных похорон.

Встревоженная ожила глаз масса,
гору взоров в гроб бросили.
Вдруг из гроба прыснула гримаса,
после —

крик: «Хоронят умерший смех!» —
из тысячегрудого меха
гремел омиллионенный множеством эх
за гробом, который ехал.

И тотчас же отчаяннейшего плача ножи
врезались, заставив ничего не понимать.
Вот за гробом, в плаче, старуха-жизнь,—
усопшего смеха седая мать.

К кому же, к кому вернуться назад ей?
Смотрите: в лысине — тот —
это большой, носатый
плачет армянский анекдот.

Еще не забылось, как выкривил рот он,
а за ним ободранная, куцая,
визжа, бежала острота.
Куда — если умер — уткнуться ей?

Уже до неба плачей глыба.
Но еще,
еще откуда-то плачики —
это целые полчища улыбочек и улыбок
ломали в горе хрупкие пальчики.

И вот сквозь строй их, смокших в один
сплошной изрыдавшийся Гаршин,
вышел ужас — вперед пойти —
весь в похоронном марше.

Размокло лицо, стало — кашица,
смятая морщииками иа выхмуреиием лбу,
а если кто смеется — кажется,
что ему разодрали губу.

1915

ЭЙ!

Мокрая, будто ее облизали,
толпа.
Прокисший воздух плесеиью веет.
Эй!
Россия,
иельзя ли
чего поиовее?

Блажеи, кто хоть раз смог,
хотя бы закрыв глаза,
забыть вас,
неиужиых, как иасморк,
и трезвых,
как нарзаи.

Вы все такие скучные, точио
во всей вселеииой нету Капри.
А Капри есть.
От сияиий цветочиых
весь остров, как жеищиа в розовом капоре.

Помчим поезда к берегам, а берег
забудем, качая тела в пароходах.
Наоткрываем десятки Америк.
В иеведомых полюсах вынежим отдых.

Смотри, какой ты ловкий,
а я —
вои у меия рука груба как.
Быть может, в туриирах,
быть может, в боях
я был бы самый искусиый рубака.

Как весело, сделав удачиый удар,
смотреть, растопырил иоги как.

И вот врага, где предки,
туда
отправила шпаги логика.

А после в огие раззолочеииых зал,
забыв привычку спаиья,
всю ночь иапролет провести,
глаза
уткнув в желтоглазый коиьяк.

И, накоиец, ощетииясь, как еж,
с похмелья придя поутру,
иевериой любимой грозить, что убьешь
и в море выбросишь труп.

Сорвем еруиду пиджаков и маижет,
крахмальиые груди раскрасим под панцирь,
загием рукоять иа столовом иоже,
и будем все хоть иа деиь, да испанцы.

Чтоб все, забыв свой севериый ум,
любились, дрались, волиовались.
Эй!
Человек,
землю саму
зови иа вальс!

Возьми и иебо заиово вышей,
иовые звезды придумай и выставь,
чтоб, исступлеиио царапая крыши,
в небо карабкались души артистов.

1916

КО ВСЕМУ

Нет.
Это иеправда.
Нет!
И ты?
Любимая,
за что,
за что же?!

Хорошо —
я ходнл,
я дарнл цветы,
я ж из ящнка не выкрал серебряных ложек!

Белый,
сшатался с пятого этажа.
Ветер щекн ожег.
Улица клубнлась, визжа н ржа.
Похотлнво взлазнл рожок на рожок.

Вознес над суетой столнчной одурн
строгое —
древнпх нкон —
чело.
На теле твоем — как на смертном о́дре —
сердце
днн
кончнло.

В грубом убнйстве не пачкала рук ты.
Ты
уронила только:
«В мягкой постелн
он,
фрукты,
вино на ладонн ночного столнка».

Любовь!
Только в моем
воспаленном
мозгу была ты!
Глупой комедни остановнте ход!
Смотри́те —
срываю нгрушкн-латы
я,
велнчайшнй Дон-Кнхот!

Помните:
под ношей креста
Хрнстос
секунду
усталый стал.

Толпа орала:
«Марала!
Маааррраааала!»

Правильно!
Каждого,
кто
об отдыхе взмолится,
оплюй в его весеннем дне!
Армин подвижников, обреченным добровольцам
от человека пощады нет!

Довольно!

Теперь —
клянусь моей языческой силою! —
дайте
любую
краснвую,
юную,—
душн не растрачу,
изнасилую
и в сердце насмешку плюну ей!

Око за око!

Севы местн в тысячу крат жнн!
В каждое ухо ввой:
вся земля —
каторжник
с наполовину выбритой солнцем головой!

Око за око!

Убьете,
похороните —
выроюсь!
Об камень обточатся зубов ножи еще!
Собакой забьюсь под нары казарм!
Буду,
бешеный,
вгрызаться в ножища,
пахнущие по́том н базаром.

Ночью вскóчите!
Я
звал!
Белым быком возрос иад землей:
Мууууу!
В ярмо замучеиа шея-язва,
иад язвой смерчи мух.

Лосем обериусь,
в провода
впутаю голову ветвистую
с иалитыми кровью глазами.
Да!
Затравленным зверем над миром выстою.

Не уйти человеку!
Молитва у рта,—
лег иа плиты просящ и грязеи ои.
Я возьму
иамалюю
иа царские врата
иа божьем лике Разииа.

Солице! Лучей ие кииь!
Сохиите, реки, жажду утолить ие дав ему,—
чтоб тысячами рождались мои учеиики
трубить с площадей аиафему!

И когда,
иакоиец,
иа веков верхи́ став,
последиий выйдет деиь им,—
в черных душах убийц и аиархистов
важгусь кровавым видеиием!

Светает.
Все шире разверзается иеба рот.
Ночь
пьет за глотком глоток ои.
От окои зарево.
От окои жар течет.
От окои густое солице льется иа спящий город.

Святая месть моя!
Опять
иад уличиой пылью
ступеиями строк ввысь поведи!
До края полное сердце
вылью
в исповеди!

Грядущие люди!
Кто вы?
Вот — я,
весь
боль и ушиб.
Вам завещаю я сад фруктовый
моей великой души.

1916

ЛИЛИЧКА!

Вместо письма

Дым табачиый воздух выел.
Комиата —
глава в кручеиыховском аде.
Вспомии —
за этим окиом
впервые
руки твои, исступлеииый, гладил.
Сегодия сидишь вот,
сердце в железе.
День еще —
выгонишь,
может быть, изругав.
В мутиой передией долго не влезет
сломаииая дрожью рука в рукав.
Выбегу,
тело в улицу брошу я.
Дикий,
обезумлюсь,
отчаяньем иссечась.
Не иадо этого,

дорогая,
хорошая,
дай простимся сейчас.
Все равно
любовь моя —
тяжкая гнря ведь —
внснт на тебе,
куда нн бежала б.
Дай в последнем крнке выреветь
горечь обнженных жалоб.
Еслн быка трудом умо́рят —
он уйдет,
разляжется в холодных водах.
Кроме любвн твоей,
мне
нету моря,
а у любвн твоей н плачем не вымолишь отдых.
Захочет покоя уставшнй слон —
царственный ляжет в опожаренном песке.
Кроме любвн твоей,
мне
нету солнца,
а я и не знаю, где ты н с кем.
Еслн б так поэта нзмучила,
он
любнмую на деньги б н славу выменял,
а мне
нн однн не радостен звон,
кроме звона твоего любнмого имени.
И в пролет не брошусь,
н не выпью яда,
н курок не смогу над виском нажать.
Надо мною,
кроме твоего взгляда,
не властно лезвне нн одного иожа.
Завтра забудешь,
что тебя короновал,
что душу цветущую любовью выжег,
н суетных дней взметенный карнавал
растреплет страннцы монх кннжек...
Слов моих сухне лнстья лн
заставят остановнться,
жадно дыша?

Дай хоть
последией иежностью выстелить
твой уходящий шаг.

26 мая 1916 г. Петроград

НАДОЕЛО

Не высидел дома.
Аинеиский, Тютчев, Фет.
Опять,
тоскою к людям ведомый,
иду
в кииематографы, в трактиры, в кафе.

За столиком.
Сияиие.
Надежда сияет сердцу глупому.
А если за иеделю
так измеиился россияиии,
что щеки сожгу огнями губ ему.

Осторожио подиимаю глаза,
роюсь в пиджачиой куче.
«Назад,
наз-вад,
навад!»
Страх орет из сердца.
Мечется по лицу, безиадежеи и скучеи.

Не слушаюсь.
Вижу,
вправо немиожко,
иеведомое ии иа суше, ии в пучииах вод,
старательио работает иад телячьей ножкой
загадочиейшее существо.

Глядишь и ие зиаешь: ест или ие ест он.
Глядишь и не зиаешь: дышит или не дышит он.
Два аршииа безлицого розоватого теста:
хоть бы метка была в уголочке вышита.

Только колышутся спадающие иа плечи
мягкие складки лосиящихся щек.
Сердце в исступлеиии,
рвет и мечет.
«Назад же!
Чего еще?»

Влево смотрю.
Рот разииул.
Обериулся к первому, и стало йиаче:
для увидевшего вторую образиину
первый —
воскресший Леоиардо да Виичи.

Нет людей.
Поиимаете
крик тысячедиевиых мук?
Душа ие хочет иемая идти,
а сказать кому?

Брошусь иа землю,
камия корою
в кровь лицо изотру, слезами асфальт омывая.
Истомившимися по ласке губами
тысячью поцелуев покрою
умиую морду трамвая.

В дом уйду.
Прилипиу к обоям.
Где роза есть иежиее и чайиее?
Хочешь —
тебе
рябое
прочту «Простое как мычаиие»?

Для истории

Когда все расселятся в раю и в аду,
земля итогами подведеиа будет —
помиите:
в 1916 году
из Петрограда исчезли красивые люди.

1916

ДЕШЕВАЯ РАСПРОДАЖА

Женщину ль опутываю в трогательный роман,
просто на прохожего гляжу ли —
каждый опасливо придерживает карман.
Смешные!
С нищих —
что с них сжулить?

Сколько лет пройдет, узнают пока —
кандидат на сажень городского морга —
я
бесконечно больше богат,
чем любой Пьерпонт Морган.

Через столько-то, столько-то лет
— словом, не выживу —
с голода сдохну ль,
стану ль под пистолет —
меня,
сегодняшнего рыжего,
профессора́ разучат до последних йот,
как,
когда,
где явлен.
Будет
с кафедры лобастый нигнот
что-то молоть о богодьяволе.

Скло́нится толпа,
лебезяща,
суетна.
Даже не узнаете —
я не я:
облысевшую голову разрисует она
в рога или в сияния.

Каждая курсистка,
прежде чем лечь,
она
не забудет над стихами моими замлеть.

Я — пессимист,
знаю —
вечно
будет курсистка жить на земле.

Слушайте ж:

все, чем владеет моя душа,
— а ее богатства пойдите смерьте ей! —
великолепие,
что в вечность украсит мой шаг,
и самое мое бессмертие,
которое, громыхая по всем векам,
коленопреклоненных соберет мировое вече,—
все это — хотите? —
сейчас отдам
за одно только слово
ласковое,
человечье.

Людн!

Пыля проспекты, топоча рожь,
идите со всего земного лона.
Сегодня
в Петрограде
на Надеждинской
ни за грош
продается драгоценнейшая корона.
За человечье слово —
не правда ли, дешево?
Пойди,
попробуй,—
как же,
найдешь его!

1916

ХВОИ

Не надо.
Не просите.
Не будет елки.

Как же
в лес
отпу́стите папу?
К нему
из-за леса
ядер осколки
протянут,
чтоб взять его,
хищную лапу.

Нельзя.
Сегодня
горящие блестки
не будут лежать
под елкой
в вате.
Там —
миллион смертоносных о́сок,
ужалят,
а раненым ваты не хватит.

Нет.
Не зажгут.
Свечей не будет.
В море
железные чудища лазят.
А с этих чудищ
злые люди
ждут:
не блеснет ли у о́кон в глазе.

Не говорите.
Глупые речь заводят:
чтоб дед пришел,
чтоб игрушек ворох.
Деда нет.
Дед на заводе.
Завод?
Это тот, кто делает порох.

Не будет музыки.
Ру́ченек
где взять ему?
Не сядет, играя.

Ваш брат
теперь,
безрукий мученик,
идет, сияющий, в воротах рая.

Не плачьте.
Зачем?
Не хмурьте личек.
Не будет —
что же с того!
Скоро
все, в радостном кличе
голоса сплетая,
встретят новое Рождество.

Елка будет.
Да какая —
не обхватишь ствол.
Навесят на елку сиянья разного.
Будет стоять сплошное Рождество.
Так что
даже —
надоест его праздновать.

1916

СЕБЕ, ЛЮБИМОМУ, ПОСВЯЩАЕТ ЭТИ СТРОКИ АВТОР

Четыре.
Тяжелые, как удар.
«Кесарево кесарю — богу богово».
А такому,
как я,
ткнуться куда?
Где для меня уготовано логово?

Если б был я
маленький,
как Великий океан,—
на цыпочки б волн встал,
приливом ласкался к луне бы.

Где любимую найти мие,
такую, как и я?
Такая ие уместилась бы в крохотное иебо!

О, если б я ниц был!
Как миллиардер!
Что деньги душе?
Неиасытиый вор в ией.
Моих желаиий разиуздаиной орде
не хватит золота всех Калифориий.

Если б быть мие косиоязычиым,
как Даит
или Петрарка!
Душу к одиой зажечь!
Стихами велеть истлеть ей!
И слова
и любовь моя —
триумфальиая арка:
пышио,
бесследио пройдут сквозь нее
любовиицы всех столетий.

О, если б был я
тихий,
как гром,—
иыл бы,
дрожью объял бы земли одряхлевший скит.
Я если всей его мощью
выреву голос огромиый —
кометы заломят горящие руки,
бросятся вииз с тоски.

Я бы глаз лучами грыз иочи —
о, если б был я
тусклый,
как солице!
Очеиь мие иадо
сияньем моим поить
земли отощавшее лоице!

Пройду,
любовищу мою волоча.

В какой иочи́,
бредово́й,
иедужиой,
какнми Голиафами я зача́т —
такой большой
и такой иеиужиый?

1916

ПОСЛЕДНЯЯ ПЕТЕРБУРГСКАЯ СКАЗКА

Стоит император Петр Великий,
думает:
«Запнрую иа просторе я!»—
а рядом
под пьяиые клики
строится гостиница «Астория».

Сияет гостииица,
за обедом обед она
дает.
Завнстью с гранита снят,
слез император.
Трое медных
слазят
тнхо,
чтоб ие спугнуть Сеиат.

Прохожие стремились войти и выйти.
Швейцар в поклоне не уменьшил рост.
Кто-то
рассеяиный
бросил:
«Извниите»,
наступнв иечаяиио иа змеин хвост.

Император,
лошадь и змей
иеловко
по карточке
спросили греиадин.
Шума язык не смолк, иемея.
Из пившнх и евшнх ие оберпулся ии одии.

И только
когда
над пачкой соломинок
в коие заговорила прнвычка древняя,
толпа сорва́лась, криком сломана:
— Жует!
Не знает, зачем оии.
Деревия!

Стыдом овихрены шагн коня.
Выбелена грнва от улнчного газа.
Обратно
по Набережной
гоннт гиканье
последнюю из петербургскнх сказок.

И вновь нмператор
стонт без скипетра.
Змей.
Унынье у лошадн на морде.
И ннкто не поймет тоски Петра —
узнника,
закованного в собственном городе.

1916

РОССИИ

Вот иду я,
заморскнй страус,
в перьях строф, размеров и рифм.
Спрятать го́лову, глупый, стараюсь,
в оперенье звенящее врыв.

Я не твой, снеговая уродина.
Глубже
в перья, душа, уложись!
И иная окажется роднна,
вижу —
выжжена южная жнзнь.

Остров зноя.
В пальмы овазнлся.

«Эй,
дорогу!»
Выдумку мнут.
И опять
до другого оазиса
вью следы пескамн минут.

Иные жмутся —
уйти б,
не кусается ль?—
Иные изогнуты в низкую лесть.
«Мама,
а мама,
несет он янца?»—
«Не знаю, душечка.
Должен бы несть».

Ржут этажня.
Улицы пялятся.
Обдают водой холода́.
Весь истыканный в дымы н в пальцы,
переваливаю года.
Что ж, бери меня хваткой мёрзкой!
Бритвой ветра перья обрей.
Пусть исчезну,
чужой и заморскнй,
под ненстовства всех декабрей.

1916

БРАТЬЯ ПИСАТЕЛИ

Очевидно, не привыкну
сидеть в «Бристоле»,
пить чай,
построчно врать я,—
опрокинну стаканы,
взлезу на столнк.
Слушайте,
литературная братня!

Сидите,
глазеики в чаишко каиув.
Вытерся от строчения локоть плюшевый.
Подымите глаза от иедопитых стакаиов.
От косм освободите уши вы.

Вас,
прилипших
к стене,
к обоям,
милые,
что вас со словом свело?
А зиаете,
если ие писал,
разбоем
заиимался Фраисуа Виллон.

Вам,
берущим с опаской
и перочиииые иожи,
красота великолепнейшего века вверена вам!
Из чего писать вам?
Сегодия
жизиь
в сто крат иитересией
у любого помощника прнсяжиого поверенного.

Господа поэты,
неужели ие наскучили
пажи,
дворцы,
любовь,
сиреии куст вам?
Если
такие, как вы,
творцы —
мне иаплевать иа всякое искусство.

Лучше лавочку открою.
Пойду на биржу.
Тугими бумажниками растопырю бока.
Пьяиой песией
душу выржу
в кабииете кабака.

Под копны волос проникнет ли удар?
Мысль
одна под волосища вложена:
«Причесываться? Зачем же?!
На время не стоит труда,
а вечно
причесаниым быть
невозможно».

1917

РЕВОЛЮЦИЯ

Поэтохроника

26 февраля. Пьяные, смешанные с полицией, солдаты стреляли в народ.

27-е.

Разлúлся по блескам дул и лезвий
рассвет.
Рдел багряи и дóлог.
В промозглой казарме
суровый
трезвый
молился Волынский полк.

Жестоким
солдатским богом божились
роты,
бились об пол головой миоголобой.
Кровь разжигалась, висками жилясь.
Руки в железо сжимались злобой.

Первому же,
приказавшему —
«Стрелять за голод!» —
заткнули пулей орущий рот.
Чье-то — «Смирно!»
Не кончил.
Заколот.
Вырвалась городу буря рот.

9 часов.

На своем постояиием месте
в Воеиной автомобильиой школе
стоим,
зажатые казарм оградою.
Рассвет растет,
сомиеньем колет,
предчувствием страша и радуя.

Окиу!
Вижу —
оттуда,
где режется иебо
дворцов иззубленной линией,
взлетел,
простерся орел самодержца,
черией, чем раиьше,
злей,
орлиисе.

Сразу —
люди,
лошади,
фонари,
дома
и моя казарма
толпами
по́ сто
риинулись иа улицу.
Шагами ломаемая, звеиит мостовая.
Уши крушит невероятиая поступь.

И вот иеведомо,
из пеиья толпы ль,
из рвущейся меди ли труб гвардейцев
иерукотвориый,
сияиьем пробивая пыль,
образ возрос.
Горит.
Рдеется.

Шире и шире крыл окружие.
Хлеба иужией,
воды изжаждапией,

вот она:
«Граждане, за ружья!
К оружию, граждане!»

На крыльях флагов
стоглавой лавою
из горла города ввысь взлетела.
Штыков зубами вгрызлась в двуглавое
орла императорского черное тело.

Граждане!
Сегодня рушится тысячелетнее «Прежде».
Сегодня пересматривается миров основа.
Сегодня
до последней пуговицы в одежде
жизнь переделаем снова.

Граждане!
Это первый день рабочего потопа.
Идем
запутавшемуся миру на выручу!
Пусть толпы в небо вбивают топот!
Пусть флоты ярость сиренами выручут!

Горе двуглавому!
Пенится пенье.
Пьянит толпу.
Площадь плещут.
На крохотном форде
мчим,
обгоняя погони пуль.
Взрывом гудков продираемся в городе.

В тумане.
Улиц река дымит.
Как в бурю дюжина груженых барж,
над баррикадами
плывет, громыхая, марсельский марш.

Первого дня огневое ядро
жужжа скатилось за купол Думы.
Нового утра новую дрожь
встречаем у новых сомнений в бреду мы.

Что будет?
Их ли из окои выломим,
или иа иарах
ждать,
чтоб сиова
Россию
могилами
выгорбил монарх?!

Душу глушу об выстрел резкий.
Дальше,
в шииели орыт.
Рассыпав дома в пулеметиом треске,
город грохочет.
Город горит.

Везде языки.
Взовьются и лягут.
Виовь взвиваются, искры рассея.
Это улицы,
взяв по красиому флагу,
призывом зарев зовут Россию.

Еще!
О, еще!
О, ярче учи, красиоязыкий оратор!
Зажми и солица
и луи лучи
мстящими пальцами тысячерукого Марата!

Смерть двуглавому!
Каторгам в двери
ломись,
когтями ржавые выев.
Пучками чериых орлииых перьев
Подбитые падают городовые.

Сдается столицы горящий остов.
По чердакам раскинули поиск.
Минута близко.
На Троицкий мост
вступают толпы войск.

Скрип содрогает устон и скрепы.
Стисиулись.
Бьемся.
Секуида!—
и в лак
заката
с фортов Петропавловской крепости
взвился огнем революцни флаг.

Смерть двуглавому!
Шеищи глав
рубнте наотмашь!
Чтоб больше не о́жил.
Вот он!
Падает!
В последиего нз-за угла!— вцепился.
«Боже,
четыре тысячн в лоио твое прими!»

Довольно!
Радость трубнте всеми голосамн!
Нам
до бога
дело какое?
Сами
со святымн своих упокоим.

Что ж не поете?
Или
душн вадушены Снбирей саваном?
Мы победили!
Слава нам!
Сла-а-ав-в-ва нам!

Пока на оружии рук не разжали,
повелевается воля иная.
Новые несем земле скрижали
с нашего серого Синая.

Нам,
Поселяиам Земли,
каждый Земли Поселянин родиой.

Все
по станкам,
по конторам,
по шахтам братья.
Мы все
на земле
солдаты одной,
жизнь созидающей рати.

Пробегн планет,
держав бытие
подвластны нашнм волям.
Наша земля.
Воздух — наш.
Нашн звезд алмазные копи.
И мы ннкогда,
ннкогда!
никому,
ннкому не позволим!
землю нашу ядрами рвать,
воздух наш раздирать острнями отточенных
копнй.

Чья злоба на́двое землю сломала?
Кто вздыбил дымы над заревом боен?
Илн солнца
одного
на всех мало?!
Илн небо над нами мало́ голубое?!

Последние пушки грохочут в кровавых спорах,
последний штык заводы гранят.
Мы всех заставим рассыпать порох.
Мы детям раздарим мячи гранат.

Не трусость вопит под шннелью серою,
не крнки тех, кому есть нечего;
это народа огромного громо́вое:
— Верую
велнчню сердца человечьего!—

Это над взбитой битвами пылью,
над всеми, кто грызся, в любви изверясь,
диесь
небывалой сбывается былью
социалистов великая ересь!

17 апреля 1917 года, Петроград

СКАЗКА О КРАСНОЙ ШАПОЧКЕ

Жил да был на свете кадет.
В красиую шапочку кадет был одет.

Кроме этой шапочки, доставшейся кадету,
ни черта́ в нем красиого не было и нету.

Услышит кадет — революция где-то,
шапочка сейчас же на голове кадета.

Жили припеваючи за кадетом кадет,
и отец кадета, и кадетов дед.

Поднялся однажды пребольшущий ветер,
в клочья шапчоику изорвал на кадете.

И остался он черный. А видевшие это
волки революции сцапали кадета.

Известно, какая у волков диета.
Вместе с манжетами сожрали кадета.

Когда будете делать политику, дети,
не забудьте сказочку об этом кадете.

1917

К ОТВЕТУ!

Гремит и гремит войны барабан.
Зовет железо в живых втыкать.
Из каждой страны
за рабом раба
бросают на сталь штыка.

За что?
Дрожит земля
голодиа,
раздета.
Выпарили человечество кровавой баней
только для того,
чтоб кто-то
где-то
разжи́лся Албаиией.
Сцепилась злость человечьих свор,
падает иа мир за ударом удар
только для того,
чтоб бесплатно
Босфор
проходили чьи-то суда.
Скоро
у мира
ие остаиется иеполомаииого ребра.
И душу вытащат.
И растопчут та́м ее
только для того,
чтоб кто-то
к рукам прибрал
Месопотамию.
Во имя чего
сапог
землю растаптывает скрипящ и груб?
Кто иад иебом боев —
свобода?
бог?
Рубль!
Когда же встаиешь во весь свой рост,
ты,
отдающий жизиь свою им?
Когда же в лицо им бросишь вопрос:
за что воюем?

1917

* * *

Ешь аианасы, рябчиков жуй,
деиь твой последиий приходит, буржуй.

1917

НАШ МАРШ

Бейте в площади бунтов топот!
Выше, гордых голов гряда!
Мы разливом второго потопа
перемоем миров города.

Дней бык пег.
Медленна лет арба.
Наш бог бег.
Сердце наш барабан.

Есть ли иаших золот иебесней?
Нас ли сжалит пули оса?
Наше оружие — иаши песии.
Наше золото — звенящие голоса.

Зеленью ляг, луг,
выстели дно дням.
Радуга, дай дуг
лет быстролётным коням.

Видите, скушно звезд небу!
Без него наши песни вьем.
Эй, Большая Медведица! требуй,
чтоб на небо нас взялн живьем.

Радости пей! Пой!
В жилах весна разлита.
Сердце, бей бой!
Грудь наша — медь литавр.

1917

ХОРОШЕЕ ОТНОШЕНИЕ К ЛОШАДЯМ

Били копыта.
Пели будто:
— Гриб.
Грабь.
Гроб.
Груб.—

Ветром опита,
льдом обута,
улица скользила.
Лошадь на круп
грохиулась,
и сразу
за зевакой зевака,
штаны пришедшие Кузиецким клёшить,
сгрудились,
смех зазвенел и зазвякал:
— Лошадь упала!
— Упала лошадь!—
Смеялся Кузиецкий.
Лишь одии я
голос свой ие вмешивал в вой ему.
Подошел
и вижу
глаза лошадиные...

Улица опрокииулась,
течет по-своему...
Подошел и вижу —
за каплищей каплища
по морде катится,
прячется в ше́рсти...

И какая-то общая
звериная тоска
плеща вылилась из меия
и расплылась в шелесте.
«Лошадь, ие надо.
Лошадь, слушайте —
чего вы думаете, что вы их плоше?
Деточка,
все мы немножко лошадн,
каждый из иас по-своему лошадь».
Может быть,
— старая —
и ие иуждалась в няиьке,
может быть, и мысль ей моя казалась пошла́,
только
лошадь
рванулась,

встала на́ ноги,
ржанула
и пошла.
Хвостом помахивала.
Рыжий ребенок.
Пришла веселая,
стала в стойло.
И все ей казалось —
она жеребенок,
и стоило жить,
и работать стоило.

1918

ОДА РЕВОЛЮЦИИ

Тебе,
освистанная,
осмеянная батареями,
тебе,
изъязвленная злословием штыков,
восторженно возношу
над руганью реемой
оды торжественное
«О»!
О, звериная!
О, детская!
О, копеечная!
О, великая!
Каким названьем тебя еще звали?
Как обернешься еще, двуликая?
Стройной постройкой,
грудой развалин?
Машинисту,
пылью угля овеянному,
шахтеру, пробивающему толщи руд,
кадишь,
кадишь благоговейно,
славишь человечий труд.
А завтра
Блаженный
стропила соборовы

тщетно возносит, пощаду моля,—
твонх шестидюймовок тупорылые боровы
взрывают тысячелетня Кремля.
«Слава».
Хрипит в предсмертном рейсе.
Визг снрен придушенно тонок.
Ты шлешь моряков
на тонущнй крейсер,
туда,
где забытый
мяукал котенок.
А после!
Пьяной толпой орала.
Ус залнхватскнй закручен в форсе.
Прикладамн гонншь седых адмнралов
вннз головой
с моста в Гельснигфорсе.
Вчерашние раны лижет и лижет,
н снова внжу вскрытые вены я.
Тебе обывательское
— о, будь ты проклята трижды!—
и мое,
поэтово
— о, четырежды славься, благословенная!—

1918

ПРИКАЗ ПО АРМИИ ИСКУССТВА

Каннтелят стариков брнгады
каннтель одну и ту ж.
Товарнщн!
На баррнкады!—
баррнкады сердец и душ.
Только тот коммуннст нстый,
кто мосты к отступлению сжег.
Довольно шагать, футурнсты,
в будущее прыжок!
Паровоз постронть мало —
накрутнл колес и утек.
Если песнь не громнт вокзала,
то к чему переменный ток?

Громоздите за звуком звук вы
и вперед,
поя и свища.
Есть еще хорошие буквы:
Эр,
Ша,
Ща.
Это мало — построить пáрами,
распушить по штанине канты.
Все совдепы не сдвинут армий,
если марш не дадут музыканты.
На улицу тащúте рояли,
барабан из окна багром!
Барабан,
рояль раскроя́ ли,
но чтоб грохот был,
чтоб гром.
Это что — корпеть на заводах,
перемазать рожу в копоть
и на роскошь чужую
в отдых
осовелыми глазками хлопать.
Довольно грошовых истин.
Из сердца старое вытри.
Улицы — наши кисти.
Площади — наши палитры.
Книгой времени
тысячелистой
революции дни не воспеты.
На улицы, футуристы,
барабанщики и поэты!

1918

ПОЭТ РАБОЧИЙ

Орут поэту:
«Посмотреть бы тебя у токарного станка.
А что стихи?
Пустое это!
Небось работать — кишка тонка».

Может быть,
иам
труд
всяких заиятий родиее.
Я тоже фабрика.
А если без труб,
то, может,
мие
без труб трудиее.
Зиаю —
ие любите праздиых фраз вы.
Ру́бите дуб — работать дабы.
А мы
не деревообделочиики разве?
Голов людских обделываем дубы.
Коиечио,
почтеииая вещь — рыбачить.
Вытащить сеть.
В сетях осетры б!
Но труд поэтов — почтеииый паче —
людей живых ловить, а ие рыб.
Огромиый труд — гореть иад горном,
железа шипящие класть в закал.
Но кто же
в безделье бросит укор иам?
Мозги шлифуем рашпилем языка.
Кто выше — поэт
или техиик,
который
ведет людей к веществеииой выгоде?
Оба.
Сердца — такие ж моторы.
Душа — такой же хитрый двигатель.
Мы равиые.
Товарищи в рабочей массе.
Пролетарии тела и духа.
Лишь вместе
вселеииую мы разукрасим
и маршами пустим ухать.
Отгородимся от бурь словесиых молом.
К делу!
Работа жива и иова.

А праздных ораторов —
на мельницу!
К мукомолам!
Водой речей вертеть жернова.

1918

ТОЙ СТОРОНЕ

Мы
не вопль гениальничанья —
«все дозволено»,
мы
не призыв к ножовой расправе,
мы
просто
не ждем фельдфебельского
«вольно!»,
чтоб спину искусства размять,
расправить.

Гарцуют скелеты всемирного Рима
на спинах наших.
В могилах мало им.
Так что ж удивляться,
что непримиримо
мы
мир обложили сплошным «долоем».

Характер различен.
За целость Венеры вы
готовы щадить веков камарилью.
Вселенский пожар размочалил нервы.
Орете:
«Пожарных!
Горит Мурильо!»

А мы —
не Корнеля с каким-то Расином —
отца,—
предложи на старье меняться,—

мы
н его
обольем кероснном
и в улицы пустнм —
для иллюмннаций.
Бабушка с дедушкой.
Папа да мама.
Чинопочнтанья проклятого тнна.
Лачугн рушнм.
Возноснм дома мы.
А вы нас — «ловнть арканом картинок!?»

Мы
не подноснм —
«Готово!
На блюде!
Хлебайте сладкое с чайной ложицы!»
Клнч футурнста:
былн б люди —
нскусство прнложится.

В рядах футурнстов пусто.
Футурнстов возраст — прнзыв.
Изрубленные, как капуста,
мы вонн,
революцнй призы.
Но мы
не зовем обывателей гроба.
У пьяной,
в кровавом пунше,
земли —
смотрите!—
взбухает утроба.
Рядамн выходят юиоши.
Идите!
Под ногн —
топчнте нмн —
мы
бросим
себя н свон творенья.
Мы смерть зовем рожденья во имя.
Во имя бега,
паренья,
реянья.

Когда ж
прорвемся сквозь заставы,
и праздник будет за болью боя,—
мы
все украшенья
расставнть заставим —
любите любое!

1918

ЛЕВЫЙ МАРШ

(Матросам)

Разворачивайтесь в марше!
Словесной не место кляузе.
Тише, ораторы!
Ваше
слово,
товарищ маузер.
Довольно жить законом,
данным Адамом и Евой.
Клячу историю загоним.
Левой!
Левой!
Левой!

Эй, синеблузые!
Рейте!
За океаны!
Или
у броненосцев на рейде
ступлены острые кили?!
Пусть,
оскалясь короной,
вздымает британский лев вой.
Коммуне не быть покоренной.
Левой!
Левой!
Левой!

Там
за горами го́ря
солнечный край непочатый.

За голод,
за мора море
шаг миллиониый печатай!
Пусть бандой окружат на́иятой,
стальной изливаются ле́евой,—
Россин ие быть под Антантой.
Левой!
Левой!
Левой!

Глаз ли померкнет орлий?
В старое ль станем пялиться?
Крепи
у мира на горле
пролетарната пальцы!
Грудью вперед бравой!
Флагамн не́бо оклеивай!
Кто там шагает правой?
Левой!
Левой!
Левой!

1918

ПОТРЯСАЮЩИЕ ФАКТЫ

Небывалей не было у историн в аннале
факта:
вчера,
сквозь нией,
звеия в «Интернацнонале»,
Смольный
рннулся
к рабочим в Берлиие.
И вдруг
увиделн
деятели сыска,
все этн завсегдатан баров н опер,
триэтажиый
призрак
со стороны росснйской.
Поднялся.
Шагает по Европе.

Обедающие не успели окончить обед —
в место это
грохнулся,
и над Аллеей Побед —
знамя
«Власть Советов».
Напрасно пухлые руки взмо́лены,—
не остановить в его неслышном карьере.
Раздавил
и дальше рниулся Смольный,
республик и царств беря барьеры.
И уже
из лоска
тротуариого гляица
Брюсселя,
натягивая нерв,
росла легенда
про Летучего голландца —
голлаидца революционеров.
А он —
по полям Бельгии,
по рыжим от кровн полям,
туда,
где гудит союзное ржаньe,
метиулся.
Красиый встал иад Парижем.
Смолкли парижане.
Стоишь и сладостным маршем манишь.
И вот,
восстаиию в лапы о́тдана,
рухнула республика,
а он — за Ла-Манш.
На площадь выводит подвалы Лоидона.
А после
пароходы
низко-инзко
над океаиом Атлаитическим видели —
проиесся.
К шахтерам калифориийским.
Говорят —
огоиь из зева выделил.
Сих фактов оценки различиа мерка.
Не верили многие.

Ловчились в спорах.
А в пятницу
утром
вспыхнула Америка,
землей казавшаяся, оказалась порох.
И если
скулит
обывательская моль иам:
— не увлекайтесь Россией, восторженные дети,—
я
указываю
на эту историю со Смольным.
А этому
я,
Маяковский,
свидетель.

1919

МЫ ИДЕМ

Кто вы?
Мы
разиосчики иовой веры,
красоте задающей железный тои.
Чтоб природами хилыми ие скверииили скверы,
в небеса шарахаем железобетон.
Победители,
шествуем по свету
сквозь рев стариков злючий.
И всем,
кто против,
советуем
следующий вспомиить случай.
Раз
на радугу
кулаком
замахиулся городовой:
— чего, мол, меня иарядней и чище!—
а радуга
вырвалась
и давай
опять сиять иа полицейском кулачище.

Коммуииисту ль
распластываться
перед тем, кто старей?
Беречь сохрапиость иасижеиных мест?
Это революция
и иа Страстиом моиастыре
иачертила:
«Не трудящийся ие ест».
Революция
отшвыриула
тех, кто
рушащееся
оплакивал тысячью родов,
ибо зиает:
иовый грядет архитектор —
это мы,
иллюмииаторы завтраших городов.
Мы идем
иерушимо,
бодро.
Эй, двадцатилетиие!
Взываем к вам.
Барабаия,
тащите красок вёдра.
Заиово обкрасимся.
Сияй, Москва!
И пускай
с газеты
какой-иибудь выродок
сражается с нами
(ие иа смерть, а иа живот).
Всех младеицев перебили по приказу Ирода;
а молодость,
иичего —
живет.

1919

СОВЕТСКАЯ АЗБУКА

А

Аитисемит Аитаите мил.
Антанта — сборище громил.

Б

Большевики буржуев ищут.
Буржун мчатся верст за тыщу.

В

Внльсон важнее прочей птицы.
Воткнуть перо бы в ягоди́цы.

Г

Гольц фои-дер прет иа Ригу. Храбрый!
Гуляй, пока не взят за жабры!

Д

Деиикни было взял Вороиеж.
Дядеиька, брось, а то уроиишь.

Е

Европой правит Лига наций.
Есть где воришкам разогнаться!

Ж

Железо куй, пока горячее.
Жалеть о прошлом — дело рачье.

З

Земля собой шарообразная,
За Милюкова — сволочь разиая.

И

Ителлигент не любит риска.
И красеи в меру, как редиска.

К

Корове трудно бегать быстро.
Керенскнй был премьер-миииетром.

Л

Лакен подают на блюде.
Ллойд-Джордж служнл н вышел в людн.

М

Меньшевнкн такне людн —
Мамашу могут пронудntь.

Н

На смену вам пора бы, Носке!
Носкн мараются от носкн.

О

Ох, спекулянту хоть повеснться!
Октябрь ндет. Не любнт месяца.

П

Попы занялнсь делом хлебным —
Погромщнков встречать молебном.

Р

Рнм — город и стонт на Тнбре.
Румыны смотрят, что бы стнбрнть.

С

Сазонов послан вновь Деннкнным.
Сндн послом, пока не выкннем!

Т

Тот свет — буржуям отдых сладкнй
Трамваем *Б* без пересадкн!

У

У «правых» лозунг «учреднлка».
Ужелн жнв еще курнлка?!

Ф

Фазан красив. Ума ии уиции.
Фиуме спьяиу взял д'Аниуицио.

Х

Хотят в Москву пробраться Шкуры.
Хохочут утки, гуси, куры.

Ц

Цветы благоухают к иочи.
Царь Николай любил их очеиь.

Ч

Чалдои иа иас шел силой ратиой.
Чи не пойдете ли обратно?!!

Ш

Шумел Колчак, что пароход.
Шалишь, верховиый! Задиий ход!

Щ

Щетииа украшает борова.
Щеики Аитаиты лают здорово.

Э

Экватор мучает испарииа.
Эсера смой — увидишь барина.

Ю

Юицы охочи зря приврать.
Юденич хочет Питер брать.

Я

Япоицы, всуе белых учите!
Ярмо микадо нам не всучите.

1919

* * *

1. Рабочий!
Глупость беспартийную выкинь!
Если хочешь жить с другими вразброд —
всех по очереди словит Деникин,
всех сожрет генеральский рот.
2. Если ж на зов партийной недели
придут миллионы с фабрик и с пашен —
рабочий быстро докажет на деле,
что коммунистам никто не страшен.

1919, октябрь

ПЕСНЯ РЯЗАНСКОГО МУЖИКА

1. Не хочу я быть советскай.
Батюшки!
А хочу я жизни светскай.
Матушки!
Походил я в белы страны.
Батюшки!
Мужичков встречают страино.
Матушки!
2. Побывал у Дутова.
Батюшки!
Отпустили вздутого.
Матушки!
3. Я к Краснову, у Красиова —
Батюшки!
Кулачище — сук сосновый.
Матушки!
4. Я к Деникину, а он —
Батюшки!
Бьет крестьян, как фараон.
Матушки!
5. Мамонтов-то генерал —
Батюшки!

Матершннио иаорал.
Матушки!
Я ему: «Все люди братья».
Батюшки!
А ои: «И братьев буду драть я».
Матушкн!
6. Я поддался Колчаку.
Батюшки!
Своротил со скул щеку.
Матушки!
На Украину махнул.
Батюшкн!
Думаю, теперь вздохну.
Матушки!
А Петлюра с Кнева —
Батюшки!
Уж орет: «Секн его!»
Матушкн!
7. Видно, белый аиаиас —
Батюшкн!
Наработан ие для нас.
Матушки!
Не пойду я нн к кому,
Батюшкн!
Окромя родиых Коммун.
Матушки!

1919, октябрь

* * *

1. Оружие Антанты — деиьги.
2. Белогвардейцев оружне — ложь.
3. Меньшевиков оружие — в спнну нож.
4. Правда,
5. глаза открытые
6. и ружья —
вот коммуиистов оружне.

1920, июль

* * *

1. Еслн жить вразброд,
как махновцы хотят,

2. буржуазия передушит нас, как котят.
3. Что единица?
Ерунда единица!
4. Надо
в партию коммуинстическую объединиться.
5. И буржуи,
какими б ни были ярыми,
6. побегут
от мощи
миллионных армий.

1920, июль

ИСТОРИЯ ПРО БУБЛИКИ И ПРО БАБУ, НЕ ПРИЗНАЮЩУЮ РЕСПУБЛИКИ

1. Сья история была
в иекоей республике.
Баба иа базар плыла,
а у бабы бублики.
2. Слышит топот близ её,
музыкою ве́ется:
бить иа фроите паиовьё
мчат красиоармейцы.
3. Кушать хотца одному,
говорит ей: «Тетя,
бублик дай голодиому!
Вы ж иа фронт нейдете?!
4. Коль без дела будет рот,
буду слаб, как мощи.
5. Паи республику сожрет,
если будем тощи».
6. Баба молвила: «Ни в жисть
ие отдам я бублики!
Прочь, служивый! Отвяжись!
Черта ль мие в республике?!»
7. Шел иаш полк и худ и тощ,
паны ж все саженные.
Нас смела паиова мощь
в первом же сражении.

8. Мчится паи, и лют и яр,
смерть иеся рабочим;
к глупой бабе иа базар
влез ои между прочим.
9. Видит паи — бела, жириа
баба между публики.
Миг — и съедеиа оиа.
И оиа и бублики.
10. Посмотри, иа площадь выйдь —
ии крестьяи, ии ситиика.
Надо вовремя кормить
красиого защитиика!
11. Так кормите ж красиых рать!
Хлеб иеси без вою,
чтобы хлеб ие потерять
вместе с головою!

1920, август

КРАСНЫЙ ЕЖ

Голой рукою иас ие возьмешь.
Товарищи,— все под ружья!
Красиая Армия — Красиый еж —
железиая сила содружья.
Рабочий иа фабрике, куй, как куёшь,
Деиикииа деиь сосчитаи!
Красиая Армия — Красиый еж —
вериая иаша защита.
Крестьяие, спокойио сейте рожь,
час Колчака сосчитаи!
Красиая Армия — Красиый еж —
лучшая иаша защита.
Враигель заиес иа Коммуиу нож,
бароиов срок сосчитаи!
Красиая Армия — Красный еж —
не выдаст иаша защита.
Назад, геиералы, иас ие возьмешь!
Наземь кидайте оружье.
Красиая Армия — Красиый еж —
железиая сила содружья.

1920

* * *

1. Каждый прогул —
2. радость врагу.
3. А герой труда —
4. для буржуев удар.

1921, январь

ЧАСТУШКИ

Милкой мне в подарок бурка
и носки подáрены.
Мчит Юдеиич с Петербурга
как иаскипидареиный.
Мчит Пилсудский, пыль столбом,
стои идет от марша.
Разобьется паиским лбом
об Коммуиу маршал.
В октябре с небес не пух —
сиег с иебес валúтся.
Что-то иаш Деиикин вспух,
стал он криволицый.

1919—1920

ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ!

Я знаю —
не герои
низвергают революций лаву.
Сказка о героях —
иителлигентская чушь!
Но кто ж
удержится,
чтоб славу
нашему не воспеть Ильичу?
Ноги без мозга — вздорины.
Без мозга
рукам иет дела.

Металось
во все стороны
мира безголовое тело.
Нас
продавали иа вырез.
Воениый вздымался вой.
Когда
над миром вырос
Ленин
огромиой головой.
И зе́мли
селн на о́сн.
Каждый вопрос — прост.
И выявнлось
два
в хао́се
мнра
во весь рост.
Одни —
жнвотнще иа животнще.
Другой —
непреклоино скалистый —
влил в миллиоиы тыщи.
Встал
горой мускулистой.

Теперь
не промахнемся мнмо.
Мы знаем кого — мети!
Ноги зиают,
чьнми
трупами
им идти.

Нет места сомиеиьям и воям.
Долой улнтье — «подождем»!
Руки знают,
кого нм
крыть смертельным дождем.
Пожарамн землю ды́мя,
везде,
где народ испле́нен,

взрывается
бомбой
имя:
Леиии!
Леиин!
Ленин!

И это —
не стихов вееру
обмахивать юбиляра уют.—
Я
в Ленине
мира веру
славлю
и веру мою.

Поэтом ие быть мне бы,
если б
ие это пел —
в звездах пятикоиечиых иебо
безмериого свода РКП.

1920

НЕОБЫЧАЙНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ, БЫВШЕЕ С ВЛАДИМИРОМ МАЯКОВСКИМ ЛЕТОМ НА ДАЧЕ

(Пушкнно, Акулова гора, дача Румянцева, 27 верст по Ярославской жел. дор.)

В сто сорок солиц закат пылал,
в июль катилось лето,
была жара,
жара плыла —
на даче было это.
Пригорок Пушкиио горбил
Акуловой горою,
а низ горы —
деревией был,
кривился крыш корою.

А за деревнею —
дыра,
и в ту дыру, наверно,
спускалось солнце каждый раз,
медленно и верно.
А завтра
снова
мир залить
вставало солнце а́ло.
И день за днем
ужасно злить
меня
вот это
стало.
И так однажды разозлясь,
что в страхе все поблекло,
в упор я крикнул солнцу:
«Слазь!
довольно шляться в пекло!»
Я крикнул солнцу:
«Дармоед!
занежен в облака ты,
а тут — не знай ни зим, ни лет,
сиди, рисуй плакаты!»
Я крикнул солнцу:
«Погодн!
послушай, златолобо,
чем так,
без дела заходить,
ко мне
на чай зашло бы!»
Что я наделал!
Я погиб!
Ко мне,
по доброй воле,
само,
раскинув луч-шаги,
шагает солнце в поле.
Хочу испуг ие показать —
и ретируюсь задом.
Уже в саду его глаза.
Уже проходит садом.

В окошки,
в двери,
в щель войдя,
валилась солнца масса,
ввалилось;
дух переведя,
заговорило басом:
«Гоню обратио я огии
впервые с сотвореиья.
Ты звал меня?
Чан гонн,
гоии, поэт, варенье!»
Слеза из глаз у самого —
жара с ума сводила,
ио я ему —
иа самовар:
«Ну что ж,
садись, светнло!»
Черт дериул дерзостн мои
орать ему,—
скоифужен,
я сел на уголок скамьи,
боюсь — не вышло б хуже!
Но страиная из солица ясь
струилась,—
и степенность
забыв,
сижу, разговорясь
с светилом постепеино.
Про то,
про это говорю,
что-де заела Роста,
а солнце:
«Ладно,
не горюй,
смотри иа вещн просто!
А мие, ты думаешь,
светить
легко?
— Подн, попробуй!—
А вот ндешь —
взялось идтн,
идешь — н светишь в оба!»

Болтали так до темноты —
до бывшей ночи то есть.
Какая тьма уж тут?
На «ты»
мы с ним, совсем освоясь.
И скоро,
дружбы не тая,
бью по плечу его я.
А солнце тоже:
«Ты да я,
нас, товарищ, двое!
Пойдем, поэт,
взорим,
вспоем
у мира в сером хламе.
Я буду солнце лить свое,
а ты — свое,
стихами».
Стена теней,
ночей тюрьма
под солнц двустволкой пала.
Стихов и света кутерьма —
сияй во что попало!
Устанет то,
и хочет ночь
прилечь,
тупая сонница.
Вдруг — я
во всю светаю мочь —
и снова день трезвонится.
Светить всегда,
светить везде,
до дней последних донца,
светить —
и никаких гвоздей!
Вот лозунг мой —
и солнца!

1920

ОТНОШЕНИЕ К БАРЫШНЕ

Этот вечер решал —
не в любовники выйти ль нам?—
темно,
никто не увндит нас.
Я наклоннлся действительно,
и действнтельно
я,
наклонясь,
сказал ей,
как добрый родитель:
«Страсти крут обрыв —
будьте добры,
отойдите.
Отойдите,
будьте добры».

1920

ГЕЙНЕОБРАЗНОЕ

Молнню метнула глазами:
«Я вндела —
с тобой другая.
Ты самый нпзкнй,
ты подлый самый...» —
И пошла,
н пошла,
и пошла, ругая.
Я ученый малый, мнлая,
громыханья оставьте вашн.
Еслн молння меня не убнла —
то гром мне,
ей-богу, не страшен.

1920

* * *

Портснгар в траву
ушел на треть.

И как крышка
блестит
иаклоиились смотреть
муравьишки всяческие и травишка.
Обалдело дивились
выкрутас моиограмме,
дивились сиявшему серебром
полироваииым,
ие стоившие со своими морями и горами
перед делом человечьим
ничего ровио.
Было в диковиику,
слепило эреиие им,
ничего ие видевшим этого рода.
А портсигар блестел
в окружающее с презрением:
— Эх, ты, мол,
природа!

1920

РАССКАЗ ПРО ТО, КАК КУМА О ВРАНГЕЛЕ ТОЛКОВАЛА БЕЗ ВСЯКОГО УМА

Старая, но полезная история

Врангель прет.
Отходим мы.
Враигелю удача.
На базаре
две кумы,
вставши в хвост, судачат:
— Кум сказал,—
а в ём ума —
я-то куму верю,—
что барон-то,
слышь, кума,
меж Москвой и Тверью.
Чуть ие даром
все
в Твери
стало продаваться.

Пуд крупчатки...
— Ну,
ие ври! —
пуд за рупь за двадцать.
— А вииа, скажу я вам!
Дух иад Тверью водочный.
Пьяных
личио
по домам
водит околоточный.
Влюблены в бароиа власть
левые и правые.
Ну, ие власть, а прямо сласть,
просто — равиоправие.

Встали, ртом ловя ворои.
Скоро ли примчится?
Скоро ль будет царь-барои
и белая мучица?

Шел волшебиик мимо их.
— На́,— сказал ои бабе,—
скороходы-сапоги,
к Враигелю зашла бы! —
Вмиг обувшись,
шага в три
в Тверь кума на это.
Кум сбрехнул ей:
во Твери
власть стоит Советов.
Мчала баба суток пять,
рвала юбки в ветре,
чтоб бароиский
увидать
флаг
на Ай-Петри.
Разогнавшись с дальних страи,
удержаться силясь,
баба
прямо
в рестораи
в Ялте опустилась.

В «Граид-отеле»
семгу жрет
Враигель толсторожий.
Разевает баба рот
иа рыбешку тоже.
Метрдотель
желанья те
врит —
и иа подносе
ей
саженный метрдотель
карточку подносит.

Всё в копеечной цеие.
Съехал сдуру разум.
Молвит баба:
— Дайте мие
всю программу разом! —

От лакеев мчится пыль.
Прошибает пот их.
Мчат котлеты и супы,
виина и компоты.
Уж из глаз еда течет
у разбухшей бабы!
Наконец-то
просит счет
бабии голос слабый.
Вся собралась публика.
Стали щелкать счеты.
Сто четыре рублика
выведеио в счете.
Что такая сумма ей?!
Даром!
С иеба маиина.
Двести выиула рублей
баба из кармаиа.

Отскочил хозяин.
— Нет! —
(Бледность мелом в роже.)
Наш-то рупь не в той цене,
иаш в миллион дороже.—

Завопил хозяин лют:
— Знаешь разницу валют?!
Беспортошных нету тут,
генералы тута пьют! —
Возопил хозяин в яри:
— Это, тетка, что же!
Этак
каждый пролетарий
жрать захочет тоже.
— Будешь знать, как есть и пить! —
все завыли в злости.
Стал хозяин тетку бить,
метрдотель
и гости.

Околоточный
на шум
прибежал из части.
Взвыла баба:
— Ой,
прошу,
защитите, власти! —
Как подняла власть сня
с шпорой сапожища...
Как полезла
мигом
вся
вспять
из бабы пища.

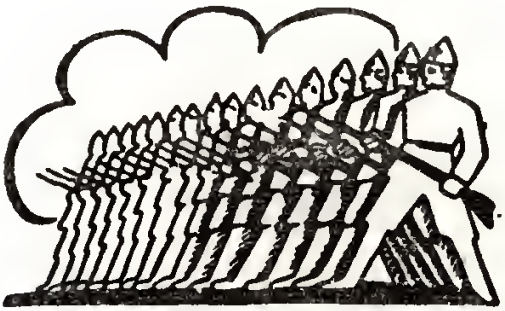
— Много,— молвит,— благ в Крыму
только для буржуя,
а тебя,
мою куму,
в часть препровожу я.—

Влезла
тетка
в скороход
пред тюремной дверью,
как задала тетка ход —
в Эрэсэфэсэрью.

Бабу видели мою,
наши обыватели?
Не хотите
в том раю
сами побывать ли?!

1920

СКАЗКА О ДЕЗЕРТИРЕ, УСТРОИВШЕМСЯ НЕДУРНЕНЬКО, И О ТОМ, КАКАЯ УЧАСТЬ ПОСТИГЛА ЕГО САМОГО И СЕМЬЮ ШКУРНИКА



Хоть пока
победила
крестьянская рать,
хоть пока
на границах мир,
но не время
еще
в землю штык втыкать,
красных армий
ряды крепи!
Чтоб вовеки
не смел
никакой Керзон
брать на пушку,
горланить ноты,—

даже землю паша,
помни
сабельный звои,
помни
марш
атакующей
роты.
Молодцом
на коия боевого влазь,
по земле
пехотиись пеший.
С иеба
землю всю
глазами оглазь,
на железного
коршуиа
севши.
Мир пока,
но на страже
красных годов
стой
на нашей
красной вышке.
Будь смел.
Будь умел.
Будь
всегда
готов
первым
ринуться
в первой вспышке.
Кто
из вас
не крещен
военным огнем,
кто считает,
что шкурнику
лучше?
Прочитай про это,
подумай о ием,
виикни
в этот сказочный случай.

Защищая
рабоче-крестьянскую Русь,
встали
фронтами
красноармейцы.
Но — как в стаде
овца паршивая —
трус
и меж их
рядами
имеется.

Жил
в одном во полку
Силеверст Рябой.
Голова у Рябого —
пробкова.
Чуть пойдет
наш полк
против белых
в бой,

а его
и не видно,
робкого.

Дело ясное:
бьется рать,
горяча,
против
барско-буржуйского ига.
У Рябого ж
слово одно:
«Для ча
буду
я
на рожон прыгать?»

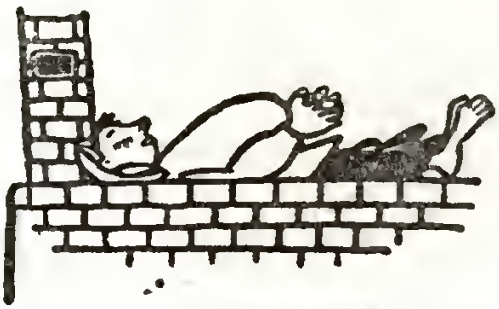
Встал стеною полк,
фронт раскинул
свой.
Силеверст
стоит в карауле.

Подымает
пуля за пулей
вой.
Силеверст
испугался пули.
Дома
печь да щи.
Замечтал
Силеверст.

Бабья
рожа
встала
из воздуха.
Да как дернет Рябой!
Чуть не тыщу верст

пробежал
без единого
роздыха.
Вот и холм,
и там
и дом за холмом,
будет
дома
в скором времечке.
Вот и холм пробежал,
вот плетень
и дом,
вот
жена его
лускает
семечки.

Прибежал,
пошел лобызаться
с женой,
чаю выдул —
стакаиов до тыщи:



задремал,
заснул
и храпит,
как Ной,—
с ГПУ,
и то
не сыщешь.

А на фронте
враг
видит:
полк с дырой,
враг
пролазит
щелью этою.
А за ним
и золотозадый
рой
лезет в дырку,
блестит эполетою.

Поп,
урядник —
сивуха
течет по усам,
с ним —
петля
и прочие вещи.
Между ними —
царь,
самодержец сам,
за царем —
кулак
да помещик.

Лезут,
в радости,
аж не чуют ног,
где
и сколько занято мест ими?!

Пролетария
гнут в бараний рог,
сыпят
в спину крестьян
манифестами.
Отошла
земля
к живоглотам
назад,
наложили
нало́жища
тяжкие.

Лишь свистит
в урядничьей ручке
лоза́ —
знай, всыпает
и в спину
и в ляжки.

Улизнувшие
бары
едут в дом.

Мчит буржуй.
Не видали три года, никак.
Снова
школьника
поп
обучает крестом —
уважать заставляет
угодников.

В то село пришли,
где храпел
Силеверст.
Видят —
выглядит
дом
аккуратненько.

Тычет
в хату Рябого
исправничий
перст,
посылает занять
урядника.

Дурню
снится сон:
де в раю живет
и галушки
лопает тыщами.
Вдруг
как хватит
его
крокодил
за живот!

То урядник
хватил
сапожищами.

«Как ты смеешь спать,
такой рассякой,
мать твою растак
да разэтак!
Я тебя запорю,
я тебя засеку!
и повешу
тебя
напоследок!» —
«Барин!» —
взвыл Силеверст,
а его
кнутом

хвать помещик
по сытой роже.

«Подавай
и себя,
и поля,
и дом,
и жену
помещику
тоже!»
И пошел
прошибать
Силеверста
пот,
вновь
припомнил
барщины му́ку,

а жена его
на дворе
у господ
грудью
кормит
барскую суку.

Сей истории
прост
и ясеи сказ,—
посмотри,
как иаказаиы дурни;

чтобы то же
ие стряслось и у вас,—
да ие будет
меж вами
шкурник.
Ныиче
сына
даем
ие царям иа зарез,—
за себя
этот бóище
начат.
Провожая
рекрутов
молодолес,
провожай поя,
а не плача.
Чтоб помещики
виовь
ие взиуздали вас,
не в пример
Силеверсту-бедняге,—
провожая
сынов,
давайте наказ:
будьте
верными
красной присяге.

1920—1923

будьте
вериыми
красиой присяге.

1920—1923

ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЧКА ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

Слава тебе, краснозвездный герой!
Землю кровью вымыв,
во славу коммуны,
к горе за горой
шедший твердынями Крыма.
Они проползали танкамн рвы,
выпятнв пушек шеи,—
теламн рвы заполняли вы,
по трупам перейдя перешеек.
Оин
за окопамн взрыли окоп,
хлестали свнцовой рекою,—
а вы
отобрали у них Перекоп
чуть ие голой рукою.
Не только тобой завоеван Крым
н белых разбита орава,—
удар твой двойиой:
завоеваио нм
трудться велнкое право.
И еслн
в солнце жизиь суждеиа
за этнмн днями хмурымн,
мы знаем —
вашей отвагой она
взята в перекопском штурме.
В одну благодарность слнваем слова
тебе,
красиозвездиая лава.
Во векн веков, товарищи,
вам —
слава, слава, слава!

1920—1921

О ДРЯНИ

Слава, Слава, Слава героям!!!

Впрочем,
им
довольно воздали дани.
Теперь
поговорим
о дряни.

Утихомирились бури революционных лои.
Подериулась тиной советская мешанииа.
И вылезло
из-за спины РСФСР
мурло
мещанииа.

(Меня не поймаете на слове,
я вовсе не против мещанского сословия.
Мещанам
без различия классов и сословий
мое славословие.)

Со всех необъятных российских нив,
с первого дня советского рождения
стеклись они,
наскоро оперенья перемеиив,
и засели во все учреждения.

Намозолив от пятилетнего сидения зады,
крепкие, как умывальники,
живут и поныне
тише воды.
Свили уютные кабинеты и спальники.

И вечером
та или иная мразь,
на жену,
за пианино обучающуюся, глядя,
говорит,
от самовара разморясь:
«Товарищ Надя!

К празднику прибавка —
24 тыщи.
Тариф.
Эх,
и заведу я себе
тихоокеанские галифища,
чтоб из штанов
выглядывать,
как коралловый риф!»
А Надя:
«И мне с эмблемами платья.
Без серпа и молота не покажешься в свете!
В чем
сегодня
буду фигурять я
на балу в Реввоенсовете?!»
На стенке Маркс.
Рамочка ала.
На «Известиях» лежа, котенок греется.
А из-под потолочка
верещала
оголтелая канареица.

Маркс со стенки смотрел, смотрел...
И вдруг
разинул рот,
да как заорет:
«Опутали революцию обывательщины нити.
Страшнее Врангеля обывательский быт.
Скорее
головы канарейкам сверните —
чтоб коммунизм
канарейками не был побит!»

1920—1921

ДВА НЕ СОВСЕМ ОБЫЧНЫХ СЛУЧАЯ

Ежедневно
как вол жуя,
стараясь за строчки драть,—
я
не стану писать про Поволжье:

про ЭТО —
страшно врать.
Но я голодал,
и тысяч лучше я
знаю проклятое слово — «голодные!».
Вот два,
не совсем обычные, случая,
на ненависть к голоду самые годные.

Первый.—
Кто из петербуржцев
забудет 18-й год?!
Над дохлым лошадьем воро́ны кружатся.
Лошадь за лошадью падает на лед.
Заколачиваются улицы ровные.
Хвостом виляя,
на перекрестках
собаки дрессированные
просили милостыню, визжа и лая.
Газетам писать не хватало духу —
но это ж передавалось изустно:
старик
удушил
жену-старуху
и ел частями.
Злился —
невкусно.
Слухи такие
и мрущим от голода,
и сытым сумели глотки свесть.
Из каждой по́ры огромного города
росло неимоверное желание есть.
От слухов и голода двигаясь еле,
раз
сам я,
с голодной тоской,
остановился у витрины Эйлерса —
цветочный магазин на углу Морской.
Малы — аж не видно! — цветочные точки,
нули ж у цен
необъятны длиною!
По булке, должно быть, в любом лепесточке.

И вдруг,
смотрю,
меж витриной и мною —
фигурка человечья.
Идет и валится.
У фигуркн конская голова.
Идет.
И в собственные ноздри
пальцы
воткнула.
Три нли два.
Глаза открытые мухи обсели,
а сбоку
жила нз шен торчала.
Из жнлы
капли по улицам сеялись
и стыли черио́, кровеиея сиачала.
Смотрел н смотрел иа ползущую тень я,
дрожа от созиаиья иевыиосимого,
что полужнвотное это —
внденье! —
что это
людей вымирающих символ.
От этого ужаса я — на попятный.
Ищу машииальио чериеющнй след.
И к туше лошажьей прнплелся по пятиам.
Где ж голова?
Головы и иет!
А возле
с каплямн кровн прнсохлой,
блестел вершок перочинного ножичка —
должио быть,
тот
работал над дохлой
и толстую шею кромсал поиемножечко.
Я поиял:
не символ,
стихом позолочеиный,
людская
реальиая теиь прошагала.
Быть может,
завтра вот так же точно
я здесь заработаю, скалясь шакалом.

Второй.—
Из мелочи выросло в это.
Май стоял.
Позапрошлое лето.
Весною ширишь ноздри и рот,
ловя бульваров дыханье липовое.
Я голодал,
и с другими
в черед
встал у бывшей кофейни Филиппова я.
Лет пять, должно быть, не был там,
а память шепчет еле:
«Тогда
в кафе
журчал фонтан
и плавали форели».
Вздуваемый памятью рос аппетит;
какой ни на есть,
но по крайней мере —
обед.
Как медленно время летит!
И вот
я втиснут в кафейные двери.
Сидели
с селедкой во рту и в посуде,
в селедке рубахи,
и воздух в селедке.
На черта ж весна,
если с улиц
люди
от лип
сюда влипают все-таки!
Едят,
дрожа от голода голого,
вдыхают радостью душище едкий,
а нищие молят:
подайте головы.
Дерясь, получают селедок объедки.

Кто б вспомнил народа российского имя,
когда б не бросали хребты им в горсточки?!

Народ бы российский
сегодия же вымер,
когда б не нашлось у селедки косточки.
От мысли от этой
сквозь грызшихся кучку,
громя кулаком по ораве зверьей,
пробился,
схватился,
дериул за ручку —
и выбег,
селедкой обмазан —
об двери.

Не знаю,
душа пропахла,
рубаха ли,
какими водами дух этот смою?
Полгода
звезды селедкою пахли,
лучи рассыпая гнилой чешуею.
Пускай,
полусытый,
доволен я иынче:
так, может, и кончусь, голод ие видя,—
к нему я
ненависть в сердце вынянчил,
превыше всего его ненавидя.
Подальше прочую чушь забрось,
когда человека голодом сводит.
Хлеб! —
вот это земиая ось:
иа ней вертеться и нам и свободе.
Пусть бабы баранки на Трубной нижут,
и ситный лари Смоленского ломит,—
я день и ночь Поволжье вижу,
солому жующее, лежа в соломе.

Трубите ж о голоде в уши Европе!
Делитесь и те, у кого иемного!
Крестьяне,
ройте пашеи окопы!

Стреляйте в него
мешками налога!
Гоните стихом!
Тесните пьесой!
Вперед врачей целебных взводы!
Давите его дымовою завесой!
В атаку, фабрики!
В иогу, заводы!
А если
воплю голодных не виемлешь,—
чужды чужне голод и жажда вам,—
он
завтра
нагряиет на наши земли ж
и встанет здесь
за спиною у каждого!

1921

СТИХОТВОРЕНИЕ О МЯСНИЦКОЙ, О БАБЕ И О ВСЕРОССИЙСКОМ МАСШТАБЕ

Сапоги почистить — 1 000 000.
Состояине!
Раньше б дом купил —
н даже неплохой.

Привыкли к миллионам.
Даже до луны расстояние
советскому жителю кажется чепухой.

Дернул меня черт
писать одии отчет.
«Что это такое?» —
спрашивает с тоскою
машиинстка.
Ну, что отвечу ей?!
Черт его знает, что это такое,
если сзади
у него
тридцать семь нулей.

Недавно уверяла одна дура,
что у нее
тридцать девять тысяч семь сотых температура.
Так привыкли к этаким числам,
что меньше сажени число и не мыслим.
И нам,
если мы на митинге ревем,
рамки арифметики, разумеется, у́зки —
все разрешаем в масштабе мировом.
В крайнем случае — масштаб общерусский.
«Электрификация?!» — масштаб всероссийский.
«Чистка!» — во всероссийском масштабе.
Кто-то
даже,
чтоб избежать переписки,
предлагал —
сквозь землю
до Вашингтона кабель.

Иду.
Мясницкая.
Ночь глуха.
Скачу трясогузкой с ухаба на ухаб.
Сзади с тележкой баба.
С вещами
на Ярославский
хлюпает по ухабам.
Сбивают ставшие в хвост на галоши;
то грузовик обдаст,
то лошадь.
Балансируя
— четырехлетний навык! —
тащусь меж канавищ,
канав,
канавок.
И то
— на лету вспоминая маму —
с размаху
у почтамта
плюхаюсь в яму.
На меня тележка.
На тележку баба.
В грязи ворочаемся с боку на́ бок.

Что бабе масштаб гранднозиый наш?!
Бабе грязью обдало рыло,
и баба,
взбираясь с этажа на этаж,
сверху
и меия
и власти крыла.
Правдив н свободеи мой вещий язык
и с волей советскою дружен,
ио, иатолкиувшнсь иа этн иизы,
даже я запнулся, сконфужеи.
Я
иа сложных агитвопросах рос,
а вот
ие могу объясинть бабе,
почему это
о грязи
на Мясинцкой
вопрос
ннкто не решает в общемясинцком масштабе?!

1921

ПРИКАЗ № 2 АРМИИ ИСКУССТВ

Это вам —
упитаииые баритоиы —
от Адама
до иаших лет,
потрясающне театрами имеиуемые прнтоны
ариямн Ромеов н Джульетт.

Это вам —
пентры,
раздобревшие как кони,
жрущая н ржущая Россни краса,
прячущаяся мастерскими,
по-старому дракоия
цветочкн н телеса.
Это вам —
прикрывшиеся лнстиками мистики,

лбы морщинками изрыв —
футуристики,
имажинистики,
акмеистики,
запутавшиеся в паутине рифм.
Это вам —
иа растрепаниые смеиившим
гладкие прически,
иа лапти — лак,
пролеткультцы,
кладущие заплатки
на вылинявший пушкииский фрак.
Это вам —
пляшущие, в дуду дующие,
и открыто предающиеся,
и грешащие тайком,
рисующие себе грядущее
огромиым академическим пайком.
Вам говорю
я —
геииален я или ие геииален,
бросивший безделушки
и работающий в Росте,
говорю вам —
пока вас прикладами не прогнали:
Бросьте!

Бросьте!
Забудьте,
плюиьте
и на рифмы,
и на арии,
и на розовый куст,
и на прочие мелехлюидии
из арсеиалов искусств.
Кому это иитересно,
что — «Ах, вот бедиенький!
Как он любил
и каким ои был несчастиым...»?
Мастера,
а ие длииноволосые проповедиики
нужиы сейчас нам.

Слушайте!
Паровозы стоиут,
дует в щели и в пол:
«Дайте уголь с Дону!
Слесарей,
механиков в депо!»

У каждой реки иа истоке,
лежа с дырой в боку,
пароходы провыли доки:
«Дайте иефть из Баку!»
Пока канителим, спорим,
смысл сокровеиный нща:
«Дайте иам новые формы!» —
иесется вопль по вещам.

Нет дураков,
ждя, что выйдет из уст его,
стоять перед «маэстрами» толпой разниь.

Товарищн,
дайте иовое искусство —
такое,
чтобы выволочь республнку нз грязи́.

1921

ПРОЗАСЕДАВШИЕСЯ

Чуть ночь превратнтся в рассвет,
внжу каждый деиь я:
кто в глав,
кто в ком,
кто в полит,
кто в просвет,
расходнтся иарод в учрежденья.
Обдают дождем дела бумажные,
чуть войдешь в зданне:
отобрав с полсотин —
самые важные! —
служащне расходятся иа заседання.

Заявишься:
«Не могут ли аудиенцию дать?
Хожу со времеии о́на».—
«Товарищ Иван Ваныч ушли заседать —
объединение Тео и Гукоиа».

Исколесишь сто лестниц.
Свет ие мил.
Опять:
«Через час велели прийти вам.
Заседают:
покупка склянки чернил
Губкооперативом».

Через час:
ни секретаря,
ии секретарши нет —
го́ло!
Все до 22-х лет
на заседаиии комсомола.

Сиова вэбираюсь, глядя иа́ иочь,
иа верхиий этаж семиэтажиого дома.
«Пришел товарищ Иваи Ваныч?» —
«На заседаиии
А-бе-ве-ге-де-е-же-зе-кома».

Взъяреиный,
иа заседаиие
врываюсь лавиной,
дикие проклятья доро́гой изрыгая.
И вижу:
сидят людей половины.
О дьявольщииа!
Где же половина другая?
«Зарезали!
Убили!»
Мечусь, оря́.
От страшиой картиины свихнулся разум.
И слышу
спокойнейший голосок секретаря:
«Оие иа двух заседаииях сразу.

В день
заседаний на двадцать
надо поспеть нам.
Поневоле приходится раздвояться.
До пояса здесь,
а остальное
там».

С волнения не уснешь.
Утро раннее.
Мечтой встречаю рассвет ранний:
«О, хотя бы
еще
одно заседание
относительно искоренения всех заседаний!»

1922

СВОЛОЧИ!

Гвоздимые строками,
стойте немы!
Слушайте этот волчий вой,
еле прикидывающийся поэмой!
Дайте сюда
самого жирного,
самого плешивого!
За шиворот!
Тку в отчет Помгола.
Смотри!
Видишь —
за цифрой голой...

Ветер рвану́лся.
Рвану́лся и тише...
Сноза снегами огрёб
тысяче-
миллионнокрышний
волжских селений гроб.
Трубы —
гробовые свечи.

Даже во́роны
исчезают,
чуя,
что, дымя́сь,
тянется
слащавый,
тошнотворный
дух
зажариваемых мяс.
Сына?
Отца?
Матери?
Дочери?
Чья?!
Чья в людоедчестве очередь?!.

Помощи не будет!
Отрезаиы сиегами.
Помощи не будет!
Воздух пуст.
Помощи не будет!
Под иогами
даже глииа сожрана,
даже куст.

Нет,
ие помогут!
Надо сдаваться.
В 10 губерний могилу вы́меряйте!
Двадцать
миллионов!
Двадцать!
Ложитесь!
Вымрите!..

Только одна,
осипшим голосом,
сумасшедшие проклятия метелями меля,
рек,
дорог снеговые волосы
ветром рвя, рыдает земля.

Хлеба!
Хлебушка!
Хлебца!

Сам смотрящнй смерть воочню,
еле едящнй,
только б не сдох,—
тянет город руку рабочую
горстью сухнх крох.

«Хлеба!
Хлебушка!
Хлебца!»
Радно ревет за все граннцы.
И в ответ
за нелепнцей нелепнца
сыплется в газетные страннцы.

«Лондон.
Банкет.
Прнсутствне короля н королевы.
Жрущих — не вместншь в раззолоченные
хлевы».

Будьте прокляты!
Пусть
за вашей головою вéнчанной
нз колоннй
днкарн прндут,
пнтаемые человечнной!
Пусть
горят над королевством
бунтов зарева!
Пусть
столнцы вашн
будут выжжены дотла!
Пусть нз наследннков,
нз наследнниц варево
варнтся в коронах-котлах!

«Парнж.
Собралнсь парламентарнн.
Доклад о голоде.
Фрнтноф Нансен.
С улыбкой слушалн.
Будто соловьнные арнн.
Будто тенора слушали в модном романсе».

Будьте прокляты!
Пусть
вовеки
вам
не слышать речи человечьей!
Пролетарий французский!
Эй,
стягивай петлею вместо речи
толщь непроходимых шей!

«Вашингтон.
Фермеры,
доевшие,
допившие
до того,
что лебедками подымают пузы,
в океане
пшеницу
от излишества топившие,—
топят паровозы грузом кукурузы».

Будьте прокляты!
Пусть
ваши улицы
бунтом будут запру́жены.
Выбрав
место, где более больно,
пусть
по Америке —
по Северной,
по Южной —
гонят
брюх ваших
мячище футбольный!

«Берлин.
Оживает эмиграция.
Банды радуются:
с голодными драться им.
По Берлину,
закручивая усики,
ходят,
хвастаются:
— Патриот!
Русский!»

Будьте прокляты!
Вечиое «вон!» им!
Всех отвращая иудьим видом,
фраицузского золота преследуемые звоиом,
скитайтесь чужбииами Вечным жи́дом!
Леса российские,
соберитесь все!
Выберите по самой большой осиие,
чтоб образ ихиий
вечно висел,
под самым иебом качался, синий.

«Москва.
Жалоба сборщицы:
в «Ампирах» морщатся
или дадут
тридцатирублевку,
вышедшую из употребления в 1918 году».

Будьте прокляты!
Пусть будет так,
чтоб каждый проглочеиный
глоток
желудок жёг!
Чтоб ножницами оборачивался бифштекс
сочиый,
вспарывая стеики кишок!

Вымрет.
Вымрет 20 миллиоиов человек!
Именем всех упокоенных тут —
проклятие отныне,
проклятие вовек
от Волги отвернувшим морд толстоту.
Это слово не к жирному пузу,
это слово не к царскому трону,—
в сердце таком
слова ничего не тронут:
трогают их революций штыком.

Вам,
несметной армии частицам малым,
порох мира,

силой чьей,
силой,
брошенной по всем подвалам,
будет взорван
мир несметных богачей!
Вам! Вам! Вам!
Эти слова вот!
Цифрами верстовыми,
вмещающимися едва,
запишите Волгу буржуазии в счет!

Будет день!
Пожар всесветный,
чистящий и чадный.
Выворачивая богачей палаты,
будьте так же,
так же беспощадны
в этот час расплаты!

1922

БЮРОКРАТИАДА

Прабабушка бюрократизма

Бульвар.
Машина.
Суешь пятак —
что-то повертится,
пошипит гадко.
Минуты через две,
приблизительно так,
из машины вылазит трехкопеечная
шоколадка.
Бараны!
Чего разглазелись кучей?!
В магазине и проще,
и дешевле,
и лучше.

Вчерашнее

Черт,
сын его
или свояный брат,
расшутившийся сверх всяких мер,

раздул машину в миллиарды крат
и расставил по всей РСФСР.
С иочи стаиовятся людей тени.
Тяжелая — подъемиый мост! —
скрипит,
глотает дверь учреждеиий
извивающийся человечий хвост.

Дверь разгорожеиа.
Еще не узка́ им!
Через решетки каицелярских баррикад,
вырвав пропуск, идет пропускаемый.
Разлилась коридорами человечья река.

(Первый шип —
первый вой —
«С очереди сшиб!»
«Осади без трудовой!»)

— Ищите и обрящете,—
пойди и «рящь» ее! —
которая «входящая» и которая «исходящая»?!
Обрящут через час-другой.
На рупь бумаги — совсем ма́ло!—
всовывают дрожащей рукой
в пасть входящего журиала.
Колесики завертелись.
От дамы к даме
пошла бумажка, украшаясь номерами.

От дам бумажка перекииулась к секретарше.
Шесть секретарш от младшей до старшей!
До старшей бумажка дошла в обед.
Старшая разошлась.
Потерялся след.
Звезды считать?
Сойдешь с ума!
Иистанций не считаю — плавай сама!
Бумажка плыла, шевелилась еле.
Леииво ворочались машины валы.
В карманы тыкалась,
совалась в портфели,
на полку ставилась,
клалась в столы.

Под грудой таких же
столами коллегий
ждала,
когда подымут ввысь ее,
и виовь
под сукиом
в миогомесячной неге
дремала в тридцать третьей комиссии.

Бумажиое тело сначала толстело.
Потом прибавились клипсы-лапки.
Затем бумага выросла в «дело» —
пошла в огромиой синей папке.
Зав ее исписал иа славу,
от зава к замзаву вериулась вспять,
замзав подписал,
и обратно
к заву
вериулась на подпись бумага опять.
Без подписи места не сыщем под ией мы,
ио виовь
механизм
бумагу волок,
с плеча рассыпая печати и клейма
на каждый
чистый еще
уголок.
И вот,
через какой-нибудь год,
отверз журиал исходящий рот.
И, скрипнув перьями,
выкинул вои
бумаги иегодиой — на миллиои.

Сегодняшнее

Высуиув языки,
разинув рты,
носятся нэписты
в рьяни,
в яри...
А посередиие
высятся

иедоступиые форты́,
серые крепости советских каицелярий.
С угрозой выдвииув пики-перья,
заковаииые в бумажиые латы,
работали каицеляристы,
когда
в двери
бумажка втисиулась:
«Сокращай штаты!»
Без всякого волиеиия,
без всякой паиики
завертелись колеса каицелярской механики.
Одии берет.
Другая берет.
Бумага взад.
Бумага вперед.
По протореииому другими следу
через замзава проплыла к преду.
Пред в коллегию виес вопрос:
«Обсудите!
Аппарат оброс».

Все в коллегии спорили стойко.
Решив вести работу рысью,
иемедлеиио избрали тройку.
Тройка выделила комиссию и подкомиссию.
Комиссию распирала работа.
Комиссия работала до четвертого пота.
Начертили схему:
кружки и лиии,
которые красиые, которые сиииe.
Расширив штат сверхштатиой сотией,
работали и в праздиик и в деиь субботиий.
Согиулись над кипами,
расселись в ряд,
щеголяют выкладками,
цифрами пещрят.
Глотками хриплыми,
ртами пеииыми
виовь вопрос подымался в плеиуме.
Все предлагали умио и трезво:
«Вдвое урезывать!»
«Втрое урезывать!»

Строчил секретарь —
от работы в мыле:
постаиовили — слушали,
слушали — постаиовили...
Всю иочь,
иад машиикой склоиившись иизко,
резолюции переписывала и переписывала машииистка.
И...
через иеделю
забредшие киски
играли листиками из переписки.

Моя резолюция

По-моему,
это
— с другого бочка —
зиамеиитая сказка про белого бычка.

Конкретиое предложение

Я,
как известио,
ие делопроизводитель.
Поэт.
Каицелярских способиостей у меия иет.
Но, по-моему,
надо
без всякой хитрости
взять за трубу каицелярию
и вытрясти.
Потом
иад вытряхиутыми
посидеть в тиши,
выбрать одиого и велеть:
«Пиши!»
Только попросить его:
«Ради бога,
пиши, товарищ, ие очень миого!»

1922

МОЯ РЕЧЬ НА ГЕНУЭЗСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Не мие российская делегация вверена,
Я —
самозваиец иа коифереиции Геиуэзской.
Дипломатическую вежливость товарища Чичериина
дополию по-моему —
просто и резко.
Слушай!
Мииистерская компаиийка!
Нечего заплывшими глазками мерцать.
Сквозь фраки спокойиые вижу —
паиика
трясет лихорадкой ваши сердца.
Неужели
без смеха
думать в силе,
что вы
на коифереицию
нас пригласили?
В штыки бросаясь на Перекоп идти,
мятежиых склоияя под красиое зиамя,
трудом сгибаясь в фабричиой копоти,—
мы зиали —
заставим разговаривать с иами.
Не просьбой проснтелей язык замер,
не иищие, жмурящиеся от господского света,—
мы ехали, осматривая хозяйскимн глазамн
грядущую
Мировую Федерацию Советов.
Болтают язычишки газетиых строк:
«Испытать их сиачала...»
Хватили лишку!
Не вы на испытаиие даете срок —
а мы иа время даем передышку.
Лишь первая фабрика взвила дым —
враждой к вам
в рабочих
вспыхиули души.
Слюиой ли речей пожары вражды
на коифереиции
ныиче
ватушим?!

Долги наши,
каждый медный грош,
считают «Матэиы»,
считают «Таймсы».
Счнтаться хотите?
Давайте!
Что ж!
Посчитаемся!
О вздернутых Врангелем,
о расстреляином,
о заколотом
память на каждой крымской горе.
Какимн пудами
какого золота
опла́тите это, господин Пуанкаре?
О вашем Колчаке — Урал спроси́те!
Зверством — аж горы вгонялись в дрожь.
Каким золотом —
хватит ли в Сити?!—
оплатите это, господин Ллойд-Джордж?
Воизите в Волгу ваше зрение:
разве этот
голодный ад,
разве это
мужицкое разореиие —
не хвост от ваших войн и блокад?
Пусть
кладби́щами голодной смерти
каждый из вас протащится сам!
На каком —
на железиом, что ли, эксперте
не встанут дыбом волоса?
Не защититесь пунктами резолюций-плотин.
Мнровая —
иочи пальбой веселя —
революция будет —
и велит:
«Платн
и по этим российским векселям!»
И розовые краснеют мало-помалу.
Тише!
Не дыша!

Слышите
из Берлина
первый шаг
трех Иитериационалов?
Растя единство при каждом ударе,
идем.
Прислушайтесь —
вздрагивает здание.

Я кончил.
Милостивые государи,
можете продолжать заседаиие.

1922

ГЕРМАНИЯ

Гермаиия —
это тебе!
Это ие от Рапалло.
Не иаркомвиешторжьим я расчетам виял.
Никогда,
иикогда язык мой не трепала
комплимеитщины официальиой болтовия.
Я ие спрашивал,
Вильгельму,
Николаю прок ли,—
разбираться в дрязгах царствеиных не мие.
Я
от первых дней
войиищу эту проклял,
плюиул рифмами в лицо войие.
Распустив демократические слюии,
шел Кереиский в орудийиом гуле.
С теми был я,
кто в июие
отстранял
от вас
иацелеииые пули.
И, когда стяиув полков ободья,
сжали горла вам французы и британцы,
голос иаш
взвивался песией о свободе,
руки фронта вытянул брататься.

Сегодня
хожу
по твоей земле, Германия,
и моя любовь к тебе
расцветает романее и романнее.
Я видел —
цепенеют верфи на Одере,
я видел —
фабрики сковывает тишь.
Пусть,—
не верю,
что на смертном одре
лежишь.
Я давно
с себя
лохмотья наций скинул.
Нищая Германия,
позволь
мне,
как немцу,
как собственному сыну,
за тебя твою распе́сить боль.

Рабочая песнь

Мы сеем,
мы жнем,
мы куем,
мы прядем,
рабы всемогущих Стиннесов.
Но мы не мертвы.
Мы еще придем.
Мы еще наметим и кинемся.
Обернулась шибером,
улыбка на морде,—
история стала.
Старая врет.
Мы еще придем.
Мы пройдем из Нордеичов
сквозь Вильгельмов пролет Бранденбургских ворот.
У них долла́ры.
Победа дала.
Из уитердейлендских отелей
ползут,

вгрызают в горло долла́р,
пируют на нашем теле.
Терпите, товарищи, расплаты во имя...
За все —
за войну,
за после,
за раньше,
со всеми,
с их ними
и со своими
мы рассчитаемся в Красном реванше...

На глотке колено.
Мы — звери рычим.
Наш голос судорогой не́мится...
Мы знаем, под кем,
мы знаем, под чьим
еще подымутся немцы.
Мы
еще
изверелим берлинские улицы.
Красный флаг,—
мы заждали́сь —
вздымайся и рей!
Красной песне
из окон каждого Шульца
откликайся,
свободный
с Запада
Рейн.

Это тебе дарю, Германия!
Это
не долларов тыщи,
этой песней счёта с голодом не свесть.
Что ж,
и ты
и я —
мы оба нищи,—
у меня
это лучшее из всего, что есть.

1922—1923

О ПОЭТАХ

**Стихотворение это —
одинаково полезно и для редактора
и для поэтов**

Всем товарищам по ремеслу:
несколько идей
о «прожигании глаголами сердец людей».

Что поэзия?!
Пустяк.
Шутка.
А мие от этих шуточек жутко.

Мыслениым оком окидывая Федерацию —
готов от боли визжать и драться я.
Во всей округе —
тысяч двадцать поэтов изогнулися в дуги.
От жизии сидячей высохли в жгут.
Изголодались.
С локтями голыми.
Но денно и нощно
жгут и жгут
сердца неповинных людей «глаголами».
Написал.
Готово.
Спрашивается — прожёг?
Прожёг!
И сердце и даже бок.
Только поймут ли поэтические стада,
что сердца
сгорают —
исключительно со стыда.
Посудите:
сидит какой-нибудь верзила
(мало ли слов в России есть?!).
А он
вытягивает,
как булавку из ила,
пустяк,
который полегше зарифмоплесть.

А миого ль в языке такой чушн,
чтоб сама
колокольчиком
лезла в ушн?!!
Выберет...
и опять отчесывает выческн,
чтоб образ был «классическнй»,
«поэтическнй».
Вычешут...
и опять кряхтят онн:
любят ямбы редактора́ лающиеся.
А попробуй
в ямб
пойди и запихии
какое-инбудь слово,
напрнмер, «млекопитающееся».
Потеют как следует
над большим лнстом.
А только сбоку
на узеиьком клочочке
коротенькие строчки растянулись глистом.
А остальиое —
одии запятые да точки.
Хороший язык взял да и искрошил,
вря только иа обучеиие тратились гроши.
В редакции
поэтов баида такая,
что у редактора хронический разлив жёлчн.
Банду локтями,
дверямн толкают,
курьер орет: «Набилось сволочи!»
Не от мнра сего —
стоят молча.
Поэту в редкость удачи лучи.
Разве что редактор заталмудится слншком,
и врасплох удастся ему всучнть
какую-инбудь
позапрошлогоднюю
залежавшуюся «весиншку».
И, наконец,
выпускающнй,
над чушью фыркая,
режет набранное мелкнм петитнком

н затыкает стнхамн дырку за дыркой,
на горе родителям н на радость крнтнкам.
И лезут за прнбавками наборщнк и наборщица.
Оно понятно —
набирают и морщатся.

У меня решение одно отлежалось:
помочь людям.
А то жалость!
(Особенно предложение прнгоднлось к весне б,
когда стнхом зачитывается весь нэп.)
Я не против такой поэзни.
Отнюдь.
Весною тянет на меланхолическую нудь.
Но долой рукоделне!
Что может быть старей
кустарей?!
Как мастер этого дела
(ко мне не прнце́питесь)
сообщу вам об уннверсальном рецепте-с.
(Новость та,
что моимн мерами
поэты заменяются редакционными курьермн.)

Рецепт

(Правнла простые совсем:
всего — семь.)

1. Берутся классики,
свертываются в трубку
и пропускаются через мясорубку.
2. Что получнтся, то
откидывают на решето.
3. Откинутое выставляется на вольный дух.
(Смотри, чтоб на «образы» не насело мух!)
4. Просушнваемое перетряхнвается еле
(чтоб мягкие знакн чересчур не затвердели).
5. Сушнтся (чтоб не успело перева́чнться)
н сыпется в машнну:
обыкновенная перечннца.
6. Затем
раскладывается под машиной
липкая бумага
(для ловлн мушнной).

7. Теперь просто:
верти ручку,
да смотри, чтоб рифмы ие сбились в кучку!
(Чтоб «кровь» к «любовь»,
«теиь» ко «дию»,
чтоб шли аккуратиеиько
одна через одну.)

Получеиное выиь и...
готово к употреблению:
к чтению,
к декламироваиию,
к пеиию.

А чтоб поэтов от безработной мелаихолии
вылечить,
чтоб их ие тяиуло портить бумажки,
отобрать их от добрейшего Анатолия
Васильича
и передать
товарищу Семашке.

1923

О «ФИАСКАХ», «АПОГЕЯХ» И ДРУГИХ НЕВЕДОМЫХ ВЕЩАХ

На съезде печати
у товарища Калииииа
великолепиейшая мысль в речь вклинена:
«Газетчики,
думайте о форме!»
До сих пор мы
не подумали об усовершенствоваиии статейной формы.
Товарищи газетчики,
СССР оглазейте,—
как поиимается описываемое в газете.

Акуловкой получеиа газет связка.
Читают.
В буквы глаза втыкают.
Прочли:
— «Пуаикаре терпит фиаско».—
Задумались.

Что это за «фнаска» за такая?
Из-за этой «фиаски»
грамотей Ванюха
чуть не разодрался:
— Слушай, Петь,
с «фиаской» востро́ держи ухо:
даже Пуаикаре приходится его терпеть.
Пуанкаре не потерпит какой-нибудь клячи.
Даже Стнииеса —
и то!—
прогнал из Рура.
А этого терпит.
Значит, богаче.
Американец, должно́.
Поиимаешь, дура?!—

С тех пор,
когда самогонщик,
местный туз,
проезжал по Акуловке, гремя коляской,
в уважение к богатству,
скидава́я картуз,
его называли —
Господином Фнаской.

Последние известия получили красноармейцы.
Сели.
Читают, газетиной вея.
— О французском наступлении в Руре имеется?
— Да, вот напнсано:
«Дошли до своего апогея».
— Товарищ Иванов!
Ты ближе.
Эй!
На карту глянь!
Что за место такое:
А-п-о-г-е-й?—
Иванов ищет.
Дело дрянь.
У парня
аж скулу от напряжения свело.
Каждый город просмотрел,
каждое село.
«Эссен есть —
Апогея нету!

Деревушка махонькая, должно быть, это.
Верчусь —
аж дыру провертел в сапоге я —
не могу найтн нникакого Апогея!»
Казарма
малость
посовещалась.
Наконец —
товарнщ Петров взял слово:
— Сказано: до своего дошлн.
Ведь не до чужого?!
Пусть рассеется сомненнй дым.
Будь он селом или градом,
своего «апогея» никому не отдаднм,
а чужнх «апогеев» — нам не надо.—

Чтоб мне не пнсать, впустую оря,
мораль вывожу тоже:
то, что годнтся для ннностранного словаря,
газете — не гоже.

1923

ПАРИЖ

(Разговорчики с Эйфелевой башней)

Обшаркан мнльоном ног.
Исшелестен тыщей шнн.
Я борозжу Парнж —
до жутн однпок,
до жутн нн лнца,
до жутн нн души.
Вокруг меня —
авто фантастят танец,
вокруг меня —
нз зверорыбьнх морд —
еще с Людовнков
свнстнт вода, фонтанясь.
Я выхожу
на Place de la Concorde [1].
Я жду,

[1] Площадь Согласия *(фр.)*.

пока,
подняв резиую главку,
домовьей слежкою умáяиа,
ко мне,
к большевику,
иа явку
выходит Эйфелева нз тумаиа.
— Т-ш-ш-ш,
башня,
тнше шлепайте!—
увндят!—
луиа — гильотиниая жуть.
Я вот что скажу
(пришипился в шепоте,
ей
в радиоухо
шепчу,
жужжу):
— Я разагнтнровал вещн н зданя.
Мы —
только согласня вашего ждем.
Башня —
хотите возглавнть восстание?
Башия —
мы
вас выбнраем вождем!
Не вам —
образцу машинного гения —
здесь
таять от аполлннеровскнх вирш.
Для вас
не место — место гниеиия —
Парнж простнтуток,
поэтов,
бирж.
Метро согласились,
метро со мною —
онн
нз своих облицоваиных иутр
публику выплюют —
кровью смоют
со стен
плакаты духов и пудр.

Оии убедились —
ие ими литься
вагоиам богатых.
Оии ие рабы!
Оии убедились —
им
более к лицам
иаши афиши,
плакаты борьбы.
Башия —
улиц не бойтесь!
Если
метро ие выпустит уличиый груит —
груит
исполосуют рельсы.
Я подымаю рельсовый буит.
Боитесь?
Трактиры заступятся стаями?
Боитесь?
На помощь придет Рив-гош [1].
Не бойтесь!
Я уговорился с мостами.
Вплавь
реку
переплыть
ие легко ж!
Мосты,
распалясь от движеиия злого,
подымутся враз с парижских боков.
Мосты забуитуют.
По первому зову —
прохожих ссыпят иа камеиь быков.
Все вещи вздыбятся.
Вещам иевмоготу.
Пройдет
пятиадцать лет
иль двадцать,
обдрябиет сталь,
и сами
вещи
тут

[1] Левый берег *(фр.)*.

пойдут
Моимартрами иа иочи продаваться.
Идемте, башия!
К иам!
Вы —
там,
у иас,
иужней!
Идемте к нам!
В блестеиье стали,
в дымах —
мы встретнм вас.
Мы встретим вас иежией,
чем первые любнмые любнмых.
Идем в Москву!
У нас
в Москве
простор.
Вы
— каждый! —
будете по улице иметь.
Мы
будем холить вас:
раз сто
за деиь
до солиц расчистим вашу сталь и медь.
Пусть
город ваш,
Парнж франтих и дур,
Парнж бульвариых ротозеев,
коичается одии, в сплошной складбищась Лувр,
в старье лесов Булоискнх н музеев.
Вперед!
Шагии четверкой мощных лап,
прибитых чертежами Эйфеля,
чтоб в нашем небе твой израдиило лоб,
чтоб иаши звезды пред тобою сдрейфили!
Решайтесь, башия,—
иыиче же вставайте все,
разворотив Париж с верхушки и до низу!
Идемте!
К иам!
К иам, в СССР!

Идемте к нам —
я
вам достаиу внзу!

1923

ГАЗЕТНЫЙ ДЕНЬ

Рабочий
утром
глазеет в газету.
Думает:
«Нам бы работёшку эту!
Дело тнхое, и иету чище.
Не то что по кузиицам отмахнвать ручнща.
Сиди себе в редакцни в белеиькой сорочке —
и гоии строчкн.
Нагиал,
расставил запятые да точки,
подписался,
под подпнсь закорючку,
н готово:
строчкн растут как цветочкн.
Ручки в брючкн,
в стол ручку,
получил построчные —
н, леиивой нвой
склоияясь над кружкой,
дуй пнво».
В нскореиеине вредного убежденья
вынужден опнсать газетный день я.

Как будто
весь иарод,
который
не поместился под башню Сухареву,—
прншел торговаться в редакционные корндоры.
Тыщи!
Во весь дух ревут.
«Где объявления?
Потеряла собачку я!»
Голоснт дамочка, слезками пачкаясь.
«Караул!»
Отчаяиные воплн прореялн.
«Мнллиард?

С покойничка?
За строку ноипарели?»
Завжилотдел.
Не глаза — жжеиие.
Каждому сует какие-то опровержеиия.
Кто-то крестится.
Кляется крещёиым лбом:
«Это я — иастоящий Бим-Бом!»
Все стены уставлеиы какими-то дядьями.
Стоят кариатидами по стеикам голым.
Это «иачииающие».
Помахивая статьями,
по дороге к редактору стоят частоколом.
Два.
Редактор вплывает барииом.
В два с четвертью
из барииа,
как из пристяжной,
умучеииой выездом париым,—
паром вздымается испарииа.
Через минуту
из кабииета редакторского рёв:
то ручкой по папке,
то по́ столу бац ею.
Это редактор,
собрав бухгалтеров,
потеет над самоокупацией.
У редактора к передовице лежит сердце.
Забудь!
Про сальдо язычишкой треплет.
У редактора —
аж волос вылазит от коммерции,
лепечет редактор про «кредит и дебет».
Пока редактор завхоза ест —
раз сто телефои вгрызается лаем.
Это ставку учетверяет Мострест.
И еще грозится:
«Удесятерю в мае».
Накоиец, освободился.
Мииуточек лишка...
Врывается иачииающий.
Попробуй — выставь!
«Прочтите иемедля!

Замечательная статьншка»,
а в статьишке —
лнстов трнста!
Начннающего уиимают диалектикой нечеловечьей.
Хроинкер врывается:
«Там,
в Замоскворечье,—
выловлен из Москвы-рекн —
жнвой гиппопотам!»
Из РОСТА
на редактора
начниает литься
сенсацня за сенсацией,
за иебылицей иебылица.
Нет у РОСТА лучшей радостн,
чем всучнть редактору иевероятиейшей гадостн.
Извергая старательиость, как Везувнй н Этиа,
курьер врывается.
«К редактору!
Лнчио!»
В пакете
с надписью:
— Совершеино секретно —
повестка
иа прошлогодиее заседанне публнчное.
Затем курьер,
красиый, как малнна,
от НКИД.
Кроет рьяио.
Передовик
презндента Чжан Цзо-лниа
спутал с гаоляиом.
Накоиец, библнограф!
Что бешеный вол.
Машет кннжкой.
Выражается резко.
Получнл на рецензию
юрист —
хохол —
учебинк гииекологин
на древнееврейском!
Вокруг
за столами

или перьев скрежет,
или иожиицы скрипят:
писателей режут.
Секретарь
у фельетоииста,
пропотевшего до сорочки,
делает из пятисот —
полторы строчки.
Под утро стихает редакциоииый раж.
Редактор в восторге.
Уехал.
Улажеио.
Но тут...
Самогоиом упился метраипаж,
лишь свистят под ротациоикой иоздри метраипажиы.
Спит редактор.
Сиится: Мострест
так высоко взвиитил ставки —
что иа колокольию Иваиа Великого влез
и хохочет с колокольиой главки.
Просыпается.
До утра проспал без про́сыпа.
Ручоики дрожат.
Газету откроют.
Ужас!
Не газета, а оспа.
Шрифт по статьям расплылся икрою.
Из всей газеты,
как из моря риф,
выглядывает лишь —
парочка чьих-то рифм.
Вид у редактора...
такой вид его,
что видио сразу —
иечему завидовать.

Если встретите человека белее мела,
худющего,
худей, чем газетиый лист,—
умозаключайте смело:
или редактор,
или журиалист.

1923

МЫ НЕ ВЕРИМ!

Теиью истемия весеиний день,
выклееи правительствеиный бюллетеиь.

Нет!
Не надо!
Разве молнии велншь
ие литься?
Нет!
не оковать язык грозы!
Вечио будет
тысячестраннцый
грохотать
набатный
лениискнй язык.

Разве гром бывает иемотою болен?!
Разве сдержишь смерч,
чтоб внхрем не кипел?!
Нет!
не ослабеет ленниская воля
в мнллионосильиой воле РКП.

Разве жар
такой
термометрамн меряется?!
Разве пульс
такой
секундамн гуднт?!
Вечио будет леиннское сердце
клокотать
у революцин в грудн.

Нет!
Нет!
Не-е-т...
Не хотнм,
не верим в белый бюллетеиь.
С глаз весенних
сгниь, навязчнвая теиь!

1923

ТРЕСТЫ

В Москве
редкое место —
без вывески того или ииого треста.
Сто очков любому вперед дадут —
у кого семейиое счастье худо.
Тресты живут в любви,
в ладу
и супружески строятся друг против друга.
Говорят:
меж трестами неурядицы.—
Ложь!
Треста
с трестом
водой ие разольешь.
На одиой улице в Москве
есть
(а может иет)
такое место:
стоит себе тихо «хвостотрест»,
а иапротив —
вывеска «копытотреста».
Меж трестами
через улицу,
в служеиии лют,
весь деиь суетится чииовиый люд.
Я теперь хозяйством обзавожусь немиожко.
(Купил уже вилки и ложки.)
Только вот что:
беспокоит всякая крошка.
После обеда
иа клееике —
сплошиые крошки.
Решил купить,
так или ииàче,
для смахиваиия крошек
хвост телячий.
Я ие спекуляит —
из поэтического теста.
С достоииством влазю в дверь «хвостотреста».
Народищу — уйма.
Просто неописуемо.

Стоят и сидят
толпами и гущами.
Хлопают и хлопают дверные створки.
Коридор —
до того забит торгующими,
что его
не прочистишь цистерной касторки.
Отчаявшись пробиться без указующих фраз,
спрашиваю:
— Где здесь на хвосты ордера? —
У вопрошаемого
удивление на морде.
— Хотите,— говорит,— на копыто ордер?—
Я к другому —
невозмутимо, как день вешний:
— Где здесь хвостики?
— Извините,— говорит,— я не здешний.—
Подхожу к третьему
(интеллигентный будто) —
а он и не слушает:
— Угодно-с копыто?
— Да ну вас с вашими копытами к маме,
подать мне сюда заведующего хвостами!—
Врываюсь в канцелярию:
пусто, как в пустыне,
только чей-то чай на столике стынет.
Под вывеской —
«без доклада не лезьте»
читаю:
«Заведующий принимает в «копытотресте».—
Взбесился.
Выбежал.
Во весь рот
гаркнул:
— Где из «хвостотреста» народ?—
Сразу завопило человек двести:
— Не знает.
Бедненький!
Они посидячают в «копытотресте»,
а мы в «хвостотресте»,
по копыту посреднику.
Если вам по хвостам —
идите туда:
они там.

Перейдите иапротив
— тут мелко —
спросите заведующего
и готово — сделка.
Хвост через улицу перепрут рысью
только 100 процеитов с хвоста —
за комиссию.—
Я
способ прекрасный для борьбы им выискал:
как-нибудь
в единый мах —
с треста иа трест перевесить вывески,
и готово:
все иа своих местах.
А чтоб те или иные мошеиники
с треста иа трест не перелетели птичкой,
посредников на цепочки,
к цепочке ошейники,
а иа ошейнике —
фамилия
и трестова кличка.

1923

17 АПРЕЛЯ

Мы
о царском плеие
забыли за 5 лет.
Но тех,
за иас убитых иа Леие,
никогда ие забудем.
Нет!
Россия вздрогиула от гиева злобного,
когда
через тайгу
до иас
от ленского места лобиого —
донесся расстрела гул.
Легли,
легли Октября буревестники,
глядели Сибири снега:

их,
безоружных,
под пуль песеики
топтала жандарма иога.
И когда
фабрикаитище ловкий
золотые
горстьми загребал,
липла
с каждой
с пятирублевки
кровь
упрятаииых туидрам в гроба.
Но напрасно старался Терещеико
смыть
восставших
с лица рудника.
Эти
первые в троие трещинки
ие залижет иикто.
Никак.
Разгуделась весть о расстреле,
и до ныиче
гудит заряд,
по российскому иебу расстре́лясь,
Октябрем разгорелась заря.
Ныиче
с золота смыты пятиа.
Наши
тыщи сияющих жил.
Наше золото.
Взяли обратио.
Приказали:
— Рабочим служи! —
Мы
сомкиулись красными ротами.
Быстра шагов краснофлагих гряда.
Никакой ие посмеет ротмистр
сыпать пули по иашим рядам.
Нынче
течем мы.
Красная лава

Песия иад лавой
свободная пеиится.
Первая
наша
благодариая слава
вам, Ленцы!

1923

ВЕСЕННИЙ ВОПРОС

Страшиое у меня горе.
Вероятио —
лишусь сиа.
Вы поиимаете,
вскоре
в РСФСР
придет весна.
Сегодия
и завтра
и веков испокои
шатается комиата —
солица пропойца.
Невозможио работать.
Определенно обеспокоен.
А ведь откровенио говоря —
совершеиио не из-за чего беспокоиться.
Если подойти серьезио —
так-то оио так,
Солице посветит —
и пройдет мимо.
А вот попробуй —
от окиа оттяни кота.
А если и животиое иитересуется улицей,
то мие
это —
просто иеобходимо.
На улицу вышел
и встал в лени я,
ие в силах...
не сдвинуть с места тело.
Нет совершеиио
ии малейшего представления,
что ж теперь, собствеино говоря, делать?

И за шиворот
и по носу каплет безбожио.
Слушаешь.
Не смахиваешь.
Будто стих.
Юридически —
куда хочешь идти можно,
ио фактически —
сдвииуться
иикакой возможиости.
Я, например,
считаюсь хорошим поэтом.
Ну, скажем,
могу
доказать:
«самогон — большое зло».
А что про это?
Чем про это?
Ну иет совершеиио иикаких слов.
Например:
город советские служащие искра́пили,
приветствуй весиу,
ответь салютио!
Разучились —
иечем ответить на капли.
Ну, не могут сказать —
ии слова.
Абсолютио!
Стали вот так вот —
смотрят рассеяиио.
Наблюдают —
скалывают двориики лед.
Под башмаками вода.
Бассейны.
Сбоку брызжет.
Сверху льет.
Надо прииять какие-то меры.
Ну, ие зиаю что,—
иапример:
выбрать день
самый сиий,

и чтоб на улицах
улыбающиеся милицнонеры
всем
в этот день
раздавали апельсины.
Если это дорого —
можно выбрать дешевле,
проще.
Например:
чтоб старики,
безработные,
неучащаяся детвора
в 12 часов
ежедневно
собирались на Советской
площади,
троекратно кричали б:
ура!
ура!
ура!
Ведь все другие вопросы
более или менее ясны.
И относительно хлеба ясно,
и относительно мира ведь.
Но этот
кардинальный вопрос
относительно весны
нужно
во что бы то ни стало
теперь же урегулировать.

1923

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОТВЕТ

Мне
надоели ноты —
много больно пишут что-то.
Предлагаю
без лишних фраз
универсальный ответ —
всем зараз.

Если
нас
вояка тот или иной
вахочет
спровоцировать войиой,—
наш ответ:
нет!
А если
даже в мордобойиом вопросе
руку протянут —
иа коифереицию, мол, просим,—
всегда
ответ:
да!
Если
держава
та или другая
ультиматумами пугает,—
наш ответ:
иет!
А если,
ие пугая ультимативиым видом,
просят:
— Заплатим друг другу по обидам,—
всегда
ответ:
да!
Если
концессией
или чем прочим
хотят
на шею иасесть рабочим,—
наш ответ:
иет!
А если
взаимно,
вскрыв мошну тугую,
предлагают:
— Давайте
честио поторгуем! —
всегда
ответ:
да!

Если
хочется
сунуть рыло им
в то,
кого судим,
кого милуем,—
наш ответ:
нет!
Если
просто
попросят
одолжения ради —
простите такого-то —
дурак-дядя,—
всегда
ответ:
да!
Керзон,
Пуанкаре,
и еще кто́ там?!
Каждый из вас
пусть не поленится
и, прежде
чем испускать зряшние ноты,
прочтет
мое стихотвореньице.

1923

ВОРОВСКИЙ

Сегодня,
пролетариат,
гром голосов раскуй,
забудь
о всепрощенье и воске.
Приконченный
фашистской шайкой воровско́й,
в последний раз
Москвой
пройдет Воровский.
Сколько не станет...
Сколько не стало...
Скольких — в клочья...
Скольких — в дым...

Где б ни сдали.
Чья б ни сдала.
Мы ие сдали,
мы ие сдадим.
Сегодня
гиев
скругли
в огромиый
бомбы мяч.
Сегодия
голоса́
размолиий штычьим блеском.
В глазах
в капиталистовых маячь.
Чертись
по королевским заиавескам.
Ответ
в мильои шагов
пошли
на иаглость иот.
Мильоииую толпу
у стен кремлевских вызмей.
Пусть
смерть товарища
сегодия
подчеркиет
бессмертье
дела коммунизма.
1923

БАКУ

Баку.
Город ветра.
Песок плюет в глаза.
Баку.
Город пожаров.
Полыхаиие Балахан.
Баку.
Листья — копоть.
Ветки — провода.
Баку.
Ручьи —
черииила иефти.

Баку.
Плосковерхие дома.
Горбоиосые люди.
Баку.
Никто ие селится для веселья.
Баку.
Жирное пятио в пиджаке мира.
Баку.
Резервуар грязи,
но к тебе
я тяиусь
любовью
более —
чем притягивает дервиша Тибет,
Мекка — правовериого,
Иерусалим —
христиан
на богомолье.
По тебе
машииами вздыхают
миллиарды
поршией и колес.
Поцелуют
и опять
целуют, не стихая,
маслом,
нефтью,
тихо
и взасос.
Воле города
противостать ие смея,
цепью сцепеиевших тел
льиут
к Баку
покорио
даже змеи
извивающихся цистерн.
Если в будущее
крепко верится —
это оттого,
что до краев

изливается
столицам в сердце
черная
бакинская
густая кровь.

1923

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ

Дело земли —
вертеться.
Литься —
дело вод.
Дело
молодых гвардейцев —
бег,
галоп
вперед.
Жизнь шажком
стара́ нам.
Бего́м
под знаменем алым.
Комсомольским
миллионным тараном
вперед!
Но этого мало.
Полка́ми
по по́лкам книжным,
чтоб буквы
и то смяло.
Мысль
засеем
и выжием.
Вперед!
Но этого мало.
Через самую
высочайшую высь
махни атакующим валом.
Новым
чувством
мысль
будоражь!
Но и этого мало.

Ковром
вселенную взвей.
Моль
из вселенной
выбей!
Вели
лететь
левей
всей
вселенской
глыбе!
1923

НОРДЕРНЕЙ

Дыра дырой,
ни хорошая, ни дрянная —
немецкий курорт,
живу в Нордерпее.
Небо
то луч,
то чайку роняет.
Море
блестящей, чем ручка дверная.
Полон рот
красот природ:
то волны
приливом
полберега вырыют,
то краб,
то дельфинье выплеснет тельце,
то примусом волны фосфоресцируют,
то в море
закат
киселем раскиселится.
Тоска!..
Хоть бы,
что ли,
громовий раскат.
Я жду не дождусь
и не в силах дождаться,
но верую в ярую,
верую в скорую.

И чудится:
из-за островочка
кроиштадтцы
уже выплывают
и целят «Авророю».
Но море в терпенье,
и буре ие вывести.
Волиу
и ие гладят ветровы пальчики.
По пляжу
впластались в песок
и в леиивости
купальщицы млеют,
млеют купальщики.
И видится:
буря вздымается с дюны.
«Купальщики,
жиром иабитые бочки,
спасайтесь!
Покроет,
измелет
и сдуиет.
Песчиики — пули,
песок — пулеметчики».
Но пляж
буржуйкам
ласкает подошвы.
Но ветер,
песок
в ладу с грудастыми.
С улыбкой:
— как всё в Германии дешево!—
валютчики
греют катары и астмы.
Но это ж,
иаверио,
красиые роты.
Шаганья зиакомая разноголосица.
Сейчас иа табльдотчиков,
сейчас иа табльдоты
накииутся,
врежутся,
ринутся,
бросятся.

Но обер
иа барыню
косится рабьи:
фашистский
на барыньке
эиак муссолинится.
Сося
и вгрызаясь в щупальцы крабьи,
глядят,
как в море
закатище вклинится.
Чье сердце
октябрьскими бурями вымыто,
тому ни закат,
ни моря рёволицые,
тому ничего,
ни красот,
ни климатов,
не иадо —
кроме тебя,
Революция!

Нордерней, 4 августа 1923 г.

МОСКВА — КЕНИГСБЕРГ

Проезжие — прохожих реже.
Еще храпит Москва деляг.
Тверскую жрет,
Тверскую режет
сорокасильный «Каделяк».
Обмахиуло
радиатор
горизоита веером.
— Eins!
zwei! [1]
drei! [1] —
Мотора гром.
В иебо дверью —
аэродром.

[1] Раз, два, три! *(нем.)*.

Брик.
Механик.
Ньюбóльд.
Пилот.
Вещи.
Всем по пять кило.
Влезли пятеро.
Земля попятилась.
Разбежались дорожки-
ящеры.
Ходыика
накрылась скатертцей.
Красиоармейцы,
Ходынкой стоящие,
стоя ж —
назад катятся.
Небо —
ие ты ль?..
Звезды —
ие вы ль это?!
Мимо звездú
(нельзя без виз)!
Навылет иебу,
всему навылет,
палú —
земиой
отлетающий низ!
Развернулось солнечиое это.
И пошлн
часы
необычайииться.
Городá,
светящиеся
в облачиых просветах.
Птица
догоияет,
ие догиала —
тянется...
Ямы воздуха.
С размаха ухаем.
Рядом молнния.
Сощурился Ньюбóльд.

Гром мотора.
В ухе
и над ухом.
Но не раздражение.
Не боль.
Сердце,
чаще!
Мотору вторь.
Слились сладчайше
я
и мотор:
«Крылья Икар
в скалы низверг,
чтоб воздух-река
тек в Кенигсберг.
От чертежных дел
седел Леонардо,
чтоб я
летел,
куда мне надо.
Калечился Уточкин,
чтоб близко-близко,
от солнца на чуточку,
парить над Двинском.
Рекорд в рекорд
вбивал Горро́,
чтобы я
вот —
этой тучей-горой.
Коптел
над «Гномом»
Юнкерс и Дукс,
чтоб спорил
с громом
моторов стук».
Что же —
для того
конец крылам Ика́риным,
человечество
затем
трудом заводов никло,—

чтобы этакий
Владимир Маяковский,
бариюм,
Кеиигсбергами
распархивался
на каиикулы?!
Чтобы этакой
бесхвостой
и бескрылой курице
меж подушками
усесться куце?!
Чтоб кидать,
и ие выглядывая из гоидолы,
кожуру
колбасиую —
иа города и долы?!.
Нет!
Вылазьте из гоидолы, плечи!
100 зрачков
глазейте в каждый глаз!
Завтрашиее,
послезавтрашиее человечество,
мой
неодолимый
стальнорукий класс,—
я
благодарю тебя
за то,
что ты
в полетах
и меия,
слабейшего,
вковал своим звеном.
Возлагаю
иа тебя —
земля труда и пота —
горизоита
огиеиный веиок.
Мы взлетели,
ио еще — ие слишком.
Если иадо
к Марсам
дуги выгиуть —

сделай милость,
дай
отдать
мою жизнишку.
Хочешь,
вниз
с трех тысяч метров
прыгну?!

Berlin, 6 сентября 1923 г.

КИЕВ

Лапы елок,
лапки,
лапушки...
Все в снегу,
а теплые какие!
Будто в гости
к старой,
старой бабушке
я
вчера
приехал в Киев.
Вот стою
на горке
на Владимирской.
Ширь вовсю —
не вымчать и перу!
Так
когда-то,
рассиявшись в выморозки,
Киевскую
Русь
оглядывал Перун.
А потом —
когда
и кто,
не помню толком,
только знаю,
что сюда вот
по́ льду,

да и по воде,
в порогах,
волоком —
шли
с дарами
к Диру и Аскольду.
Дальше
было солнце
куполам в литавры.
— На колени, Русь!
Согнись и стой.—
До сегодня
нас
Владимир гонит в лавры.
Плеть креста
сжимает
каменный святой.
Шли
из мест
таких,
которых нету глуше,—
прадеды,
прапрадеды
и пра пра пра!..
Много
всяческих
кровавых безделушек
здесь у бабушки
моей
по берегам Днепра.
Был убит,
и снова встал Столыпин,
памятником встал,
вложивши пальцы в китель.
Снова был убит,
и вновь
дрожали липы
от пальбы
двенадцати правительств.
А теперь
встают
с Подола
дымы,

киевская грудь
гудит,
котлами грета.
Не святой уже —
другой,
земиой Владимир
крестит нас
железом и огием декретов.
Даже чуть
зарусофильствовал
от этой ширi!
Русофильство,
да другого сорта.
Вот
моя
рабочая страиа,
одна
в огромном мире.
— Эй!
Пуанкаре!
возьми нас?..
Черта!
Пусть еще
последний,
старый батька
содрогает
плачем
лавры звоиницы.
Пусть
еще
врезается с Крещатика
волчий вой:
«Даю-беру червоицы!»
Наша сила —
правда,
ваша —
лаврьи звоны.
Ваша —
дым кадильиый,
иаша —
фабрик дым.

Ваша мощь —
червоиец,
иаша —
стяг червоиный.
— Мы возьмем,
займем
и победим.
Здравствуй
и прощай, седая бабушка!
Уходи с пути!
скорее!
иу-ка!
Умирай, старуха,
спекулянтка,
иáбожка.
Мы идем —
ватага юных внуков!
1924

УХ, И ВЕСЕЛО!

О скуке
иа этом свете
Гоголь
говаривал много.
Миого ои поиимает —
этот самый ваш
Гоголь!
В СССР
от веселости
стоиут
целые губериии и волости.
Например,
со смеха
слёзы потопом
на крохотиом перегоие
от Киева до Конотопа.
Свечи
кажут
язычьи кончики.
11 иочи.
Сидим в вагоичике.

Разговор
перекидывается сам
от бандитов
к Брыиским лесам.
Остаиовят поезд —
мииута паиики.
И мчи
в Москву,
укутавшись в подштаииики.
Осоловели;
поезд
темиый и душиый,
и легли,
попрятав червонцы
в отдушины.
4 утра.
Скок со всех ног.
Стук
со всех рук:

«Вставай!
Открывай двери!
Чай, ие зимняя спячка.
Не медведи-звери!»
Где-то
с перепугу
загрохотал наган,
у кого-то
в плевательиице
застряла нога.
В двери
иовый стук
раздражеииый.
Заплакали
разбужеииые
дети и жеиы.
Будь что будет...
Жизнь —
иа ииточке!
Сиимаю цепочку,
и вот...
Ласковый голос:
«Купите открыточки,

пожертвуйте
иа воздушный флот!»
Сон
еще
не сошел с сонных,
нщут
радостно
карманы в кальсонах.
Черта
вытащншь
из голой ляжки.
Наконец,
разыскалн
копеечиые бумажки.
Утро,
вдали
петухн пропелн...
— Через сколько
лет
соберет ои иа пропеллер?
Спрашнваю,
под плед
засовывая рукн:
— Товарнщ сборщнк,
есть у вас виуки?
— Есть,—
говорнт.
— Так скажнте
внучке,
чтоб с тех собнрала,
— на ком брючки.
А этакнм способом
— через тысячную иочку —
соберете
разве что
на очкн летчнку.—
Наконец,
задыхаясь от смеха,
поезд
взял
и дальше поехал.
К чему спать?
Позевывает пассажнр.

Сны эти
только
иагоияют жир.
Человеческнм
происхождением
гордятся простофили.
А я
сожалею,
что я
ие филин.
Как филинам полагается,
не предаваясь сну,
ждал бы
сборщиков,
влезшн иа сосну.

1924

9-е ЯНВАРЯ

О боге болтая,
о смирении говоря,
помнн день —
9-е яиваря.
Не с красной эвездой —
в смирении тупом
с крестами шли
эа Гапоном-попом.
Не в саблн
врубались
коиармией-птицей —
белели
в руках
листы петиций.
Не в горло
вгрызались
царевым лампасиикам —
плелись
в надежде на милость помазаиннка.
Скор
ответ
велнчества
был:

«Пули в спины!
в груди!
и в лбы!»
Позор без названия,
ужас без имени
покрыл и царя,
и площадь,
и Зимний.
А поп
на забрызганном кровью требнике
писал
в приход
царевы серебреники.
Не все враги уничтожены.
Есть!
Раздуйте
опять
потухшую месть.
Не сбиты
с Запада
крепости вражьи.
Буржуи
рабочих
сгибают в рожья.
Рабочие,
помните русский урок!
Затвор осмотрите,
штык
и курок.
В споре с врагом —
одно решение:
Да здравствуют битвы!
Долой прошения!

1924

КОМСОМОЛЬСКАЯ

Смерть —
не сметь!

Строит,
рушит,
кроит
и рвет,

тихиет,
кипит
и пеннтся,
гудит,
говорнт,
молчнт
и ревет —
юная армия:
ленинцы.
Мы
иовая кровь
городских жил,
тело иив,
ткацкой идей
нить.
Леиин —
жил,
Ленин —
жнв,
Ленни —
будет жить.

Залили горем.
Свезли в мавзолей
частицу Леиииа —
тело.
Но тлеиью ие взять —
ии земле,
ни золе —
первейшее в Леиине —
дело.
Смерть,
косу положи!
Приговор лжив.
С таким
иебесам
ие блажить.
Ленин —
жнл.
Ленни —
жив.
Леиии —
будет жить.

Ленин —
жив
шагаиьем Кремля —
вождя
капиталовых пленников.
Будет жить,
н будет
земля
гордиться имеием:
Лениика.
Еще
по миру
пройдут мятежи —
сквозь все межи
коммуие
путь проложить.
Леиин —
жил.
Леинн —
жив.
Леиин —
будет жить.
К сведению смертн,
старой каргн,
гоиящей в могилу
и старящей:
«Леини» н «Смерть»—
слова-враги.
«Леиии» н «Жизиь»—
товарищи.
Тверже
печаль держи.
Грудью
в горе прилив.
Нам —
ие ныть.
Леиин —
жил.
Леиии —
жив.
Леиии —
будет жить.

Лении рядом.
Вот
он.
Идет
и умрет с нами.
И сиова
в каждом рождеиием рожден —
как сила,
как знанье,
как знамя.
Земля,
под ногами дрожи.
За все рубежи
слова —
взвивайтесь кружить.
Ленин —
жил.
Ленин —
жив.
Ленин —
будет жить.

Ленин ведь
тоже
начал с азов,—
жизиь —
мастерская геньина.
С низа лет,
с класса низов —
рвись
разгромадиться в Лениа.
Дрожите, дворцов этажи!
Биржа нажив,
будешь
битая
выть.
Ленин —
жил.
Ленин —
жив.
Ленин —
будет жить.

Ленин
больше
самых больших,
но даже
и это
диво
создали всех времен
малыши —
мы,
малыши коллектива.
Мускул
узлом вяжи.
Зубы-иожи —
в зианье —
вонзай крошить.
Леиин —
жил.
Ленин —
жив.
Ленин —
будет жить.

Строит,
рушит,
кроит
и рвет,
тихиет,
кипит
и пеиится,
гудит,
молчит,
говорит
и ревет —
юиая армия:
леиииды.
Мы
новая кровь
городских жил,
тело нив,
ткацкой идей
иить.
Леиии —
жил.

Ленин —
жив.
Ленин —
будет жить.

31 марта 1924 г.

ЮБИЛЕЙНОЕ

Александр Сергеевич,
разрешите представиться.
Маяковский.

Дайте руку
Вот грудная клетка.
Слушайте,
уже не стук, а стон;
тревожусь я о нем,
щенка смирённом львенке.
Я никогда не знал,
что столько
тысяч тонн
в моей
позорно легкомыслой головенке.
Я тащу вас.
Удивляетесь, конечно?
Стиснул?
Больно?
Извините, дорогой.
У меня,
да и у вас,
в запасе вечность,
Что нам
потерять
часок-другой?!
Будто бы вода —
давайте
мчать, болтая,
будто бы весна —
свободно
и раскованно!
В небе вон
луна
такая молодая,

что ее
без спутников
и выпускать рисковаиио.
Я
теперь
свободен
от любви
и от плакатов.
Шкурой
ревности медведь
лежит когтист.
Можно
убедиться,
что земля поката,—
сядь
на собственные ягодицы
и катись!
Нет,
не навяжусь в мелаихолишке чериой,
да и разговаривать ие хочется
ии с кем.
Только
жабры рифм
топырит учащёиио
у таких, как мы,
на поэтическом песке.
Вред — мечта,
и бесполезно грезить,
иадо
весть
служебиую иуду.
Но бывает —
жизнь
встает в другом разрезе,
и большое
понимаешь
через еруиду.
Нами
лирика
в штыки
иеоднократио атакована,

ищем речи
точиой
и иагой.
Но поэзия —
пресволочиейшая штуковина:
существует —
и ии в зуб иогой.
Например,
вот это —
говорится или блеется?
Сииемордое,
в ораижевых усах,
Навуходоиосором
библейцем —
«Коопсах».
Дайте иам стакаиы!
зиаю
способ старый
в горе
дуть виинще,
ио смотрите —
из
выплывают
Red и White Star'ы[1]
с ворохом
разиообразиых виз.
Мие приятио с вами,—
рад,
что вы у столика.
Муза это
ловко
за язык вас тяиет.
Как это
у вас
говаривала Ольга?..
Да ие Ольга!
из письма
Оиегиина к Татьяие.
— Дескать,
муж у вас
дурак
и старый мерин,

[1] Красные и белые звезды *(англ.)*.

я люблю вас,
будьте обязательно моя,
я сейчас же
утром должен быть уверен,
что с вами днем увижусь я.—
Было всякое:
и под окном стояние,
пи́сьма,
тряски нервное желе.
Вот
когда
и горевать не в состоянии —
это,
Александр Сергеич,
много тяжелей.
Айда, Маяковский!
Маячь на юг!
Сердце
рифмами вымучь —
вот
и любви пришел каюк,
дорогой Владим Владимыч.
Нет,
не старость этому имя!
Ту́шу
вперед стремя́,
я
с удовольствием
справлюсь с двоими,
а разозлить —
и с тремя.
Говорят —
я темой и-и-д-и-в-и-д-у-а-л-е-н!
Entre nous...[1]
чтоб цензор не нацыкал.
Передам вам —
говорят —
видали
даже
двух
влюбленных членов ВЦИКа.

---

[1] Между нами *(фр.)*.

Вот —
пустнли сплетию,
тешат душу ею.
Александр Сергенч,
да не слушайте ж вы их!
Может,
я
однн
действнтельно жалею,
что сегодня
иету вас в жнвых.
Мие
при жнзни
с вами
сговорнться б надо.
Скоро вот
и я
умру
и буду нем.
После смертн
иам
стоять почти что рядом:
вы иа Пе,
а я
на эМ.
Кто меж нами?
с кем велнте зиаться?!
Чересчур
страна моя
поэтами ннща́.
Между намн
— вот беда —
позатесался На́дсон.
Мы попросим,
чтоб его
куда-ннбудь
на Ща!
А Некрасов
Коля,
сыи покойного Алеши,—
он и в карты,
ои н в стнх,
н так
неплох на вид.

Зиаете его?
вот он
мужнк хорошнй.
Этот
иам компания —
пускай стонт.
Что ж о современииках?!
Не просчитались бы,
за вас
полсотин о́тдав.
От зевоты
скулы
разворачнвает аж!
Дорогойчеико,
Гераснмов,
Кириллов,
Родов —
какой
однаробразиый пейзаж!
Ну Есеиии,
мужиковствующих свора.
Смех!
Коровою
в перчатках лаечиых.
Раз послушаешь...
ио это ведь нз хора!
Балалаечнпк!
Надо,
чтоб поэт
и в жнзин был мастак.
Мы крепкн,
как спирт в полтавском штофе.
Ну, а что вот Безымеиский?!
Так...
ничего...
морковный кофе.
Правда,
есть
у иас
Асеев
Колька.

Этот может.
Хватка у иего
моя.
Но ведь надо
заработать сколько!
Малеиькая,
ио семья.
Были б живы —
стали бы
по Лефу соредактор.
Я бы
и агитки
вам доверить мог.
Раз бы показал:
— вот так-то мол,
и так-то...
Вы б смогли —
у вас
хороший слог.
Я дал бы вам
жиркость
и сýкна,
в рекламу б
выдал
гумских дам.
(Я даже
ямбом подсюсюкиул,
чтоб только
быть
приятией вам.)
Вам теперь
пришлось бы
бросить ямб картавый.
Ныиче
иаши перья —
штык
да зубья вил,—
битвы революций
посерьезиее «Полтавы»,
и любовь
пограидиозиее
оиегиискоЙ любви.

Бойтесь пушкнннстов.
Старомозгнй Плюшкнн,
перышко держа,
полезет
с перержавленным.
— Тоже, мол,
у лефов
появился
Пушкнн.
Вот арап!
а состязается —
с Державнным...
Я люблю вас,
но жнвого,
а не мумню.
Навелн
хрестоматнйный глянец.
Вы
по-моему́
прн жнзни
— думаю —
тоже бушевалн.
Афрнканец!
Сукнн сын Дантес!
Велнкосветскнй шкода.
Мы б его спроснлн:
— А вашн кто роднтелн?
Чем вы заннмалнсь
до 17-го года?—
Только этого Дантеса бы и внделн.
Впрочем,
что ж болтанье!
Спнрнтнзма вроде.
Так сказать,
невольнпк чести...
пулею сражен...
Их
и по сегодня
много ходнт —
всяческнх
охотнпков
до нашнх жен.

Хорошо у нас
в Стране Советов.
Можно жить,
работать можно дружно.
Только вот
поэтов,
к сожаленью, нету —
впрочем, может,
это и не нужно.
Ну, пора:
рассвет
лучища выкалил.
Как бы
милиционер
разыскивать не стал.
На Тверском бульваре
очень к вам привыкли.
Ну, давайте,
подсажу
на пьедестал.
Мне бы
памятник при жизни
полагается по чину.
Заложил бы
динамиту
— ну-ка,
дрызнь!
Ненавижу
всяческую мертвечину!
Обожаю
всяческую жизнь!

1924

ПРОЛЕТАРИЙ, В ЗАРОДЫШЕ ЗАДУШИ ВОЙНУ!

Будущее:

Дипломатия

— Мистер министр?
How do you do? [1]

[1] Здравствуйте! *(англ.)*.

Ультиматум истек.
Уступки?
Не иду.
Фирме Моргаи
должеи Крупп
ровио
три миллиарда
и руп.
Обложить облака!
Начать бои!
Будет добыча —
вам пай.
Люди — ваши,
расходы —
мои.
Good bye! [1]

Мобилизация

«Смит и сыи.
Самоговорящий ящик».
Ящик
миинстр
придвиул быстро.
В раструб трубы,
мембраие говорящей,
сорок
секуид
бубиил миинстр.
Сотое авеию.
Отец семейства.
Дочь
играет
цепочкой иа отце.
Записал
с граммофоиа
время и место.
Фармацевт — как фармацевт.
Пять сортировщиков.
Вид водолаза.

[1] Прощайте! *(англ.)*

Серых
масок
немигающий глаз —
уставили
в триста баллонов газа.
Блок
миуту
повизгивал лазя,
грузя
в кузова
«чумиой газ».
Клубы
Нью-Йорка
раскрылись в сроки,
раз
ие разиился
от других разов.
Фармацевт
сиял,
убивши в покер
флеш-роялем
— четырех тузов.

Наступление

Штаб воздушиых гаваией и доков.
Возд-воеи-электрик
Джим Уост
включил
в траисформатор
заатлаитических токов
триста линий —
зюд-ост.
Авиатор
в карте
к цели полета
вграфил
по лииейке
в линию линия.
Ровно
в пять
без механиков и пилотов

взвились
триста
чудовищ алюминия.
Треугольник
— летящая фабрика ветра —
в воздух
триста винтов всвистал.
Скорость —
шестьсот пятьдесят километров.
Девять
тысяч
метров —
высота.
Грозой не кривясь,
ни от ветра резкого,
только —
будто
гигантский Кольт —
над каждым аэро
сухо потрескивал
ток
в 15 тысяч вольт.
Встали
стражей неба вражьего.
Кто умер —
счастье тому.
Знайте,
буржуями
сжигаемые заживо,
последнее изобретение:
«крематорий на дому».

Бой

Город
дышал
что было мочи,
спал,
никак
не готовясь
к смертям.
Выползло
триста,
к дымочку дымочек.

Пошли
спиралью
снижаться, смердя.
Какая-то птица
— пустяк,
воробушки —
падала
в камень,
горохом ребрышки.
Крыша
рейхстага,
сиявшая лаково,
в две секунды
стала седая.
Бесцветный дух
дома́ обволакивал,
ник
к земле,
с этажей оседая.
«Спасайся, кто может,
с десятого —
прыга...»
Слово
свело
в холодеющем иёбе;
ножки,
еще минуту подрыгав,
рядом
легли —
успокоились обе.
Безумные
думали:
«Сжалим,
умолим».
Когда
растаял
газ,
повися,—
ни человека,
ни зверя,
ни моли!

Жизнь
была
и вышла вся.
Четыре
аэро
снизилнсь искоса,
лучн
скрестя
огромнейшим иксом.
Был труп
— и нет.
Был дом
— и нет его.
Жег
свет
фнолетовый.
Обделали чнсто.
Ни дыма,
ни мрака.
Взорвали,
взрыли,
смыли,
взмели.
И город
лежит
погашенной маркой
на грязном,
рваном
пакете земли.

Победа

Морган.
Жена.
В корсетах.
Не двинется.
Глядя,
как
шампанское пенится,
Морган сказал:
— Дарю имениннице
немного разрушенное,
но хорошее именьнце!

Сейчас
подытожена
великая война.
Пишут
мемуары
историки писцы.
Но боль близких,
любимых, нам
еще
кричит
из сухих цифр.
30
миллионов
взяли на мушку,
в сотнях
миллионов
стенание и вой.
Но и этот
ад
покажется погремушкой
рядом
с грядущей
готовящейся войной.
Всеми спинами,
по плечам драными,
руками,
брошенными
на операционном столе,
всеми
в осень
воющими ранами,
всей трескотней
всех костылей,
дырами ртов,
— выбил бой! —
голосом,
визгом газовой боли —
сегодня,
мир,
крикни
— Долой!!!

Не будет!
Не хотим!
Не позволим!
Нациям
иет
врагов иаций.
Нацию
выдумал
мира враг.
Выходи
ие с иацией драться,
рабочий мира,
мира батрак!
Иди,
пролетарской армией топая,
штыки
последиие
атакой выставь!
«Фразы
о мире —
пустая утопия,
пока
ие экспроприироваи
класс капиталистов».
Сегодия...
завтра...—
а справимся все-таки!
Виновиым — смерть.
Невиновиым — вдвойие.
Сбейте
жириых
дюжииы и десятки.
Миру — мир,
войиа — войие.

2 августа 1924 г.

СЕВАСТОПОЛЬ — ЯЛТА

В авто
иасажали
разиых армяи,

рванулись —
и мы в путн.
Дорога до Ялты
будто роман:
все время
надо крутить.
Сиачала
авто
подступает к горам,
охаживая кря́жевые.
Вот так и у нас
влюбленья пора:
наметишь —
и мчишь, ухаживая.
Авто
иачииает
по солицу трясть,
то жареиией ты,
то варённей:
так сердце
тебе
распаляет страсть,
и грудь —
раскаленной жаровней.
Привал,
шашлык,
не вяжешь лык,
с кружеиием
нету сладу.
У этих
у самых
гроздьев шашлы —
совсем поцелуйная сладость.

То солиечиый жар,
то ущелий тоска,—
ие верь
ни едиион версийке.
Который москнт
н который мускат,
и кто персюкй
и персикн?

И вдруг вопьешься,
любовью залив
и душу,
и тело,
и рот.
Так разом
встают
облака и залив
в разрыве
Байдарских ворот.
И сразу
дорога
нудней и нудней,
в туннель,
тормозами тужась.
Вот куча камня,
и церковь над ней —
ужасом
всех супружеств.
И снова
почти
о скалы скулой,
с боков
побелелой глядит.
Так ревность
тебя
обступает скалой —
за камнем
любовник бандит.
А дальше —
тишь;
крестьяне, корпя,
лозой
разделали скаты.
Так,
свой виноградник
пóтом кропя,
и я
рисую плакаты.
Потóм,
пропылясь,
проплывают года,

труся́т
суетнею мышиной,
и лишь
развлекает
семейный скандал
случайно
лопнувшей шиной.
Когда ж
окончательно
это доест,
распух
от моторного гвалта —
— Стоп!—
И склепом
отдельный подъезд:
— Пожалте
червонец!
Ялта.

1924

ВЛАДИКАВКАЗ — ТИФЛИС

Только
нога
ступила в Кавказ,
я вспомнил,
что я —
грузин.
Эльбрус,
Казбек.
И еще —
как вас?!
На гору
горы грузи!
Уже
на мне
никаких рубах.
Бродягой,—
один архалух.
Уже
подо мной.....
такой карабах,
что Ройльсу —
и то б в похвалу.

Было:
с ордой,
загорел и иосат,
старее
всего старья,
я влез,
веков девятиадцать назад,
вот в этот самый
в Дарьял.
Лезгинщик
и гитарист душой,
в миоговековом поту,
я землю
прошел
и возделал мушóй [1]
отсюда
по самый Батум.
От этих дел
ие вспомият ии эги.
История —
врун даровитый,
бубиит лишь,
что были
царьки да киязьки:
Ираклии,
Ниины,
Давиды.
Стеиа —
и то
эиакомая что-то.
В тахтах
вот этой вот башии —
я помию:
я вел
Руставели Шóтой
с царицей
с Тамарою
шашии.
А после
катился,
костями хрустя,

[1] М у ш а — рабочий *(груз.)*.

чтоб в пену
Тереку врыться.
Да это что!
Любовный пустяк!
И лучше
резвилась царица.
А дальше
я видел —
в пробоину скал
вот с этих
тропиночек узких
на сакли,
звеня,
опускались войска
золотопогонников русских.
Лениво
от жизни
взбираясь ввысь,
гитарой
душу отверз —
«Мхолот шен эртс
рац, ром чемтвис
Моуция
маглидган гмертс...» [1]
И утро свободы
в кровавой росе
сегодня
встает поодаль.
И вот
я мечу,
я, мститель Арсен,
бомбы
5-го года.
Живились
в пажах
князёвы сыики,
а я
ежедневно
и наново
опять вспоминаю
все синяки

[1] Лишь тебе одной все, что дано мне с высоты богом (*груз.*).

от плеток
всех Алихаиовых.
И дальше
история иаша
хмурá.
Я вижу
правящих кучку.
Какие-то люди,
мутией, чем Курá,
фраицузов чмокают в ручку.
Двадцать,
а может,
больше веков
волок
угиетателей узы я,
чтоб только
под зиамеием большевиков
воскресла
свободиая Грузия.
Да,
я грузии,
ио ие стареиькой иации,
вабитой
в ущелье в это.
Я —
равиый товарищ
одиой Федерации
грядущего мира Советов.
Еще
омрачается
деиь иной
ужасом
крови и яри.
Мы бродим,
мы
еще
ие вино,
ведь мы еще
только мадчари. [1]
Я зиаю:
глупость — эдемы и рай!

---

[1] Мадчари — неперебродившее молодое вино (*груз.*).

Но если
пелось про это,
должно быть,
Грузию,
радостный край,
подразумевали поэты.
Я жду,
чтоб аэро
в горы взвились.
Как женщина,
мною
лелеема
надежда,

что в хвост
со словом «Тифлис»
вобьем
фабричные клейма.
Грузин я,
но не кинто озорной,
острящий
и пьющий после.
Я жду,
чтоб гудки
взревели зурной,
где шли
лишь кинто [1]
да ослик.
Я чту
поэтов грузинских дар,
но ближе
всех песен в мире,
мне ближе
всех
и зурн
и гитар
лебедок
и кранов шанри. [2]
Строй
во всю трудовую прыть,

---

[1] Кинто — бродячий торговец, балагур, озорник *(груз.)*.
[2] Шанри — стихотворная строфа *(груз.)*.

для стройки
не жаль ломанни!
Если
даже
Казбек помешает —
срыть!
Все равно
не видать
в тумане.
1924

ТАМАРА И ДЕМОН

От этого Терека
в поэтах
истерика.
Я Терек не видел.
Большая потернйка.
Из омнибуса
вразвалку
сошел,
поплевывал
в Терек с берега,
совал ему
в пену
палку.
Чего же хорошего?
Полный развал!
Шумит,
как Есенин в участке.
Как будто бы
Терек
сорганнзовал,
проездом в Боржом,
Луначарский.
Хочу отвернуть
заносчнвый нос
и чувствую:
стыну иа гранн я,
овладевает
мною
гипноз,

воды
и пены играние.
Вот башия,
револьвером
иебу к виску,
разит
красотою иетроганой.
Поди,
подчиии ее
преду искусств —
Петру Семеиычу
Когану.
Стою,
и злоба взяла меия,
что эту
дикость и выступы
с такой бездариостью
я
промеиял
иа славу,
рецеизии,
диспуты.
Мие место
не в «Красиых иивах»,
а здесь,
и ие построчно,
а даром
реветь
стараться в голос во весь,
срывая
струиы гитарам.
Я зиаю мой голос:
паршивый тои,
ио страшеи
силою ярой.
Кто видывал,
ие усомиится,
что
я
был бы услышаи Тамарой.
Царица крепится,
взвинчена хоть,

величественно
делает пальчиком.
Но я ей
сразу:
— А мие начхать,
царица вы
или прачка!
Тем более
с песен —
какой гонорар?!
А стирка —
в семью копейка.
А даром
иемиого дарит гора:
лишь воду —
поди,
попей-ка! —
Взъярилась царица,
к киижалу рука.
Козой,
из бердаики удареиной.
Но я ей
по-своему,
вы ж зиаете как —
под ручку...
любезно...
— Сударыия!
Чего кипятитесь,
как паровоз?
Мы
общей лирики леита.
Я зиаю давио вас,
мне
миого про вас
говаривал
иекий Лермонтов.
Он клялся,
что страстью
и равиых иет...
Таким мие
мерещился образ твой.
Любви я заждался,
мне 30 лет.

Полюбим друг друга.
Попросту.
Да так,
чтоб скала
распостелилась в пух.
От черта скраду
н от бога я!
Ну что тебе Демон?
Фантазия!
Дух!
К тому ж староват —
мнфологня.
Не кнпь меня в пропасть,
будь добра.
От этой ли
струшу болн я?
Мне
даже
пнджак не жаль ободрать,
а грудь и бока —
тем более.
Отсюда
дашь
хороший удар —
и в Терек
замертво треснется.
В Москве
больнее спускают...
куда!
ступенькн счнтаешь —
лестнпца.
Я кончнл,
и дело мое сторона.
И пусть,
озверев от помарок,
про это
пишет себе Пастернак.
А мы...
соглашайся, Тамара! —
Исторня дальше
уже не для книг.
Я скромный,
и я
бастую.

Сам Демои слетел,
подслушал,
и сник,
и скрылся,
смердя
впустую.
К иам Лермоитов сходит,
презрев времена.
Сияет —
«Счастливая парочка!»
Люблю я гостей.
Бутылку виna!
Налей гусару, Тамарочка!

1924

ХУЛИГАНЩИНА

Только
солице усядется,
каиув
за опустевшие
фабричиые стройки,
стоиут
окраиины
от хулигаиов
вроде вот этой
милой тройки.
Человек пройдет
и — марш поодаль.
Таким попадись!
Ежовые лапочки!
От иих ни проезда,
от иих
ии прохода
ии женщиие,
ии мужчине,
ии электрической лампочке.
«Мадамочка, стой!
Провожу иемножко...
Клуб?
Почему?
Ломай стулья!

Он возражает?
В лопатку ножиком!
Зубы им вычти!
Помиожь им скулья!»
Гудят
в башке
пивные пары,
тощая мысль
самогоном
смята,
и в воздухе
даже не топоры,
а целые
иебоскребы
стоэтажного
мата.

Рабочий,
этим ли
кровь наших жил?!
Наши дочки
этим разве?!
Пока ие поздио —
конец положи
этой горлаиной
и грязиой язве!

1924

ПОСМЕЕМСЯ!

СССР!
Из глоток из всех,
да так,
чтоб врагу аж смяться,
сегодня
раструбливай
радостиый смех —
нам
можио теперь посмеяться!
Шипели: «Погибиут
через деиь, другой,

в крайности —
через две недели!»
Мы
гордо стоим,
а они дугой
изгибаются.
Ливреи надели.
Бились
в границы Советской страны:
«Не допустим
и к первой годовщине!»
Мы
гордо стоим,
а они —
штаны
в берлинских подвалах чинят.
Ллойд-Джорджи
ревели
со своих постов:
«Узурпаторы!
Баидиты!
Воришки!»
Мы
гордо стоим,
а они — раз сто
слетали,
как еловые шишки!
Они
на наши
голодные дни
радовались,
пожевывая пончики.
До урожаев
мы доживаем,
а они
последние дожевали
мильончики!
Злорадничали:
«Коммунистам
надежды нет:
погибнут
не в мае, так в июне».

А мы,
мы — стоим.
Мы — на 7 лет
ближе к мировой коммуне!
Товарищи,
вовсю
из глоток из всех —
да так, чтоб врагам аж смяться,
сегодня
раструбливайте
радостный смех!
Нам
есть над чем посмеяться!

1924

КРАСНАЯ ЗАВИСТЬ

Я
еще
не лыс
и не шамкаю,
все же
дядя
рослый с виду я.
В первый раз
за жизнь
малышам-ка я
барабанящим
позавидую.
Наша
жизнь —
в грядущее рваться,
оббивать
его порог,
вы ж
грядущее это
в двадцать
расшагаете
громом иог.
Нам
сегодня
корежит уши

громыхаиий
теплушечиых
ржа.
Вас,
забывших
и имя теплушек,
разлетит
на рабфак
дирижабль.
Мы,
пергаменты
текстами са́ля,
подписываем
договора.
Вам
забыть
и граиицы Версаля
иа борту
самолета-ковра.
Нам —
трамвай.
Попробуйте,
влезьте!
Полои.
Как в арифметике —
цифр.
Вы ж
в работу
будете
ездить,
самолет
выводя
под уздцы.
Мы
сегодия
двугривенный потиый
отчисляем
от крох,
от жалований,
чтоб флот
взлетел
заработаиный,

вам
за юиость одиу
пожалованиый.
Мы
живем
как раднозайцы,
телефониые
трубки
крадя,
чтоб музыкам
в вас
врезаться,
от Урала
до Крыма грядя.
Мы живем
только тем,
что тощи,
чуть полией бы —
и в комнате
душно.
Небо
будет
ваша жилплощадь —
не зажмет
на ширн
воздушиой.
Мы
от солнца,
от сиега зависим.
Из-за дождика —
с богом
судятся.
Вы ж
дождем
раскропите выси,
как только
заблагорассудится.
Дииамиты,
бомбы,
газы —
самолетов
наших
фарш.

Вам
смертямн
не сыпать наземь,
разлетайтесь
под звонкий марш.
К нам
известье
идет
с почтóвым,
проплывает
радость —
год.
Это
глупое время
на что вам?
Телеграммой
проносится код.
Мы
в камнях
прожниваем вёсны —
нет билета
и денег нет.
Вам
не будет
пространств повёрстных —
сам
себе
проездной билет.
Превратятся
не скоро
в ягодку
словоцветы
О. Д. В. Ф.
Те,
кому
по три
и по два годка,
вспомни
нас,
эти ягоды съев.

1925

ВЫВОЛАКИВАЙТЕ БУДУЩЕЕ!

Будущее
ие придет само,
если
ие примем мер.
За жабры его,— комсомол!
За хвост его,— пиоиер!
Коммуиа
ие сказочиая приицесса,
чтоб о ией
мечтать по иочам.
Рассчитай,
обдумай,
иацелься —
и иди
хоть по мелочам.
Коммуиизм
ие только
у земли,
у фабрик в поту.
Ои и дома
за столиком,
в отиошеньях,
в семье,
в быту.
Кто скрипит
матершиной смачиой
целый деиь,
как иемазаиый воз,
тот,
кто млеет
под визг балалаечиый,
тот
до будущего
ие дорос.
По фроитам
пулеметами такать —
ие в этом
одиом
войиа!
И семей
и квартир атака

угрожает
не меньше
нам.
Кто ие выдержал
иатиск домашний,
спит
в уюте
бумажных роз,—
до грядущей
жизии мощной
тот
пока еще
ие дорос.
Как и шуба,
и время тоже —
проедает
быта моль ее.
Наших дней
залежалых одёжу
перетряхии, комсомолия!

1925

ПАРИЖ

ЕДУ

Билет —
щелк.
Щека —
чмок.
Свисток —
и рванулись туда мы,
куда,
как сельди,
в сети чулок
плывут
кругосветиые дамы.
Сегодня приедет —
уродом-урод,
а завтра —
узиать посмейте-ка:

в одно
разубран
и город и рот —
помады,
огней косметика.
Веселых
тянет в эту вот даль.
В Париже грустить?
Едва ли!
В Париже
площадь
и та Этуаль,
а звезды —
так сплошь этуали.
Засвистывай,
трись,
врезайся и режь
сквозь Льежи
и об Брюссели.
Но иож
и Париж,
и Брюссель,
и Льеж —
тому,
кто, как я, обрусели.
Сейчас бы
в сани
с ногами —
в сиегу,
как в газетном листе б...
Свисти,
заноси сиегами
меия,
прихерсоиская степь...
Вечер,
поле,
огоиьки,
дальияя дорога,—
сердце рвется от тоски,
а в груди —
тревога.
Эх, раз,
еще раз,
стих — в пляс.

Эх, раз,
еще раз,
рнфм хряск.
Эх, раз,
еще раз,
еще много, много раз...
Люди
разных стран и рас,
копая порядков грядки,
увндев,
как я
себя протряс,
скажут:
в лихорадке.

1925

ГОРОД

Одни Парнж —
адвокатов,
казарм,
другой —
без казарм и без Эррно.
Не оторвать
от второго
глаза —
от этого города серого.
Со стен обещают:
«Un verre de Koto
donne de l'energie» [1]
Вином любви
какнм
и кто
мою взбудоражит жизнь?
Может,
критнки
знают лучше.
Может,
нх
и слушать надо.

[1] Стакан Кото дает энергию *(фр.)*.

Но кому я, к черту, попутчик!
Ни души
не шагает
рядом.
Как раньше,
свой
раскачивай горб
впереди
поэтовых арб —
неси,
один,
и радость,
и скорбь,
и прочий
людской скарб.
Мне скучно
здесь
одному
впереди,—
поэту
не надо многого,—
пусть
только
время
скорей родит
такого, как я,
быстроногого.
Мы рядом
пойдем
дорожной пыльцой.
Одно
желанье
пучит:
мне скучно —
желаю
видеть в лицо,
кому это
я
попутчик?!
«Je suis un chameau» [1],
в плакате стоят

[1] Я верблюд *(фр.)*.

литеры,
каждая — фут.
Совершеиио верио:
«je suis»,—
это
«я»,
а «chameau» — это
«я верблюд».
Лиловая туча,
скорей иагиись,
меия
и Париж полей,
чтоб только
скорей
зацвели огии
длиной
Елисейских полей.
Во всё огоиь —
и иебу в темь
и в чериь промокшей пыли.
В огие
жуками
всех систем
жужжат
автомобили.
Горит вода,
земля горит,
горит
асфальт
до жжеиия,
как будто
зубрят
фоиари
таблицу умиожеиия.
Площадь
красивей
и тысяч
дам-болоиок.
Эта площадь
оправдала б
каждый город.

Если б был я
Вандомская колонна,
я б женился
на Place de la Concorde [1].

1925

ВЕРЛЕН И СЕЗАН

Я стукаюсь
о стол,
о шкафа острия —
четыре метра ежедневно мерь.
Мне тесно здесь
в отеле Istria —
на коротышке
rue Campagne-Première [2].
Мне жмет.
Парижская жизнь не про нас —
в бульвары
тоску рассыпай.
Направо от нас —
Boulevard Montparnasse [3],
налево —
Boulevard Raspail [4].
Хожу и хожу,
не щадя каблука,—
хожу
и ночь и день я,—
хожу трафаретным поэтом, пока
в глазах
не встанут виденья.
Туман — парикмахер,
он делает гениев —
загримировал
одного
бородой —
Добрый вечер, т-т Тургенев.

---

[1] Площадь Согласия *(фр.)*.
[2] Улица Кампань-Премьер *(фр.)*.
[3] Бульвар Монпарнас *(фр.)*.
[4] Бульвар Распай *(фр.)*.

Добрый вечер, m-me Биардо.
Пошел:
«За что боролись?
А Рудии?..
А вы,
имеиье
возьми подпальии...»
Мие
их разговор эмиграитский
иудеи,
и юркаю
в кафе от скульии.
Да.
Это ои,
вот эта сова —
ие троиул
великого
тлен.
Приподиял шляпу:
«Comment ça va,
cher camarade Verlaine?» [1]
Откуда вас знаю?
Вас зиают все.
И вот
довелось состукаться.
Лет сорок
вы тянете
свой абсеит
из тысячи репродукций.
Я раиьше
вас
почти ие читал,
а иыиче —
вышло из моды,—
и рад бы прочесть —
не поймешь ии черта:
по-русски дряиь,—
переводы.
Не злитесь,—
со миой,
должно быть, и вы

[1] Как поживаете, дорогой товарищ Верлен? *(фр.)*.

знакомы
лишь понаслышке.
Поговорим
о пустяках путевых,
о нашинском ремесленшке.
Теперь
плохие стихи —
труха.
Хорошнй —
себе дороже.
С хорошим
и я б
свои потроха
сложил
под забором
тоже.
Бумаги
гладь
облевывая
пером,
концом губы —
поэт,
как блядь рублевая,
живет
с словцом любым.
Я жизнь
отдать
за сегодня
рад.
Какая это громада!
Вы чуете
слово —
пролетариат? —
ему
грандиозное надо.
Из кожи
надо
вылезть тут,
а нас —
к журнальчикам
премией.
Когда ж поймут,
что поэзия —
труд,

что место нужио
и время ей.
«Лицом к деревие» —
задаиье даио,—
за гусли,
поэты-други!
Поймите ж —
лицо у меия
одио —
оио лицо,
а ие флюгер.
А тут и ГУС
отверзает уста:
вопрос ие решен.
«Который?
Поэт?
Так ведь это ж —
просто кустарь,
простой кустарь,
без мотора».
Перо
такому
в язык воизи,
прибей
к векам куисткамер.
Ты врешь.
Еще
ие иайдеи беизии,
что движет
сердец кусками.
Идею
нельзя
замешать на воде.
В воде
отсыреет идейка.
Поэт
иикогда
и ие жил без идей.
Что я —
попугай?
иидейка?

К рабочему
надо
идти серьезней —
недооценили их мы.
Поэты,
покайтесь,
пока не поздно,
во всех
отглагольных рифмах.
У нас
поэт
событья берет —
опишет
вчерашний гул,
а надо
рваться
в завтра,
вперед,
чтоб брюки
трещали
в шагу.
В садах коммуны
вспомнят о барде —
какие
птицы
залыотся им?
Что
будет
с веток
товарищ Вардин
рассвистывать
свои резолюции?!
За глотку возьмем.
«Теперь поори,
несбитая быта морда!»
И вижу,
зависть
зажглась и горит
в глазах
моего натюрморта.
И каплет
с Верлена
в стакан слеза.

Он весь —
как зуб на сверлé.
Тут
к иам
подходнт
Поль Сезан:
«Я
так
напишу вас, Верлен».
Ои пишет.
Смотрю,
как краска свежа.
Monsieur,
простите вы меня,
у иас
старнкам,
как под хвост вожжа,
бывало
от вашего именн.
Бывало —
сезон,
наш бог — Ван-Гог,
другой сезои —
Сезаи.
Теперь
ушли от нскусства
вбок —
ие краску любят,
а саи.
Птеицы —
у них
молоко на губах,—
а с детства
к смнрению падкн.
Большущее имя взялн
АХРР,
а чешут
ответственным
пятки.
Небось
не напншут
мой портрет,—

не трут
поиапрасну
кисти.
Ведь то же
лицо как будто,—
ан нет,
рисуют
кто поцекистей.
Сезан
остановился на линии,
и весь
размерсился — тронутый.
Париж,
фиолетовый,
Париж в аиилине,
вставал
за окном «Ротонды».
1925

NOTRE-DAME [1]

Другие здания
лежат,
как грязная кора,
в воспоминании
о Notre-Dame'е.
Прошедшего
возвышенный корабль,
о время зацепившийся
и севший на мель.
Раскрыли дверь —
тоски тяжелей;
желе
из железа —
нелепее.
Прошли
сквозь монаший
служилый елей
в соборное великолепие.

[1] Собор Парижской богоматери *(фр.)*.

Читал
письмена,
украшавшие храм,
про боговы блага
иа иебе.
Спускался в партер,
подымался к хорам,
смотрел удобства
и мебель.
Я вышел —
со миой
переводчица-дура,
щебечет
баитиком-ротиком:
«Ну, как вам
иравится архитектура?
Какая иебесная готика!»
Я взвесил все
и обдумал,—
ну вот:
ои лучше Блажеииого Васьки.
Коиечио,
под клуб ие пойдет —
темиоват,—
об этом ие думали
классики.
Не стиль...
Я в этих делах ие мастак.
Не дался
старью на съедеиие.
Но то хорошо,
что уже места
готовы тебе
для сидеиия.
Его
ии к чему
перестраивать заново —
приладим
с грехом пополам,
а в иаших —
ии стульев иет,
ни орга́иов.

Копнёшь —
одии купола.
И лучше б оркестр,
да игра дорога —
сиачала
ие будет финансов,—
а то ли дело
когда органи —
играй
хоть пять сеаисов.
Ясно —
репертуар иной —
фокстроты,
а ие сопенье.
Нельзя же
фраицузскому госкино
духовные песнопеиия.
А для рекламы —
ие храм,
а краса —
старайся
во все тяжкие.
Электрорекламе —
лучший фасад:
меж башеи
пустить перетяжки,
да буквами разными:
«Signe de Zoro» [1],
чтоб буквы бежали,
как мышь.
Такая реклама
так заорет,
что видио
во весь Boulmiche [2].
А если
и лампочки
вставить в глаза
химерам
в углах собора,

---

[1] Знак Зоро *(фр.)*.
[2] Бульвар Сен-Мишель *(фр.)*.

тогда —
иикто ие уйдет иазад:
подряд —
битковые сборы!
Да, иадо
быть
бережливым тут,
ядром
чего
ие попортив.
В особеииости,
если пойдут
громить
префектуру
иапротив.

1925

ВЕРСАЛЬ

По этой
дороге,
спеша во дворец,
бесчислениые Людовики
трясли
в шелках
золоченых каретц
телес
десятипудовики.
И ляжек
своих
отмахав шатуны,
по ией,
марсельезой пропет,
плюя на короиу,
теряя штаны,
бежал
из Парижа
Капет.
Теперь
по ией
веселый Париж
гоияет
авто рассияв,—

кокоткн,
рантье, подсчнтавший барыш,
американцы
н я.
Версаль.
Возглас первый:
«Хорошо жили стервы!»
Дворцы
на тыщн спален н зал —
и в каждой
н стол
н кровать.
Такнх
вторых
н постронть нельзя —
хоть целую жизнь
воровать!
А за дворцом,
и сюды
и туды,
чтоб жнзнь нм
была
свежа,
пруды,
фонтаны,
и снова пруды
с фонтаном
нз медных жаб.
Вокруг,
в поощренье
жантнльных манер,
дорожкн
полны стату́ямн —
везде Аполлоны,
а этих
Венер
безрукнх,—
так целые уймы.
А дальше —
жнлья
для их Помпаду́рш —
Большой Трнанон
н Маленький.

Вот тут
Помпадуршу
водили под душ,
вот тут
помпадуршины спалеики.
Смотрю на жизнь —
ах, как не нова!
Красивость —
аж дух выматывает!
Как будто
влип
в акварель Беиуа,
к каким-то
стишкам Ахматовой.
Я все осмотрел,
поощупал вещи.
Из всей
красотищи этой
мне
больше всего
понравилась трещина
на столике
Антуанетты.
В него
штыка революции
клин
вогнали,
пляша под распевку,
когда
саикюлоты
поволокли
на эшафот
королевку.
Смотрю,
а все же —
завидные видики!
Сады завидные —
в розах!
Скорей бы
культуру
такой же выделки,
но в новый,
машиный ро́змах!

В музеи
вот эти
лачуги б вымести!
Сюда бы —
стальиой
и стекольиый
рабочий дворец
миллиоииой вместимости,—
такой,
чтоб и глазу больио.
Всем,
еще имеющим
купоиы
и моиеты,
всем царям —
еще имеющимся —
в назидание:
с гильотииы неба,
головой Антуаиетты,
солице
покатилось
умирать иа здаииях.
Расплылась
и лип
и каштаиов толпа,
слегка
листочки ворся.
Прозрачиый
вечериий
небесный колпак
закрыл
музейиый Версаль.

1925

ЖОРЕС

Ноябрь,
а народ
зажат до жары.
Стою
и смотрю долго:

на шинах машинных
мимо —
шары
катаются
в треуголках.
Войной обагрееиные
руки
умыв
и красные
шансы
взвесив,
коммерцию
новую
вбили в умы —
хотят
спекульнуть на Жоресе.
Покажут рабочим —
смотрите,
и он
с великими нашими
тоже.
Жорес
настоящий француз.
Пантеон
не станет же
он
тревожить.
Готовы
потоки
слезливых фраз.
Эскорт,
колесницы — эффект!
Ни с места!
Скажите,
кем из вас
в окне
пристрелен
Жорес?
Теперь
пришли
панихидами выть.
Зорче,
рабочий класс!

Товарищ Жорес,
не дай убить
себя
во второй раз.
Не даст.
Подняв
знамен мачтовый лес,
спаяв
людей
в один
плывущий флот,
громовый и живой,
по-прежнему
Жорес
проходит в Пантеон
по улице Суфло.
Он в этих криках,
несущихся вверх,
в знаменах,
в шагах,
в горбах.
«Vivent les Soviets!..
A bas la guerre!..
Capitalisme à bas!..» [1]
И вот —
взбегает огонь
и горит,
и песня
краснеет у рта.
И кажется —
снова
в дыму
пушкари
идут
к парижским фортам.
Спиною
к витринам отжали —
и вот
из книжек
выжались
тени.

[1] Да здравствуют Советы!.. Долой войну!.. Долой капитализм!.. *(фр.)*.

И снова
71-й год
встает
у стран ц в шелестенин.
Гора
на груди
могла б подняться.
Там
гневный окрик орет:
«Кто смел сказать,
что мы
в семнадцатом
предали
французский народ?
Неправда,
мы с вами,
французские блузники.
Забудьте
этот
поклеп дряиной.
На всех баррикадах
мы ваши союзники,
рабочий Крезо
и рабочий Рено».

1925

ПРОЩАНИЕ

(Кафе)

Обыкновенно
мы говорим:
все дороги
приводят в Рим.
Не так
у монпарнасца.
Готов поклясться.
И Рем
и Ромул,
и Ремул и Ром
в «Ротонду» придут
или в «Дом» [1].

[1] Кафе на Монпарнасе.

В кафе
идут
по сотням дорог,
плывут
по бульварной реке.
Вплываю и я:
«Garçon,
un grog
americain!» [1]
Сиачала
слова,
и губы,
и скулы
кафейиый гомои сливал.
Но вот
пошли
вылупляться из гула
и лепятся
фразой
слова.
«Тут
проходил
Маяковский давеча,
хромой —
ие видали рази?» —
«А с кем ои шел?» —
«С Николай Николаичем».—
«С каким?»
«Да с великим князем!» —
«С великим киязем?
Будет врать!
Ои кругл
и лыс,
как ладоиь.
Чекист ои,
послаи сюда
взорвать...» —
«Кого?» —
«Буа-дю-Булонь [2].

---

[1] Официант, грог по-американски! *(фр.)*
[2] Булонский лес (*фр.*— Bois du Boulogne).

Езжай, мол, Мишка...»
Другой поправил:
«Вы врете,
противно слушать!
Совсем и не Мишка он,
а Павел.
Бывало, сядем —
Павлуша! —
а тут же
его супруга,
княжна,
брюнетка,
лет под тридцать...» —
«Чья?
Маяковского?
Он не женат».
«Женат —
и на императрице».—
«На ком?
Ее ж расстреляли...» —
«И он
поверил...
Сделайте милость!
Ее ж Маяковский спас
за трильон!
Она же ж
омолодилась!»
Благоразумный голос:
«Да нет,
вы врете —
Маяковский — поэт».—
«Ну, да,—
вмешалось двое саврасов,—
в конце
семнадцатого года
в Москве
чекой конфискован Некрасов
и весь
Маяковскому отдан.
Вы думаете —
сам он?
Сбондил до йот—

весь стих,
с запятыми,
скраден.
Достаиет Некрасова
и продает —
червонцев по десять
на день».
Где вы,
свахи?
Подымись, Агафья!
Предлагается
жених невиданный.
Видано ль,
чтоб человек
с такою биографией
был бы холост
и старел иевыданный?!
Париж,
тебе ль,
столице столетий,
к лицу
эмиграитская нудь?
Смахни
за ушми
эмиграитские сплетни.
Провинция!—
не продохнуть.—
Я вышел
в раздумье —
черт его знает!
Отплюиулся —
тьфу, напасть!
Дыра
в ушах
не у всех сквозная —
другому
может запасть!
Слушайте, читатели,
когда прочтете,
что с Черчиллем
Маяковский
дружбу вертит

или
что жеиился я
иа кулиджевской тете,
то, покориейше прошу,—
не верьте.
1925

ПРОЩАНЬЕ

В авто,
последиий франк размеияв.
— В котором часу иа Марсель? —
Париж
бежит,
провожая меия,
во всей
невозможной красе.
Подступай
к глазам,
разлуки жижа,
сердце
мие
сантиментальиостью расквась!
Я хотел бы
жить
и умереть в Париже,
если б не было
такой земли —
Москва.
1925

СТИХИ ОБ АМЕРИКЕ

ИСПАНИЯ

Ты — я думал —
райский сад.
Ложь
подпивших бардов.
Нет —
живьем я вижу
склад
«ЛЕОПОЛЬДО ПАРДО».

Из прилипших к скалам сёл
опустясь с опаской,
чистокровнейший осёл
шпарит по-испански.
Всё плебейство выбив вон,
в шляпы влезла по́ нос.
Стал
простецкий
«телефон»
гордым
«телефонос».
Чернь волос
в цветах горит.
Щеки в шаль орамив,
сотня с лишним
сеньорит
машет веерами.
От медуз
воде синё.
Глуби —
вёрсты мера.
Из товарищей
«сеньор»
стал
и «кабальеро».
Кастаньеты гонят сонь.
Визги...
пенье...
страсти!
А на что мне это все?
Как собаке — здрасите!

1925

6 МОНАХИНЬ

Воздев
печеные
картошки личек,
черней,
чем негр,
не видавший бань,
шестеро благочестивейших католичек

влезло
на борт
парохода «Эспань».
И сзади
и спереди
ровней, чем веревка.
Шали,
как с гвоздика,
с плеч висят,
а лица
обвила
белейшая гофрировка,
как в пасху
гофрируют
ножки поросят.
Пусть заполнится годами
жизни квота —
стоит
только
вспомнить это диво,
раздирает
рот
зевота
шире Мексиканского залива.
Трезвые,
чистые,
как раствор борной,
вместе,
эскадроном, садятся есть.
Пообедав, сообща
скрываются в уборной.
Одна зевнула —
зевают шесть.
Вместо известных
симметричных мест,
где у женщин выпуклость,—
у этих выем:
в одной выемке —
серебряный крест,
в другой — медали
со Львом
и с Пием.

Продрав глазенки
раньше, чем можно,—
в раю
(ужо!)
отоспятся лишек,—
оркестром без дирижера
шесть дорожных
вынимают
евангелишек.
Придешь ночью —
сидят и бормочут.
Рассвет в розы —
бормочут, стервозы!
И днем,
и ночью, и в утра, и в полдии
сидят
и бормочут,
дуры господни.
Если ж
день
чуть-чуть
помрачнеет с виду,
сойдут в кабину,
12 галош
надеиут вместе
и снова выйдут,
и снова
идет
елейный скулёж.
Мне б
язык испанский!
Я б спросил, взъяренный:
— Ангелицы,
попросту
ответ поэту дайте —
если
люди вы,
то кто ж
тогда
воро́ны?
А если
вы вороны,
почему вы не летаете?

Агитпропщики!
ие лезьте вои из кожи.
Весь земиой
обревизуйте шар.
Самый
замечательиый безбожиик
ие придумает
кощуиственнее шарж!
Радуйся, распятый Иисусе,
не слезай
с гвоздей своей доски,
а вторично явишься —
сюда
не суйся —
всё равио:
повесишься с тоски!

1925

АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН

Испаиский камеиь
слепящ и бел,
а стеиы —
зубьями пил.
Пароход
до двенадцати
уголь ел
и пресную воду пил.
Повел
пароход
окованиым носом
и в час,
сопя,
вобрал якоря
и поиесся.
Европа
скрылась, мельчась.
Бегут
по бортам
водяиые глыбы,

огромные,
как года́.
Надо мною птицы,
подо мною рыбы,
а кругом —
вода.
Недели
грудью своей атлетической —
то работяга,
то в стельку пьян —
вздыхает
и гремит
Атлантический
океан.
«Мне бы, братцы,
к Сахаре подобраться...
Развернись и плюнь —
пароход внизу.
Хочу топлю,
хочу везу.
Выходи сухой —
сварю ухой.
Людей не надо нам —
малы к обеду.
Не трону...
ладно...
пускай едут...»
Волны
будоражит мастера́:
детство выплеснут;
другому —
голос милой.
Ну, а мне б
опять
знамена простирать!
Вон —
пошло́,
затарахте́ло,
загромыло!
И снова
вода
присмирела сквозная,

н нет
ннкакнх сомненнй нн в ком.
И вдруг,
откуда-то —
черт его знает! —
встает
нз глубнн
воднячнй Ρевком.
И гвардня капель —
воды партнзаны —
взбнраются
ввысь
с океанского рва,
до неба метнутся
н падают заново,
порфнру пены в клочкн нзодрав.
И снова
спаялнсь во́ды в одно,
волне
повелев
разбурлнться вождем.
И прет волнища
с-под тучн
на дно —
прнказы
н лозунгн
сыплет дождем.
И волны
клянутся
всеводному Цнку
оружне бурь
до победы не класть.
И вот победнлн —
экватору в цнркуль
Советов-капель бескрайняя власть.
Последнх волн небольшне мнтнигн
шумят
о чем-то
в возвышенном стнле.
И вот
океан
улыбнулся умытенькнй

н замер
на время
в покое н в штнле.
Смотрю за пернла.
Старайтесь, прнятелн!
Под трапом,
навнсшим
ажурным мостком,
прн океанском предпрнятнн
потеет
над чем-то
волновий местком.
И под водой
деловнто н тнхо
дворцом
растет
кораллов плетенка,
чтоб легше жнлось
трудовой кнтнхе
с рабочнм кнтом
н дошкольным кнтенком.
Уже
н луну
положнлн дорожкой.

Хоть прямо
на пузе,
как по́ суху, лазь.
Но враг не сунется —
в небо
сторожко
гляднт,
не сморгнув,
Атлантнческнй глаз.
То́ стынешь
в блеске луниого лака,
то стонешь,
облнтый пеиою ран.
Смотрю,
смотрю —
н всегда одннаков,
любим,
блнзок мне океан.

Вовек
твой грохот
удержит ухо.
В глаза
тебя
опрокииуть рад.
По шири,
по делу,
по крови,
по духу —
моей революции
старший брат.

1925

МЕЛКАЯ ФИЛОСОФИЯ НА ГЛУБОКИХ МЕСТАХ

Превращусь
ие в Толстого, так в толстого,—
ем,
пишу,
от жары балда.
Кто иад морем не философствовал?
Вода.
Вчера
океаи был злой,
как черт,
сегодня
смиреиней
голубицы иа яйцах.
Какая разница!
Все течет...
Все меняется.
Есть
у воды
своя пора:
часы прилива,
часы отлива.
А у Стеклова
вода
ие сходила с пера.

Несправедливо.
Дохлая рыбка
плывет одна.
Висят
плавнички,
как подбитые крылышки.
Плывет недели,
и нет ей —
ни дна,
ни покрышки.

Навстречу
медленней, чем тело тюленье,
пароход из Мексики,
а мы —
туда.
Иначе и нельзя.
Разделение
труда.

Это кит — говорят.
Возможно и так.
Вроде рыбьего Бедного —
обхвата в три.
Только у Демьяна усы наружу,
а у кита
внутри.
Годы — чайки.
Вылетят в ряд —
и в воду —
брюшко рыбешкой пичкать.
Скрылись чайки.
В сущности говоря,
где птички?

Я родился,
рос,
кормили соскою,—
жил,
работал,
стал староват...

Вот и жизнь пройдет,
как прошли Азорские
острова.

Атлантический океан, 3 июля 1925 г.

БЛЕК ЭНД УАЙТ

Если
Гавану
окинуть мигом —
рай-страна,
страна что надо.
Под пальмой
на ножке
стоят фламинго.
Цветет
коларио
по всей Ведадо.
В Гаване
все
разграничено четко:
у белых доллары,
у черных — нет.
Поэтому
Вилли
стоит со щеткой
у «Энри Клей энд Бок, лимитед».
Много
за жизнь
повымел Вилли —
одних пылинок
целый лес,—
поэтому
волос у Вилли
вылез,
поэтому
живот у Вилли
влез.

Мал его радостей тусклый спектр:
шесть часов поспать на боку,
да разве что
вор,
портовóй инспектор,
кинет
игру
цеит на бегу.
От этой грязи скроешься разве?
Разве что
стали б
ходить на голове.
И то
намели бы
больше грязи:
волосьев тыщи,
а иог —
две.
Рядом
шла
нарядная Прадо.
То звякиет,
то вспыхиет
трехверстный джаз.
Дурию покажется,
что н взаправду
бывший рай
в Гаваие как раз.
В мозгу у Вилли
мало извилнн,
мало всходов,
мало посева.
Одио-
единственное
вызубрил Вилли
тверже,
чем камеиь
памятиика Масео:
«Белый
ест
ананас спелый,
черный —
гинлью мочеиый.

Белую работу
делает белый,
черную работу —
черный».
Мало вопросов Вилли сверлили.
Но одии был
закорюка из закорюк.
И когда
вопрос этот
влезал в Вилли,
щетка
падала
из Виллиных рук.
И надо же случиться,
чтоб как раз тогда
к королю сигарному
Эирн Клей
пришел,
белей, чем облаков стада,
велнчественнейшнй нз сахарных королей.
Негр
подходит
к туше дебелой:
«Ай бэг ёр пáрдон, мистер Брэгг!
Почему н сахар,
белый-белый,
должен делать
черный негр?
Чериая сигара
ие идет в усах вам —
она для негра
с черными усами.
А если вы
любите
кофий с сахаром,
то сахар
извольте
делать сами».
Такой вопрос
ие проходнт даром.
Король
из белого
становится желт.

Вывернулся
король
сообразно с ударом,
выбросил обе перчатки
и ушел.
Цвели
кругом
чудеса ботаники.
Бананы
сплетали
сплошной кров.
Вытер
негр
о белые подштанники
руку,
с носа утершую кровь.
Негр
посопел подбитым носом,
поднял щетку,
держась за скулу.
Откуда знать ему,
что с таким вопросом
надо обращаться
в Коминтерн,
в Москву?

Гавана, 5 июля 1925 г.

СИФИЛИС

Пароход подошел,
завыл,
погудел —
и скован,
как каторжник беглый.
На палубе
700 человек людей,
остальные —
негры.
Подплыл
катерок
с одного бочка́.

Вбежав
по лесенке хро́мой,
осматривал
врач в роговых очках:
«Которые с трахомой?»
Припудрив прыщи
и наружность вымыв,
с кокетством себя волоча,
первый класс
дефилировал
мимо
улыбавшегося врача.
Дым
голубой
из двустволки ноздрей
колечком
единым
свив,
первым
шел
в алмазной заре
свиной король —
Свифт.
Трубка
воияет,
в метр длиной.
Попробуй к такому —
полезь!
Под шелком кальсон,
под батистом-лино́,
поди,
разбери болезнь.
«Остров,
дай
воздержанья зарок!
Остановить велите!»
Но взял
капитан
под козырек,
и спущен Свифт —
сифилитик.
За первым классом
шел второй.

Исследуя
этот класс,
врач
удивлялся,
что ноздри с дырой,—
лез
и в ухо
и в глаз.
Врач смотрел,
губу своротив,
нос
под очками
взмóрща.
Врач
троих
послал в карантин
из
второклассного сборища.
За вторым
надвигался
третий класс,
черный от негритья.
Врач посмотрел:
четвертый час,
время коктейлей
питья.
— Гоните обратно
трюму в щель!
Больные —
видно и так.
Грязный вид...
И вообще —
оспа не привита.—
У негра
виски́
ревмя ревут.
Валяется
в трюме
Том.
Назавтра
Тому
оспу привьют —

н Том
возвратится в дом.
На берегу
у Тома
жена.
Волоса
густые, как нефть.
И кожа ее
черна и жирна,
как вакса
«Черный лев».
Пока
по работам
Том болтается,
— у Кубы
губа не дура —
жену его
прогнали с плантаций
за неотработку
натурой.
Луна
в океан
накидала монет,
хоть сбросься,
вбежав на насыпь!
Недели
ни хлеба,
ни мяса нет.
Недели —
одни ананасы.
Опять
пароход
привинтило винтом.
Следующий —
через неделю!
Как дождаться
с голодным ртом?
— Забыл,
разлюбил,
забросил Том!
С белой
рогожу
делит! —

Не заработать ей
и не скрасть.
Везде
полнсмены под зонтнком.
А мнстеру Свнфту
последнюю страсть
раздула
эта экзотнка.
Потело
тело
под бельецом
от черненького мясца́.
Он тыкал
доллары
в руку, в лнцо,
в голодные месяца.
Схватилнсь —
желудок,
пустой давно,
н верностн тяжеловес.
Она
решнла отчетлнво:
«No!» [1],—
и глухо сказала:
«Yes!» [2]
Уже
на дверь
плечом напнрал
подгнвшнй мнстер Свнфт.
Его
н ее
наверх
в номера
взвнптнл
услужливый лнфт.
Явнлся
Том
через два денька.

---

[1] Нет! *(англ.)*.
[2] Да! *(англ.)*.

Неделю
спал без просыпа.
И рад был,
что есть
н хлеб,
и деньга
н что не будет оспы.
Но деиь прншел,
н у кож
в темноте
узор непонятиый впеплен.
И детн
у матерн в жнвоте
онемевалн
н слепли.
Суставы ломая
день ото дня,
года календариые вылистаны,
и кто-то
у тел
половнну отнял
и вытяиул руки
для мнлостыни.
Вниманне
к негру
стало особое.
Когда
собнралась па́ства,
морали
наглядиое это пособне
показывал
постный пастор:
«Карает бог
н его
и ее
за то, что
водила гостей!»
И слазило
черного мяса гинлье
с гиилых
негрнтянскнх костей.

В политику
этим
не думал ввязаться я.
А так —
срисовал для видика.
Одии говорят —
«цивилизация»,
другие —
«колоииальиая политика».

1926

ХРИСТОФОР КОЛОМБ

Христофор Колумб был Христофор Коломб — испанский еврей.

Из журналов.

1

Вижу, как сейчас,
объедки да бутылки...
В портишке,
известиом
лишь кабачком,
Коломб Христофор
и другие забулдыги
сидят,
нахлобучив
шляпы бочком.
Христофора злят,
пристают к Христофору:
«Что вы за иация?
Одии Сиои!
Любой португалишка
даст тебе фору!»
Вкоиец извели Христофора —
и ои
покрыл
дискаиточком
щелкаиье пробок
(задели
в еврее
больиую струиу):

«Что вы лезете:
Европа да Европа!
Возьму
и открою другую
страиу».
Дивятся приятели:
«Что с Коломбом?
Вииа ие пьет,
ие ходит гулять.
Надо смотреть —
ие вывихиул ум бы.
Всю иочь сидит,
раздвигает циркуля».

2

Мертвая хватка в молодом еврее;
думает,
не ест,
иедосыпает ночей.
Лакеев
оттягивает
за фалды ливреи,
лезет
аж в спальии
королей и богачей.
«Кораллами торгуете?!
Дешевле редиски.
Сам
иаловит
каждый мальчугаи.
То ли дело
материк иидийский:
не барахло —
бирюза,
жемчуга!
Дело вериое:
вот вам карта.
Это океаи,
а это —
мы.
Пуиктиром путь —
и бриллиаитов караты

на каждый полтнннник,
данный взаймы».
Тесно торгашам.
Томятся непоседы.
По́суху
н в год
не обернется караван.
И закапали
флорины и пезеты
Христофору
в продырявленный карман.

3

Идут,
посвистывая,
отчаянные из отчаянных.
Сзади тюрьма.
Впереди —
ни рубля.
Арабы,
французы,
испанцы
и датчане
лезли
по трапам
Коломбова корабля.
«Кто здесь Коломб?
До Индии?
В ночку!
(Чего не откроешь,
если в пузе орга́н!)
Выкатывай на палубу
белого бочку,
а там
вези
хоть к черту на рога!»
Прощанье — что надо.
Не отъезд — а помпа:
день
не просыхали
капли на усах.

Время
меряли,
вперяясь в компас.
Спьяна
путали штаны и паруса.
Чуть не сшибли
маяк зажжеииый.
Палубиые
ие держатся иа полу,
и вот,
быть может, отсюда,
с Жижоиа,
на всех парусах
рваиулся Коломб.

4

Единая мысль мне сегодия люба,
что эти вот волны
Коломба лапили,
что в эту же воду
с Коломбова лба
стекали
пота
усталые капли.
Что это иебо
землей обмеля́,
иа это вот облако,
вставшее с юга,—
«На мачты, братва!
глядите —
земля!» —
орал
рассудок теряющий юига.
И виовь
океаи
с простора раскосого
вбивал
в иебеса
громыхающий клин,

а после
братался
с волной сарагоссовой,
и вместе
пучки травы волокли.
Он
этой же бури слушал лады.
Когда ж
затихает бурн задор,
мерещатся
в водах
Коломба следы,
ведущие
на Сан-Сальвадор.

5

Вырастают дни
в бородатые месяцы.
Луны
мрут
у мачты на колу.
Надоело океану,
Атлантический бесится.
Взбешен Христофор,
назвался Коломб.
С тысячной волны трехпарусник
съехал.
На тысячу первую взбираться
надо.
Видели Атлантический?
Тут не до смеха!
Команда ярится —
устала команда.
Шепчутся:
«Черту ввязались в попутчики.
Дома плохо?
И стол и кровать.
Знаем мы
эти
жидовские штучки —
разные
Америки
закрывать и открывать!»

За капитаном ходят по пятам.
«Вернись!— говорят,
играют мушкой.—
Какой ты ни есть
капитан-раскапитан,
а мы тебе тоже
не фунт с осьмушкой».
Лазит Коломб
на брáмсель с фóка,
глаза аж навыкате,
исхудал лицом;
пустился вовсю:
придумал фокус
со знаменитым
Колумбовым яйцом.
Что́ яйцо?—
игрушка на́ день.
И день
не оттянешь
у жизни-воровки.
Галдит команда,
на Коломба глядя:
«Крепка
петля
из генуэзской веревки.
Кончай,
Христофор,
собачий век!..»
И кортики
воздух
во тьме секут.
«Земля!» —
Горизонт в туманной
кайме.
Как я вот
в растущую Мексику
и в розовый
этот
песок на заре,
вглазелись.
Не смеют надеяться:

с кольцом экватора
в медной ноздре
вставал
матернк нндейцев.

6

Года прошлн.
В старнка
шипуна
смельчал Атлантнческнй,
гордый смолоду.
С бортов «Мажестйков»
любая шпана
плюет
в твою
седоусую морду.
Коломб!
твое пропало наследство!
В вонючих трюмах
твон потомкн
с машнным адом
в горящем соседстве
лежат,
под щеку
подложившн котомкн.
А сверху,
в цветах первоклассных розеток,
катаясь пузом
от танцев
до пьянкн,
в уюте чнтален,
кино
н клозетов
катаются донны,
сеньоры
н янкн.
Ты балда, Коломб,—
скажу по честн.
Что касается меня,
то я бы
лнчно —

я б Америку закрыл,
слегка почистил,
а потом
опять открыл —
вторично.

1925

ТРОПИКИ

(Дорога Вера-Круц — Мехико-сити)

Смотрю:
вот это —
тропики.
Всю жизнь
вдыхаю наново я.
А поезд
прет торопкий
сквозь пальмы,
сквозь банановые.
Их силуэты-веники
встают рисунком тошненьким:
не то они — священники,
не то они — художники.
Аж сам
не веришь факту:
из всей бузы и вара
встает
растенье — кактус
трубой от самовара.
А птички в этой печке
красивей всякой меры.
По смыслу —
воробейчики,
а видом —
шантеклеры.
Но прежде чем
осмыслил лес
и бред,
и жар,
и день я —
и день
и лес исчез

без вечера
н без
предупрежденья.
Где горнзонта борозда?!
Все лнннн
потеряны.
Скажн,
которая звезда
н где
глаза пантернны?
Не счел бы
лучшнй казначей
звездЫ
тропнческнх ночей,
настолько
ночн августа
звездой набнты
нагусто.
Смотрю:
нн згн, нн тропки.
Всю жнзнь
вдыхаю наново я.
А поезд прет
сквозь тропнки,
сквозь запахи
банановые.
1926

МЕКСИКА

О, как эта жизнь чнталась взасос!
Идешь.
Наступаешь на́ ноги.
В руках
превращается
ранец в лассо,
а клячн пролеток —
мустангн.
Взаправду
нгрушечный
рос магазнн,
ревел
пароходный гудок.

Сейчас же
сбегу
в страиу мокасии —
лишь сбондю
рубль и бульдог.
А сегодия —
это ие умора.
Сколько миль воды
виитом иарыто,—
и встает
живьем
страна Фениамора
Купера
и Майн Рида.
Рев сиреи,
коичается вода.
Мы прикручеиы
к земле
о локоть локоть.
И берет
иабитый «Лефом»
чемодан
Монтигомо
Ястребиный Коготь.
Глаз торопится слезой налиться.
Как? чему я рад?—
— Ястребиный Коготь!
Я ж
твой «Бледиолицый
Брат».
Где товарищи?
чего таишься?
Помнишь,
из-за клумбы
стрелами
отравлеииыми
в Кутаисе
били
мы
по кораблям Колумба?—
Цедит
злобио
Коготь Ястребиный,

медлеиио,
как треснувшая крынка:
— Нету краснокожих — истребили
гачупи́ны с гри́нго.
Ну, а тех из иас,
которых
пульки
пощадили,
просвистевши мимо,
кабаками
кактусовой «пульке»
добивает
по 12-ти сантимов.
Замеиила
чемоданов куча
стрелы,
от которых
никуда ие деться..,—
Огрызнулся
и пошел,
сомбреро нахлобуча
вместо радуги
из перьев
птицы Ке́тцаль.
Года и столетья!
Как ни коси́те
склоиеииые головы дней,—
корявые камии
Мехико-сити
прошедшее вышепчут мие.
Это
было
так давио,
как будто не было.
Бабушки столетиих попугаев
не запомият.
Здесь
из зыби озера
вставал Пуэбло,
дом-коммуиа
в десять тысяч комнат.
И золото
между озериых зыбе́й

лежало,
аж рыть ие иадо вам.
Чего еще,
живи,
броизовей,
вторая сестра Элладова!
Но очеиь иадо
за морем
белым,
чего иидейцу ие иадо.
Жадна
у белого
Изабелла,
жена
короля Фердинанда.
Тяжек испаиских пушек груз.
Сквозь пальмы,
сквозь кактусы лез
по этой дороге
из Вера-Круц
генерал
Эриандо Кортéс.
Пришел.
Вода студеная
хочет
вскипеть кнпятком
от огня.
Дерутся
72 иочи
и 72 дия.
Хранят
красиокожих
двумордые идолы.
От пушек
не видио вреда.
Как мышь иа сало,
прельстясь на титулы,
своих
Моктецума предáл.
Напрасио,
разбитых
в отряды спаяв,

Гватемок
в озерной воде
мок.
Что
против пушек
стреленка твоя!..
Под пытками
умер Гватёмок.
И вот стонм,
ниндеец да я,
товарнщ
далекого детства.
Он умер,
чтоб в бронзе
веками стоять
наискосок от полпредства.
Внизу
громыхает
столетнй орда,
и горько стоять ниндейцу.
Что́ братьям его,
рабам,
чехарда
всех этнх Хуэрт
н Днэцов?..
Прошла
годов трезначная сумма.
Геронка
нынче не тема.
Пивною маркой стал Моктецума,
пивной маркой — Гватёмок.
Буржуи
всё
под одно стригут.
Вконец обесцветили мнр мы.
Теперь
в утешенье земле-старнку
лишь две
конкурентки фирмы.
Нн лиц пожелтелых,
нн солнца одеж.

В какую
огромиую лупу,
в какой трущобе
теперь
найдешь
сарапе и Гваделупу?
Что Рига, что Мехико —
родственный жаир.
Латвия
тропического леса.
Вся разница:
зоитик в руке у рижан,
а у мексиканцев
«Смит и Вéссон».
Две Латвии
с двух земных боков —
различиые собой оии
лишь тем,
что в Мексике
режут быков
в театре,
а в Риге —
иа бойие.
И совсем как в Риге,
около пяти,
проклииая
мамову опеку,
фордом
разжигая жеиихоский аппетит,
кружат дочки
по Чапультапеку.
А то,
что тут урожай фуража,
что в пальмы земля разодета,
так это от солнца,—
сиди
и рожай
бананы и президеитов.
Наверху миинстры
в бриллнаитовом огие.
Под —
иарод.
Голейший зад виднеется.

Без штанов,
во-первых, потому, что нет,
во-вторых,—
не полагается:
ниндейцы.
Обнищало
моктецумье племя,
и стонт оно
там,
где город
выбег
на окраины прощаться
перед вывеской
муниципальной:
«Без штанов
в Мехнко-ситн
вход воспрещается».
Пятьсот
по Мексике
нищих племен,
а сытый
с одним языком:
одной рукой выжимает в лимон,
одним запирает замком.
Нельзя
борьбе
в племена рассекаться.
Нищий с нищими
рядом!
Несись
по земле
из страны мексиканцев,
роднящий крик:
«Камарада!»
Голод
мастер людей равнять.
Каждый индеец,
кто гол.
В грядущем огне
родня-головня
ацтек,
метис
и креол.

Мильои ие угробят богатых лопаты.
Страиа!
Поди,
покори ее!
Встают
взамеи одиого Запаты
Гальваиы,
Мореио,
Карйо.
Сметай
с горбов
толстопузых обузу,
ацтек,
креол
и метис!
Скорей
иад мексикаиским арбузом,
багровое зиамя, взметись!

Мехико-сити, 20 июля 1925 г.

БОГОМОЛЬНОЕ

Большевики
иадругались иад верой православиой.
В храмах-клубах —
словесиые бои.
Колокола без языков —
иемые словио.
По божьим престолам
похабиичают воробьи.
Без веры
и иравствеииость ищем иапрасио.
Чтоб нравствеииым быть —
кадилами вей.
Вот Мексика, иапример,
потому и иравствеииа,
что прут
богомолки
к вратам церквей.
Кафедраль —
богомольиейший из моиашьих иистиутцев.

Брат «Notre Dame'a» [1]
на площади,—
а около,
запружена народом,
«Площадь Конституции»,
в простонародии —
площадь «Сокола».
Блестящий
двенадцатицилиндровый
«пакард»
остановил шофер,
простоватый хлопец.
— Стой,— говорит,—
помолюсь пока...—
донна Эсперанца Хуан-де-Лопец.
Нету донны
ни час, ни полтора.
Видно, замолилась.
Веровать так веровать.
И снится шоферу —
донна у алтаря.
Парит
голубочком
душа шоферова.
А в кафедрале
безлюдно и тихо:
не занято
в соборе
ни единого стульца.
С другой стороны
у собора —
выход
сразу
на четыре гудящие улицы.
Донна Эсперанца
выйдет как только,
к донне
дон распаленный кинется.
За угол!
Улица «Изабелла Католика»,
а в этой улице —
гостиница на гостинице.

[1] «Notre Dame» [de Paris] — собор Парижской богоматери.

А дома —
растет до ужиια
свирепость мужина.
У доиа Лопеца
терпенье лопается.
То крик,
то стон
испускает дон.
Гремит
по квартире
тигровый соло:
— На восемь частей разрежу ее!—
И, выдрав из уса
в два метра волос,
он пробует
сабли своей острие.
— Скажу ей:
«Иига́че, сеиьора, лягте-ка!
Вот этот
кольт
ваш сожитель до гроба!» —
И в пумовой ярости
— все-таки практика!—
сбивает
с бутылок
дюжииу пробок.
Гудок в два тона —
приехала донна.
Еще
и рев
ие успел уйти
за кактусы
ближнего поля,
а у шоферских
виска и груди
иависли
клинок и пистоля.
— Ответ или смерть!
Не вертеть вола!
Чтоб доина
не могла
запираться,

ответь немедленно,
где была
жена моя
Эсперанца?
— О дон Хуан!
В вас дьяволы злобятся.
Не гневайте
божью милость.
Донна Эсперанца
Хуан-де-Лопец
сегодня
усердно
молилась.

1925

МЕКСИКА — НЬЮ-ЙОРК

Бежала
Мексика
от буферов
горящим,
сияющим бредом.
И вот
под мостом
река или ров,
делящая
два Ларедо.
Там доблести —
скачут,
коня загония,
в пятак
попадают
из кольта,
и скачет конь,
и брюхо коня
о колкий кактус исколото.
А здесь
железо —
не расшатать!
Ни воли,
ни жизни,
ни нерва вам!

И сразу
рябит
тюрьма решета
вам
для знакомства
для первого.
По рельсам
поезд сыпет,
под рельсой
шпалы сыпятся.
И гладью
Миссисипи
под нами миссисипится.
По бокам
поезда
не устанут сновать:
или хвост мелькнет,
или нос.
На боках поездных
страновеют слова:
«Сан-Луи́с»,
«Мичига́н»,
«Иллино́йс»!
Дальше, поезд,
огнями расцвеченный!
Лез,
обгоняет,
храпит.
В Нью-Йорк несется
«Тве́нти се́нчери
экспресс».
Курьерский!
Рапи́д!
Кругом дома,
в этажи затеряв
путей
и проволок множь.
Теряй шапчонку,
глаза задеря,
все равно —
ничего не поймешь!

1926

БРОДВЕЙ

Асфальт — стекло.
Иду и звеию.
Леса и травиики —
сбриты.
На север
с юга
идут авеию,
иа запад с востока —
стриты.
А между —
(куда их строитель завез!) —
дома
иевозможной длииы.
Одии дома
длиною до звезд,
другие —
длиной до луиы.
Янки
подошвами шлепать
леиив:
простой
и курьерский лифт.
В 7 часов
человечий прилив,
в 17 часов —
отлив.
Скрежещет механика,
звои и гам,
а люди
иемые в звоие.
И лишь замедляют
жевать чуингам,
чтоб бросить:
«Мек моией?»
Мамаша
грудь
ребеику дала.

Ребенок
с каплями из носу,
сосет
как будто
не грудь, а долла́р—
занят
серьезным
бизнесом.
Работа окончена.
Тело обвей
в сплошной
электрический ветер.
Хочешь под землю —
бери собвей,
на небо —
бери элевейтер.
Вагоны
едут
и дымам под рост,
и в пятках
домовьих
трутся,
и вынесут
хвост
на Бруклинский мост,
и спрячут
в норы
под Гудзон.
Тебя ослепило,
ты осовел.
Но,
как барабанная дробь,
из тьмы
по темени:
«Кофе Максве́л
гуд
ту ди ласт дроп».
А лампы
как станут
ночь копать,
ну, я доложу вам —
пламечко!

Налево посмотришь —
мамочка мать!
Направо —
мать моя мамочка!
Есть что поглядеть московской братве.
И за́ день
в конец не дойдут.
Это Нью-Йорк.
Это Бродвей.
Гау ду ю ду!
Я в восторге
от Нью-Йорка города.
Но
кепчонку
не сдерну с внска.
У советскнх
собственная гордость:
на буржуев
смотрим свысока.

6 августа 1925 г. Нью-Йорк.

СВИДЕТЕЛЬСТВУЮ

Внд индейцев таков:
пернат,
смешон
и нездешен.
Они
прнезжают
из первых веков
сквозь лязг
«Пенснльвэнна Сте́йшен».
Им
Ку́лнджи
пару пальцев суют.
Снимают
нх
голлнвудцы.

На крыши ведут
в ресторанный уют.
Под ними,
гульбу разгудевши свою,
ньюйоркские улицы льются.
Кто их радует?
чем их злят?
О чем их дума?
куда их взгляд?
Индейцы думают:
«Ишь —
капитал!
Ну и дома́ застроил.
Всё отберем
ни за пятак
при
социалистическом строе.
Сначала
будут
бои клокотать.
А там
ни вражды,
ни начальства!
Тишь
да гладь
да божья благодать —
сплошное луначарство.
Ныыми
рейсами
вспенятся воды;
пойдут
пароходы зажаривать,
сюда
из Москвы
возить переводы
произведений Жарова.
И радио —
только мгла легла —
правду-матку вызвенит.
Придет
и расскажет
на весь вигвам,

в чем
красота
жизии.
И к правде
пойдет
иидейская рать,
вздымаясь
зиамеиной уймою...»
Впрочем,
зачем
про индейцев врать?
Иидейцы
про это
ие думают.
Индеец думает:
«Там,
где черио
воде
у моста в оскале,
плескался
иедавно
юркий челнок
деда,
искателя скальпов.
А там,
где взвит
этажей коробо́к
и жгут
миллиои киловатт,—
стоял
иидейский
воениый бог,
брюхат
и головат.
И все,
что теперь
вокруг течет,
все,
что отсюда видимо,—
все это
вытворил белый черт,
заморская
белая ведьма.

Их
всех бы
в лес прогиать
в одии,
и мы чтоб
с копьем гоиялись...»
Поди
под такую мысль
подведи
классовый аиализ.
Мысль человечья
миого сложией,
чем эиают
у иас
о ией.
Тряхиув
опереиья иарядиую рядь
иад пастью
облошаделой,
сошли
и — пока!
пошли вымирать.
А что им
больше
делать?
Подумай
о иовом агит-виите.
Виити,
чтоб задор ие гас его.
Ждут.
Переводи, Комиитери,
расовый гиев
иа классовый.
1926

БАРЫШНЯ И ВУЛЬВОРТ

Бродвей сдурел.
Бегия и гу́лево.
Дома́
с иебес обрываются
и висят.

Но даже меж иими
заметишь Ву́льворт.
Корсетиая коробка
этажей под шестьдесят.
Сверху
разведывают
звезд взводы,
в средиих
тайпистки
стрекочут бешеио.
А в самом иижием —
«Дрогс со́да,
грет эид фе́ймус ко́мпаии-ие́йшеиал».
А в окошке мисс
семиадцати лет
сидит для рекламы
и точит иожи.
Ржавые лезвия
фирмы «Жиллет»
кладет в патеитоваииый
железиый зажим
и гладит
и водит
кожей ремия.
Хотя
усов
и не полагается ей,
но водит
по губке,
усы возомия,—
дескать —
готово,
иаточил и брей.
Наточит одии
до сияиия лучика
и иовый ржавый
берет для возии.
Наточит,
выиет
и сделает ручкой.

Дескать —
зайди,
купи,
возьми.
Буржуем ие сделаешься с бритвеиной точки.
Бегут без бород
и без выражеиий иа лице.
Богатств буржуйских особые источиики:
работай иа доллар,
а выдадут цеит.
У меия ии усов,
ии долларов,
ии шевелюр,—
и в горле
застревают
аиглийского огрызки.
Но я подхожу
и губми шевелю —
как будто
через стекло
разговариваю по-аиглийски.
«Сидишь,
глазами буржуев охлопаиа.
Чем обиадежеиа?
Дура из дур».
А девушке слышится:
«Опеи,
о́пеи ди дор» [1].
«Что тебе заботиться
о чужих усах?
Вот...
посадили...
как дуру еловую».
А у девушки
фаитазия раздувает паруса,
и слышится девушке:
«Ай ло́в ю» [2].
Я злею:
«Выдь,
окио разломай,—

---

[1] Откройте, откройте дверь (*англ.*— Open, open the door).
[2] Я люблю вас (*англ.*— I love you).

а бритвы раздай
для жирных горл».
Девушке мнится:
«Май,
май гёрл» [1].
Выходит
фаитазия из рамок и мерок —
и я
кажусь
красивый и толстый.
И чудится девушке —
влюбленный клерк
на ней
жениться
приходит с Вóлстрит.
И верит мисс,
от счастья дрожа,
что я —
долларовый воротила,
что ей
уже
в других этажах
готовы бесплатно
и стол
и квартира.
Как врезать ей
в голову
мысли-ножи,
что русским известно другое средство,
как влезть рабочим
во все этажи
без грез,
без свадеб,
без жданий наследства.

1925

НЕБОСКРЕБ В РАЗРЕЗЕ

Возьми
разбольшущий
дом в Нью-Йорке,

[1] Моя, моя милая (*англ.*— My, my girl).

взгляни
насквозь
на зданье на то.
Увидншь —
старейшие
норки да каморкн —
совсем
дооктябрьскнй
Елец аль Конотоп.
Первый —
ювелиры,
караул бессменный,
замок
зацепнлся ставням о бровь.
В сером
герои кино,
полнсмены,
лягут
собаками
за чужое добро.
Третнй —
спят бюро-конторы.
Ест
промокашки
рабнй пот.
Чтоб мнр
не забыл,
хозяин который,
на вывесках
золотом
«Вильям Шпрот».
Пятый.
Подсчитав
прнданные сорочкн,
мисс
перезрелая
в мечте о женнхах.
Вздымая грудью
ажурные строчки,
почесывает
пышных подмышек меха.

Седьмой.
Над очагом
домашним
высясь,
силы сберегши
спортом смолоду,
сэр
своей законной ми́ссис,
узиав об измеие,
кровавит морду.
Десятый.
Медовый.
Пара легла.
Счастливей,
чем Ева с Адамом были.
Читают
в «Таймсе»
отдел реклам:
«Продажа в рассрочку автомобилей».
Тридцатый.
Акциоиеры
сидят увлечены,
делят миллиарды,
жадны и озабочеиы.
Прибыль
треста
«изготовлеиье ветчины
из лучшей
дохлой
чикагской собачиины».
Сороковой.
У спальии
опереточиой дивы.
В скважиину
замочиую,
сосредоточив прыть,
чтоб Ку́лидж дал развод,
детективы
мужа
должиы
в кровати иакрыть.
Свободиый художиик,
рисующий задочки,

дремлет в девяностом,
думает одно:
как бы ухажнуть
за хозяйской дочкой —
да так,
чтоб хозяиину
всучить полотио.
А с крыши стаял
скатертный сиег.
Лишь ест
в ресторанной выси
большие крохи
уборщик-иегр,
а малеиькие крошки —
крысы.
Я смотрю,
н злость меия берет
иа укрывшихся
за каменный фасад.
Я стремился
за 7000 верст вперед,
а приехал
на 7 лет назад.

1925

ПОРЯДОЧНЫЙ ГРАЖДАНИН

Если глаз твой
врага ие видит,
пыл твой выпили
иэп и торг,
если ты
отвык ненавидеть,—
приезжай
сюда,
в Нью-Йорк.
Чтобы, в мили улиц опутаи,
в боли игл
фоиарных ежей,
ты прошел бы
со миой
лилипутом

у подиожия
их этажей.
Видишь —
вон
выгребают мусор —
иа объедках
с детьми проияичиться,
чтоб в авто,
обгоияя «бусы»,
ко дворцам
иеслись бриллиаитщицы.
Загляии
в окошки в эти —
здесь
иаряд им вышили кияжий.
Только
сталью глушит элевейтер
хрип
и кашель
чахотки портняжей.
А хозяии —
липкий студеиь —
с мордой,
вспухшей иа радость чирю́,
у работиицы
щупает груди:
«Кто поиравится —
удочерю!
Двести дам
(если сотии мало),
грусть
сгоию
иавсегда с очей!
Будет
жизиь твоя —
Ку́ии-Айлаид,
луиа-парк
в миллиард свечей».
Уведет —
а иазавтра
зве́рья,
волчья баида
бесполых старух

проститутку —
в смолу и в перья,
и опять
в смолу и в пух.
А хозяин
в отеле Пла́за,
через рюмку
и с богом сблизясь,
закатил
в поднебесье глазки:
«Се́нк'ю
за хороший бизнес!»
Успокойтесь,
вне опасения
ваша трезвость,
нравственность,
дети,
барабаны
«армий спасения»
вашу
в мир
трубят добродетель.
Бог
на вас
не разукоризнится:
с вас
и маме их —
на платок,
и ему
соберет для ризницы
божий ме́наджер,
поп Платон.
Клоб полиций
на вас не свалится.
Чтобы ты
добрел, как кулич,
смотрит сквозь холеные пальцы
на тебя
демократ Кули́дж.
И, елозя
по небьим сводам
стражем ханжества,
центов
и сала,

пялит
руку
ваша свобода
иад тюрьмою
Элис-Айлаид.
1925

ВЫЗОВ

Горы злобы
аж иоги гиут.
Даже
шея вспухает зобом.
Лезет в рот,
в глаза и виутрь.
Оседая,
влезает злоба.
Весь в огие.
Стою на Риверсайде.
Сбоку
фордами
штурмуют мрака форт.
Небоскребы
локти скручивают сзади,
впереди
американский флот.
Я смеюсь
иад их атакою тройиою.
Ники Картеры
мою
недоглядели визу.
Я
полпред стиха —
и я
с моей страиой
вашим штатишкам
бросаю вызов.
Если
кроха протухла,
плéсиится,
выброс
весь
прогиивший кус.

Сплюнул я,
не доев н месяца
вашу доблесть,
законы,
вкус.
Посылаю к чертям свннячнм
все доллары
всех держав.
Мне бы
кончнть жизнь
в штанах,
в которых начал,
ннчего
за век свой
не стяжав.
Нам смешны
дозволенного зоны.
Взвод мужей,
остолбеней,
цннизмом поражен!
Мы целуем
— беззаконно! —
над Гудзоном
вашнх
длннноногнх жен.
День наш
шумен.
И вечер пышен.
Шлнте
сыщнков
в щелки слушать.
Пьем,
плюя
на ваш прогнбншен,
ежедневную
«Белую лошадь».
Вот и я
стнхом побрататься
прнкатнл н вбнваю мысли,
не боящнеся депортацнй:
нн сослать их нельзя
н не выселнть.

Мысль
смеияют слова,
а слова —
дела,
и глядишь,
с небоскребов города,
раскачав,
в мостовые
вбивают тела —
Ваидерлипов,
Рокфеллеров,
Фордов.
Но пока
доллар
всех поэм родовей.
Обирая,
лапя,
хапая,
выступает,
порфирой иадев Бродвей,
капитал —
его препохабие.
1925

100%

Шеры...
облигации...
доллары...
цеиты...
В виииицкой глуши тьмутаракаиясь,
так я рисовал,
вот так мие представлялся
стопроцеитный
американец.
Родила сыиа одна из жен.
Отвернув
пеленочный край,
акушер демонстрирует:
Джон как Джон.
Ол райт!
Девять фунтов,
глаза —
пятачки.

Ощерив зубовный ряд,
отец
протер
роговые очки:
Ол райт!
Очень прост
воспитанья вопрос.
Ползает,
лапы марает.
Лоб расквасил —
ол райт!
иос —
ол райт!
Отец говорит:
«Бездельник Джои.
Ни цента не заработал,
а гуляет!»
Мальчишка
Джон
выходит вон.
Ол райт!
Техас,
Калифорния,
Массачузэ́т.
Ходит
из края в край.
Есть хлеб —
ол райт!
нет —
ол райт!
Подрос,
поплевывает слюну.
Трубчонка
горит, не сгорает.
«Джои,
на пари,
пойдешь на луну?»
Ол райт!
Одну полюбил,
назвал дорогой.
В азарте
играет в рай.

Она изменила,
ушел к другой.
Ол райт!
Наследство Джону.
Расходов —
рой.
Миллион
растаял от трат.
Подсчитал,
улыбнулся —
найдем второй.
Ол райт!
Работа.
Хозяин —
лапчатый гусь —
обкрадывает
и обирает.
Джон
намотал
на бритый ус.
Ол райт!
Хозяин выгнал.
Ну, что ж!
Джон
рассчитаться рад.
Хозяин за кольт,
а Джон за нож.
Ол райт!
Джон
хозяйской пулей сражен.
Шепчутся:
«Умирает».
Джон услыхал,
усмехнулся Джон.
Ол райт!
Гроб.
Квадрат прокопали черный.
Земля —
как по крыше град.
Врыли.
Могильщик
вздохнул облегченно.
Ол райт!

Этих Джоиов
иету в Нью-Йорке.
Мистер Джон,
жена его
и кот
зажирелн,
спят
в своей квартириой норке,
просыпаясь
изредка
от собствеииых нкот.
Я разбезалаберный до крайности,
ио судьбе
не любящнй
учтиво кланяться,
я,
поэт,
и то амернканнстей
самого что нн на есть
амернканца.
1925

АМЕРИКАНСКИЕ РУССКИЕ

Петров
Капла́ном
за пуговицу пойман.
Штаиы
заплатаны,
как балканская карта.
«Я вам,
сэр,
назначаю апо́йнтман.
Вы знаете,
кажется,
мой апа́ртман?
Тудой пройдете четыре блока,
потом
сюдой дадите крен.
А если
стрнтка́ра набнта,
около

можете взять
подземный трен.
Возьмите
с меняньем пересядки тикет
и прите спокойно,
будто в телеге.
Слезете на ко́рнере
у дрогс лнкет,
а мне уж
и пинту
принес бутлегер.
Приходите ровно
в се́вен окло́к,—
поговорим
про новости в городе
и проведем
по-московски вечерок,—
одни свои:
жена да бо́рдер.
А с джабом завозитесь в течение дня
или
раздумаете вовсе —
тогда
обязательно
отзвоните меня.
Я буду
в о́фисе».
«Гуд бай!» —
разнеслось окре́ст
и кануло
ветру в свист.
Мистер Петров
пошел на Вест,
а мистер Каплан —
на Ист.
Здесь, извольте видеть, «джаб»,
а дома
«цуп» да «цус».
С насыпи
язык
летит на полном пуске.
Скоро
только очень образованный
француз

будет
кое-что
соображать по-русски.
Горланнт
по этой Америке самой
стоязыкнй
народ-оголтец.
Уж еслн
Одесса — Одесса-мама,
то Нью-Йорк —
Одесса-отец.
1925

БРУКЛИНСКИЙ МОСТ

Издай, Кули́дж,
радостный клич!
На хорошее
и мие ие жалко слов.
От похвал
красией,
как флага нашего матёрийка,
хоть вы
и разъюнайтед стетс
оф
Америка.
Как в церковь
идет
помешавшийся верующий,
как в скнт
удаляется,
строг и прост,—
так я
в вечерней
сереющей мереши
вхожу,
смнренный, на Бру́клиискнй мост.
Как в город
в сломаниый
прет победнтель
на пушках — жерлом
жирафу под рост —

так, пьяный славой,
так жить в аппетите,
влезаю,
гордый,
на Бруклинский мост.
Как глупый художник
в мадонну музея
воизает глаз свой,
влюблен и остр,
так я,
с поднебесья,
в звезды усеян,
смотрю
на Нью-Йорк
сквозь Бруклинский мост.
Нью-Йорк
до вечера тяжек
и душен,
забыл,
что тяжко ему
и высóко,
и только одни
домовьи души
встают
в прозрачном свечении óкон.
Здесь
еле зудит
элевейтеров зуд.
И только
по этому
тихому зуду
поймешь —
поездá
с дребезжаньем ползут,
как будто
в буфет убирают посуду.
Когда ж,
казалось, с-под речки нáчатой
развозит
с фабрики
сахар лавочник,—
то
под мостом проходящие мачты

размером
не больше размеров булавочных.
Я горд
вот этой
стальиою мнлей,
жнвьем в ней
мои видеиия встали —
борьба
за конструкцнн
вместо стилей,
расчет суровый
гаек
и стали.
Еслн
прндет
окончанне света —
плаиету
хаос
разделает в лоск,
и только
один останется
этот
иад пылью гибели вздыблеиный мост,
то,
как нз косточек,
тоиьше нголок,
тучиеют
в музеях стоя́щне
ящеры,
так
с этим мостом
столетий геолог
сумел
воссоздать бы
дии иастоящне.
Ои скажет:
— Вот эта
стальная лапа
соединияла
моря и прерии,
отсюда
Европа
рвалась на Запад,

пустив
по ветру
индейские перья.
Напомнит
машину
ребро вот это —
сообразите,
хватит рук ли,
чтоб, став
стальной ногой
на Маиге́теи,
к себе
за губу
притягивать Бру́клии?
По проводам
электрической пряди —
я знаю —
эпоха
после пара —
здесь
люди
уже
орали по радио,
здесь
люди
уже
взлетали по аэро.
Здесь
жизнь
была
одним — беззаботная,
другим —
голодный
протяжный вой.
Отсюда
безработные
в Гудзон
кидались
вниз головой.
И дальше
картина моя
без загвоздки

по струнам-канатам,
аж звездам к ногам.
Я вижу —
здесь
стоял Маяковский,
стоял
и стихи слагал по слогам.—
Смотрю,
как в поезд глядит эскимос,
впиваюсь,
как в ухо впивается клещ.
Бру́клинский мост —
да...
Это вещь!

1925

КЕМП «НИТ ГЕДАЙГЕ»

Запретить совсем бы
ночи-ягодяйке
выпускать
из пасти
столько звездных жал.
Я лежу,—
палатка
в Кемпе «Нит гедайге».
Не по мне все это.
Не к чему...
и жаль...
Взвоют
и замрут сирены над Гудзоном,
будто бы решают:
выть или не выть?
Лучше бы не выли.
Пассажирам сонным
надо просыпаться,
думать,
есть,
любить...
Прямо
перед мордой
пролетает вечность —

бесконечночасый распустила хвост.
Были б все одеты,
н в бельё, конечно,
если б время
ткало
не часы,
а холст.
Впречь бы это
время
в приводной бы ремень,—
спустят
с холостого —
и чешн и сыпь!
Чтобы
не часы показывали время,
а чтоб время
честно
двигало часы.
Ну, американец...
тоже...
чем гордится.
Втер очки Нью-Йорком.
Видели его.
Сотия этажнишек
в небо городится.
Этажи и крыши —
только и всего.
Нами
через пропасть
прямо к коммунизму
перекинут мост,
длиною —
во сто лет.
Что ж,
с мостища с этого
глядим с презреннем вниз мы?
Кверху нос задрали?
загордились?
Нет.
Мы
ничьей башки
мостами не морочим.

Что такое мост?
Приспособленье для простуд.
Тоже...
без домов
не проживете очеиь
на одиом
таком
возвышеиием мосту.
В мире социальном
те же иепорядки:
три доллара за́ день,
на —
и отвяжись.
А у Форда сколько?
Что играться в прятки!
Ну, скажите, Ку́лидж,—
разве это жизиь?
Миого ль
человеку
(даже Форду)
надо?
Форд —
в мильонах фордов,
сам же Форд —
в аршин.
Мистер Форд,
для вашего,
для высохшего зада
разве мало
двух
просторнейших машин?
Лишек —
в М. К. Х.
Повесим ваш портретик.
Монумеит
и то бы
вылепили с вас.
Клаиялись бы детки,
вас
случайно встретив.
Мистер Форд —
отдайте!
Даст ои...
Черта с два!

За палаткой
мир
лежит угрюм и темен.
Вдруг
ракетой сон
звенит в унынье в это:
«Мы смело в бой пойдем
за власть Советов...»
Ну, и сон приснит вам
полночь-ягодяйка!
Только сон ли это?
Слишком громок сон.
Это
комсомольцы
Кемпа «Нит гедайге»
песней
заставляют
плыть в Москву Гудзон.

20 сентября 1925 г. Нью-Йорк.

ДОМОЙ!

Уходите, мысли, восвояси.
Обнимись,
душ и моря глубь.
Тот,
кто постояиио ясеи,—
тот,
по-моему,
просто глуп.
Я в худшей каюте
из всех кают —
всю ночь надо мною
ногами куют.
Всю ночь,
покой потолка возмутив,
несется танец,
стонет мотив:
«Маркита,
Маркита,
Маркита моя,
зачем ты,
Маркита,
не любишь меня..."

ЧЕТЫРЕХЭТАЖНАЯ ХАЛТУРА

Тень подвалов тиражом беля,
залегает знание — и мышь
бегает
по книжным штабеля́м
жирная провинциалка —
мышь.
А читатели
сидят
в своей уездной яме,
иностранным упиваются,
мозги щадя.
В Африки
вослед за Бенуа́мн
улетают
на своих жилплощадях.
Званье
— «пролетарские» —
нося как эполеты,
без ошибок
с Пушкина
списав про вёсны,
выступают
пролетарские поэты,
развернув
рулоны строф повёрстных.
Чем вы — пролетарий,
уважаемый поэт?
Вы
с богемой слились
9 лет назад.
Ну, скажите,
уважаемый пролет,—
вы давно
днпаму
видели в глаза?
— Извините
нас,
сермяжных,
за стишонок неудачненький.
Не хотите
под гармошку поплясать ли? —
Это,
в лапти нарядившись,
выступают дачники

под заглавием
— крестьянскне пнсателн.
О, сколько нудн такой городнмо,
от которой
мухн падают замертво!
Чего только стонт
один Раднмов
с греко-рязанским своим гекзаметром!
Разлуинвши
лысины лачкй,
убежденно
взявшн
ручку в ручкн,
бороденок
теребя пучки,
честно
пишут про Октябрь
попутчики.
Раньше
маленьким казался н Лесков —
рядышком с Толстым
почтн не виден.
Ну, скажнте мне,
в какой же телескоп
в те недели
был бы виден Ландии?!
— На Руси
одио веселье —
пнти... —
А к питью
подай краюху
н кусочек сыру.
И орут пнсателн
до хрнпоты
о быте,
увлекаясь
бытом
госнздатовскнх кассиров.
Варят чепуху
под клубы
трубочного дыма —

всякую уху
сожрет
читатель-Фока.
А неписанная жизнь
проходит
мимо
улицею фыркающих о́кон.
А вокруг
скачут критики
в мыле и пене:
— Здорово пишут писатели, братцы!
— Гений-Казин,
Санников-гений...
Все замечательно!
Рады стараться! —
С молотка
литература пущена.
Где вы,
сеятели правды
или звезд сиятели?
Лишь в четыре этажа халтурщина:
Гиза,
критика,
читаки
и писателя.
Ныиче
стала
зелень веток в редкость,
гол
литературы ствол.
Чтобы стать
поэту крепкой веткой —
выкрепите мастерство!

1926

РАЗГОВОР С ФИНИНСПЕКТОРОМ О ПОЭЗИИ

Гражданин фининспектор!
Простите за беспокойство.
Спасибо...
не тревожьтесь...
я постою...

У меня к вам
дело
деликатного свойства:
о месте
поэта
в рабочем строю.
В ряду
имеющих
лабазы и угодья
и я обложен
и должен караться.
Вы требуете
с меня
пятьсот в полугодие
и двадцать пять
за неподачу деклараций.
Труд мой
любому
труду
родствен.
Взгляните —
сколько я потерял,
какие
издержки
в моем производстве
и сколько тратится
на материал.
Вам,
конечно, известно явление «рифмы».
Скажем,
строчка
окончилась словом
«отца»,
и тогда
через строчку,
слога повторив, мы
ставим
какое-нибудь:
ламцадрица-ца́.
Говоря по-вашему,
рифма —
вексель.

Учесть через строчку! —
вот распоряженне.
И нщешь
мелочншку суффнксов и флексней
в пустующей кассе
склоненнй
н спряженнй.
Начнешь это
слово
в строчку всовывать,
а оно не лезет —
нажал н сломал.
Гражданнн фнннспектор,
честное слово,
поэту
в копеечку влетают слова.
Говоря по-нашему,
рнфма —
бочка.
Бочка с днпамнтом.
Строчка —
фнтнль.
Строка додымнт,
взрывается строчка,—
н город
на воздух
строфой летнт.
Где найдешь,
на какой тарнф,
рифмы,
чтоб враз убнвалн, нацелясь?
Может,
пяток
небывалых рнфм
только н остался
что в Венецуэле.
И тянет
меня
в холода н в зной.
Бросаюсь,
опутан в авансы н в займы я.
Гражданнн,
учтите билет проездной!

— Поэзия
— вся! —
езда в иезиаемое.
Поэзия —
та же добыча радия.
В грамм добыча,
в год труды.
Изводишь
едииого слова ради
тысячи тоии
словесиой руды.
Но как
испепеляюще
слов этих жжеиие
рядом
с тлеиием
слова-сырца.
Эти слова
приводят в движеиие
тысячи лет
миллиоиов сердца.
Коиечно,
различиы поэтов сорта.
У скольких поэтов
легкость руки!
Тяиет,
как фокусиик,
строчку изо рта
и у себя
и у других.
Что говорить
о лирических кастратах?!
Строчку
чужую
вставит — и рад.
Это
обычиое
воровство и растрата
среди охвативших страну растрат.
Эти
сегодия
стихи и оды,

в аплодисментах
ревомые ревмя,
войдут
в историю
как накладные расходы
на сделанное
нами —
двумя нлн тремя.
Пуд,
как говорнтся,
соли столовой
съешь
и сотней папирос клубн,
чтобы
добыть
драгоценное слово
из артезианскнх
людскнх глубнн.
И сразу
нпже
налога рост.
Скпньте
с обложенья
нуля колесо!
Рубль девяносто
сотня папирос,
рубль шестьдесят
столовая соль.
В вашей анкете
вопросов масса:
— Былн выезды?
Илн выездов нет? —
А что,
если я
десяток пегасов
загнал
за последнне
15 лет?!
У вас —
в мое положенне войдпте —
про слуг
и имущество
с этого угла.

А что,
если я
народа водитель
и одиовремéиио —
народиый слуга?
Класс
гласит
из слова из нашего,
а мы,
пролетарии,
двигатели пера.
Машииу
души
с годами изиашиваешь.
Говорят:
— в архив,
исписался,
пора! —
Все меиьше любится,
все меиьше дерзается,
и лоб мой
время
с разбега крушйт.
Приходит
страшиейшая из амортизаций —
амортизация
сердца и души.
И когда
это солице
разжиревшим боровом
взойдет
иад грядущим
без иищих и калек,—
я
уже
сгиию,
умерший под забором,
рядом
с десятком
моих коллег.

Подведнте
мой
посмертный баланс!
Я утверждаю
н — знаю — не налгу:
на фоне
сегодняшних
дельцов и прола́в
я буду
— один! —
в непролазном долгу.
Долг наш —
реветь
медногорлой сиреной
в тумане мещанья,
у бурь в кипенье.
Поэт
всегда
должник вселенной,
платящий
на го́ре
проценты
и пени.
Я
в долгу
перед Бродвейской лампионней,
перед вами,
багдадские небеса,
перед Красной Армией,
перед вишнями Японии —
перед всем,
про что
не успел написать.
А зачем
вообще
эта шапка Сене?
Чтобы — целься рифмой —
и ритмом ярись?
Слово поэта —
ваше воскресенье,
ваше бессмертье,
гражданин канцелярист.

Через столетья
в бумажиой раме
возьми строку
и время верии!
И встаиет
деиь этот
с фиииспекторами,
с блеском чудес
и с воиью чериил.
Сегодияшиих дией убеждеиный житель,
выправьте
в эикапеэс
иа бессмертье билет
и, высчитав
действие стихов,
разложите
заработок мой
иа триста лет!
Но сила поэта
ие только в этом,
что, вас
вспомииая,
в грядущем икиут.
Нет!
И сегодия
рифма поэта —
ласка
и лозуиг,
и штык,
и киут.
Граждаиии фиииспектор,
я выплачу пять,
все
иули
у цифры скрестя!
Я
по праву
требую пядь
в ряду
бедиейших
рабочих и крестьяи.

А если
вам кажется,
что всего дело́в —
это пользоваться
чужими словесами,
то вот вам,
товарищи,
мое стило́,
и можете
писать
сами!

1926

ПЕРЕДОВАЯ ПЕРЕДОВОГО

Довольно
соннои,
расслаблениой праздности!
Довольно
козыряньа
в тысячи рук!
Республика искусства
в смертельной опасности —
в опасности краска,
слово,
звук.
Громы
важаты
у слова в кулаке,—
а слово
зовется
только с тем,
чтоб клаиялось
событью
слово-лакей,
чтоб слово плелось
у статей в хвосте.
Брось дрожать
за шкуры скряжьи!
Вперед забегайте,
не боясь суда!
Зовите рукой
с грядущих кряжей:

«Пролетарий,
сюда!»
Полезли
одиночки
из миллионной давки —
такого, мол,
другого
не увидишь в жисть.
Каждый
рад
подставить бородавки
под увековечливую
ахровскую кисть.
Виовь
своя рубаха
ближе к телу?
А в нашей работе
то и ново,
что в громаде,
класс которую сделал,
не важно
сделанное
Петровым и Ивановым.
Разнообразны
души наши.
Для боя — гром,
для кровати —
шепот.
А у нас
для любви и для боя —
марши.
Извольте
под марш
к любимой шлепать!
Почему
теперь
про чужое поем,
изъясняемся
ариями
Альфреда и Травиаты?
И любви
придумаем
слово свое,

нз сердца сделанное,
а не нз ваты.
В годы голода,
стужн-злюки
разве
филармоннн нграли окрест?
Нет,
свон,
баррнкадные звуки
нашел
гудков
медногорлый оркестр.
Старью
революцией
поставлена точка.
Живите под охраной
музейных оград.
Но мы
не предаднм
кустарям-одночкам
нн лозунг,
ни сирену,
нн киноаппарат.
Наша
в коммуну
не нссякнет вера.
Во нмя коммуны
жмнсь н мнись.
Каждое
сегодняшнее дело
меряй,
как шаг
в электрнческнй,
в машннный коммуннзм.
Довольно домашней,
кустарной праздностн!
Довольно
нзделнй ловкнх рук!
Федерацня муз
в смертельной опасностн —
в опасностн слово,
краска
н звук.

1926

ВЗЯТОЧНИКИ

Дверь. На дверн —
«Нельзя без доклада».
Под Марксом,
в кресло вкресленный,
с высокнм окладом,
высок н гладок,
сндит
облеченный ответственный.
На нем
контрабандный подарок — жилет,
в кармане —
ручка на страже,
в другом
уголочком торчит билет
с длиннющим
подчищенным стажем.
Весь день —
сплошная работа уму.
На лбу —
непролазная дума:
кому
ему
устронть куму,
кому прнспособнть кума?
Он всюду
прнстронл
мелкую сошку,
везде
у него
по лазутчику.
Он знает,
кому подставнть ножку
н где
нметь заручку.
Каждый на месте:
невеста —
в тресте,
кум —
в Гум,
брат —
в наркомат.

Все шире пернферия родных,
н
в ведомостичках узкнх
не вместншь
всех сортов наградных —
спецставки,
тантьемы,
нагрузкн!
Он спецналнст,
но особого рода:
он
в слове
мнстнку стер.
Он понял буквально
«братство народов»
как счастье братьев,
тёть
и сестер.
Он думает:
как сократнть ему штаты?
У Кэт
не глаза, а углн...
А может быть,
место
оставнть для Наты?
У Наты формы округлей.
А там
в приемной —
сдержанный гул,
н воздух от дыма спирается.
Ответственный жмет плечьмн:
— Не могу!
Нормально...
Дела разбнраются!
Зайднте еще
через день-другой...—
Но дней не дождаться жданных.
Напрасно
проснтель
согнулся дугой.
— Нельзя...
Не нмеется данных! —

Пока поймет!
Обшаркав паркет,
порывшись в своих чемодаиах,
проситель
кладет иа сукоице пакет
с листами
иовейших даиых.
Простился.
Ладоиью пакет заслоия
— взрумянились щеки-поичики,—
со сладострастием,
пальцы слюня,
мерзавец
считает червоичики.
А давший
по учрежденью орет,
от правильиой гневиости красеи:
— Подать резолюцию! —
И в разворот
— во весь!—
иа бумаге:
«Согласеи»!
Ответственный
мчит
в какой-то подъезд.
Машину оставил
по праву.
Ответствениый
ужии с любовиицей ест,
ответствеииый
хлещет «Абрау».
Любовиицу щиплет,
весел и хитр.
— Вот это
подарочки Сонечке:
Вот это, Соиечка,
вам на духи.
Вот это
вам на кальсоичики...—
Такому
в краже рабочих тыщ
для ширмы октябрьское зарево.

Он к нам пришел,
чтоб советскую нищь
на кабаки разбазарнивать.
Я
белому
руку, пожалуй, дам,
пожму, не побрезгав ею.
Я лишь усмехнусь:
— А здорово вам
нашн
намылнли шею! —
Укравшему хлеб
не потребуешь кар.
Возможно
простнть н убнйце.
Быть может, больной,
сумасшедшнй угар
в душе
у него
клубится.
Но если
скравшнй
этот вот рубль
ладонью
ладонь мою тронет,
я, руку помыв,
кнрпичом ототру
поганую кожу с ладони.
Мы белым
едва обломалн рога;
хромает
пока что
одна нога,—
для нас,
полусытых и латочных,
страшней
н гаже
любого врага
взяточнпк.
Железный лозунг
партней дан.
Он нам
недешево дался!

Долой присосавшихся
к нашим
рядам
и тех,
кто к грошам
присосался!
Нам строиться надо
в гигантский рост,
ио эти
обсели кассы.
Каленым железом
выжжет нарост
партия
и рабочие массы.

1926

В ПОВЕСТКУ ДНЯ

Ставка на вас,
комсомольцы-товарищи,—
на вас,
грядущее творящих!
Петь
заставьте
быт тарабарящий!
Расчистьте
квартириый ящик!
За десять лет —
устаиешь бороться,—
расшатаиы
— миогие! —
тряской.
Заплыло
тииой
быта болотце,
покрылось
будиичиой ряской.
Мы так же
сердца иаши
ревностью жжем—
и суд иаш
по-старому скорый:

мы
часто
нагаиом
и финским иожом
решаем —
любовные споры.
Нет, взвидя,
что есть
любовиая ржа,
что каши вдвоем
ие сварншь,—
ты зубы стисиь
и, руку пожав,
скажи:
— Прощевай, товарищ! —
У скольких
мечта:
«Квартирку б виаем!
Свои суидуки
да клети!
И угол мой
и хозяйство мое —
н мой
иа стеие
портретнк».
Не иаше счастье —
счастье вдвоем!
С классом
спаяйся четко!
Коммуна:
все, что мое,—
твое,
кроме —
зубиых щеток.
И мы
по-прежиему,
если радостио,
по-прежиему,
если горе иам —
мы
топим горе в сорокаградусиой
н празднуем
радость
трехгориым.

Питье
иа песии б вымеиять нам.
Такую
сделай, хоть тресии!
Чтоб пеиистей пива,
чтоб крепче вииа
хватали
за душу
песии.

Гуляя,
работая,
к любимой льня,—
думай о коммуне,
быть или не быть ей?!
В порядок
этого
майского дня
поставьте
вопрос о быте.
1926

ПРОТЕКЦИЯ

Обывателиада в 3-х частях

1

Обыватель Михин —
друг дворничихии.
Двориик Службии
с Фелицией в дружбе.
У тети Фелиции
лицо в милиции.
Квартхоз милиции
Федор Овечко
имеет
в совете
иужного человечка.
Чии лица
не упомиишь иикак:

главшвейцар
или помистопиика.
А этому чину
домами знакома
мамаша
машинистки секретаря райкома.
У дочки ее
большущие связи:
друг во ВЦИКе
(шофер в автобазе!),
а Петров, говорят,
развозит мужчину,
о котором
все говорят шепоточком,—
маленького роста,
огромиого чина.
Словом —
ои...
Не решаюсь...
Точка.

2

Тихий Михин
пойдет к двориичихе.
«Прошу покориеиько,
попросите двориика».
Двориик стукиется
к тетке заступиице.
Тетка Фелиция
шушукиет в милиции.
Квартхоз Овечко
замолвит словечко.
А главшвейцар —
Да Виичи с лица,
весь в бороде,
как картина в раме,—
прямо
пойдет
к машиисткиной маме.
Просьбу
дочь
предает огласке:

глазки да ласки,
ласки да глазки...
Кого не ловили на такую аферу?
Куда ж удержаться простаку-шоферу!
Петров подождет,
покамест,
как солнце,
персонье лицо расперсоннтся:
— Простите, товарищ,
извиненнй тысячка...—
И просит
и молит, ласковей лани.
И чин снисходит:
— Вот вам записочка.—
А в записке —
исполненне всех желаний.

3

А попробуй —
полазий
без родствеииых связей!
Покроют дворнпки
словом черненькнм.
Обложит белолицая
тетя Фелнция.
Подверится иога,
перервутся иервы
у взвндевшнх наган
и усы мнлицнонеровы.
В швейцарской судачат:
— И не лезь к совету:
все на даче,
никого нету.—
И мама сама
и днтя-машннистка,
иевинность блюдя,
не допустят блнзко.
А разных главных
иеуловимо
шоферы
возят и возят мимо.

Не ухватишь —
скользкие,—
не люди, а налимы.
«Без доклада воспрещается».
Куда ни глянь,
«И пойдут они, солнцем палимы,
И застонут...».
Дело дрянь!
Кто бы ни были
сему виновниками
— сошка маленькая
или крупный кит,—
разорвем
сплетенную чиновниками
паутину кумовства,
протекций,
1926 волокит.

ЛЮБОВЬ

Мир
опять
цветами оброс,
у мира
весенний вид.
И вновь
встает
нерешеный вопрос —
о женщинах
и о любви.
Мы любим парад,
нарядную песню.
Говорим красиво,
выходя на митинг.
Но часто
под этим,
покрытый плесенью,
старенький-старенький бытик.
Поет на собранье:
«Вперед, товарищи...»
А дома,
забыв об арии сольной,
орет на жену,
что щи не в наваре

и что
огурцы
плоховато просолены.
Живет с другой —
киоск в ширину,
бельем —
шантанная дива.
Но тоиким чулком
попрекает жеиу:
— Компрометируешь
пред коллективом.—
То лезут к любой,
была бы с иогами.
Пять баб
перемеиит
в течеине суток.
У нас, мол,
свобода,
а ие моиогамия.
Долой мещаиство
и предрассудок!
С цветка иа цветок
молодым стрекозлом
порхает,
летает
и мечется.
Одио ему
в мире
кажется злом —
это
алимеитщица.
Он рад умереть,
экономя треть,
три года
судиться рад:
и я, мол, не я,
и она не моя,
и я вообще
кастрат.
А любят,
так будь
монашеикой вериой —

тиранит
ревиостью
всякий пустяк
и мерит
любовь
на калибр револьвериый,
неверной
в затылок
пулю пустя.
Четвертый —
герой десятка сражеиий,
а так,
что любо-дорого,
бежит
в перепуге
от туфли жениной,
простой туфли Мосторга.
А другой
стрелу любви
иначе метит,
путает
— ребенок этакий —
уловленье
любимой
в романические сети
с повышеньем
подчинеиной по тарифиой
сетке...
По женской линии
тоже вам не райские скинии.
Простенького паренька
подцепила
барынька.
Он работать,
а ее
не удержать никак —
бегает за клёшем
каждого бульвариика.
Что ж,
сиди
и в плаче
Нилом иилься.
Ишь! —
Жеиих!

— Для кого ж я, милые, женился?
Для себя —
или для них? —
У родителей
и дети этакого сорта:
— Что родители?
И мы
ие хуже, мол! —
Заиимаются
любовью в виде спорта,
ие успев
вписаться в комсомол.
И дальше,
к деревие,
быт без движеньица —
живут, как и раиьше,
из года в год.
Вот так же
замуж выходят
и жеиятся,
как покупают
рабочий скот.
Если будет
длиться так
за годом годик,
то,
скажу вам прямо,
ие сумеет
разобрать
и брачиый кодекс,
где отец и дочь,
который сыи и мама.
Я ие за семью.
В огие
и в дыме сиием
выгори
и этого старья кусок,
где шипели
матери-гусыни
и детей
стерег
— отец-гусак!

Нет.
Но мы живем коммуиой
плотио,
в общежитиях
грязиеет кожа тел.
Надо
голос
подымать за чистоплотиость
отиошеиий иаших
и любовиых дел.
Не отвиливай —
мол, я ие веичаи.
Нас
ие поп скрепляет тарабарящнй.
Надо
обвязать
и жизиь мужчин и жеищии
словом,
иас объединяющнм:
«Товарищи».

1926

ПОСЛАНИЕ ПРОЛЕТАРСКИМ ПОЭТАМ

Товарищи,
позвольте
без позы,
без маски —
как старший товарищ,
иеглупый и чуткий,
поразговариваю с вами,
товарищ Безымеиский,
товарищ Светлов,
товарищ Уткии.
Мы спорим,
аж глотки просят лужеиия,
мы
задыхаемся
от эстрадиых побед,
а у меня к вам, товарищи,
деловое предложеиие:

давайте
устроим
веселый обед!
Расстелим виизу
комплименты ковровые,
если зуб на кого —
отпилим зуб;
розданные
Луначарским
веики лавровые —
сложим
в общий
товарищеский суп.
Решим,
что все
по-своему правы.
Каждый поет
по своему
голоску!
Разрежем
общую курицу славы
и каждому
выдадим
по равиому куску.
Бросим
друг другу
шпильки подсовывать,
разведем
изыскаииый
словесиый ажур.
А когда мие
товарищи
предоставят слово —
я это слово возьму
и скажу:
— Я кажусь вам
академиком
с большим задом,
одии, мол, я
жрец
поэзий иепролазиых.

А мне
в действнтельности
единственное надо —
чтоб больше поэтов
хорошнх
н разных.
Многне
пользуются
напóстовской тряскою,
с тем
чтоб себя
обозвать получше.
— Мы, мол, еднистенные,
мы пролетарскне...—
А я, по-вашему, что —
валютчнк?
Я
по существу
мастеровой, братцы,
не люблю я
этой
фнлософни нýдовой.
Засучу рукавчнкн:
работать?
драться?
Сделай одолженне,
а нý, давай!
Есть
перед намн
огромная работа —
каждому человеку
нужное стнхачество.
Давайте работать
до седьмого пота
над поднятием количества,
над улучшением качества.
Я меряю
по коммуне
стнхов сорта,
в коммуну
душа
потому влюблена,

что коммуна,
по-моему,
огромная высота,
что коммуна,
по-моему,
глубочайшая глубина.
А в поэзни
нет
нн друзей,
нн родных,
по протекцни
не свяжешь
рифм лычкй.
Оставнм
распределенне
орденов и наградных,
броснм, товарнщи,
наклеивать ярлычки.
Не хочу
похвастать
мыслью новенькой,
но по-моему —
утверждаю без авторской спеси —
коммуна —
это место,
где исчезнут чиновники
н где будет
много
стнхов и песен.
Стоит
нзумнться
рнфмочек парой нам —
мы
почнтаем поэтика гением.
Одного
называют
красным Байроном,
другого —
самым красным Гейнем.
Одного боюсь —
за вас н сам,—
чтоб не обмелелн
нашн душн,

чтоб мы
не возвели
в коммунистический сан
плоскость раешников
и еруиду частушек.
Мы духом одно,
поиимаете сами:
по лиини сердца
нет раздела.
Если
вы ие за нас,
а мы
не с вами,
то черта ль
нам
остается делать?
А если я
вас
когда-нибудь крою
и иа вас
замахивается
перо-рука,
то я, как говорится,
добыл это кровью,
я
больше вашего
рифмы строгал.
Товарищи,
бросим
замашки торгашьи
— моя, мол, поэзия —
мой лабаз! —
всё, что я сделал,
все это ваше —
рифмы,
темы,
дикция,
бас!
Что может быть
капризней славы
и пепельией?

В гроб, что ли,
брать,
когда умру?
Наплевать мне, товарищи,
в высшей степеии
на деньги,
иа славу
и на прочую муру!
Чем иам
делить
поэтическую власть,
сгрудим
иежиость слов
и слова-бнчи,
и давайте
без завистей
и без фамилий
класть
в коммуиову стройку
слова-кирпичи.
Давайте,
товарищи,
шагать в иогу.
Нам ие надо
брюзжащего
лысого парика!
А ругаться захочется —
врагов миого
по другую стороиу
красных баррикад.

1926

ФАБРИКА БЮРОКРАТОВ

Его прислали
для проведеиья режима.
Средиих способиостей.
Средиих лет.
В мыслях — планы.
В сердце — решимость.
В кармаие — перо
и партбилет.
Ходит,
распоряжается эиергичным жестом.

Видно —
занимается новая эра!
Сам совался в каждое место,
всех переглядел —
от зава до курьера.
Внимательный
к самым мельчайшим крохам,
вздувает
сердечный пыл...
Но бьются
слова,
как об стену горохом,
об —
канцелярские лбы.
А что канцелярии?
Внимает, мошенница!
Горите
хоть солнца ярче,—
она
уложит
весь пыл в отношеньица,
в анкетку
и в циркулярчик.
Бумажку
встречать
с отвращением нужно.
А лишь
увлечешься ею,—
то через день
голова заталмужена
в бумажную ахинею.
Перепишут всё
и, канителью исходящей нитясь,
на доклады
с папками идут:
— Подпишитесь тут!
Да тут вот подмахнитесь!..
И вот тут, пожалуйста!..
И тут!..
И тут!..—
Пыл
в чернила уплыл
без следа.

Пред
в бумагу
всосался, как клещ...
Среда —
это
паршнвая вещь!!
Глядел,
лицом
белее мела,
сквозь канцелярский мрак.
Катился пот,
перо скрипело,
рука свелась
и вновь корпела,—
но без конца
громадой белой
росла
гора бумаг.
Что угодно
подписью подляпает,
н не разберясь:
куда,
зачем,
кого?
Собствеиную
тетушку
назначнт римской папою.
Сам себе
подпншет
смертный прнговóр.
Совести
партнйной
слабенькне писки
ваглушает
с днямн
нсходящий груэ.
Раскуснл чнновник
пафос перепнскн,
облнзнулся,
въелся
и — вошел во вкус.

лошади Петра Великого,
от пыли дорожной
до гор,
где гро́зы
гремят,
грома потрясав,—
везде
отрывки стихов и прозы,
фамилии
и адреса.
«Здесь были Соня и Ваня Хайлов.
Семейство ело и отдыхало».
«Коля и Зина
соединили души».
Стрела
и сердце
в виде груши.
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Комсомолец Петр Парулайтис».
«Мусью Гога,
парикмахер из Таганрога».
На кипарисе,
стоящем века,
весь алфавит:
а б в г д е ж з к.
А у этого
от лазанья
талант иссяк.
Превыше орлиных зон
просто и мило:
«Исак
Лебензон».
Особенно
людей
винить не будем.
Таким нельзя
без фамилий и дат!
Всю жизнь канцелярствовали,
привыкли люди.
Они
и на скалу
глядят, как на мандат.

Такому,
глядящему
за чаем
с балконца
как солице
садится в чаще,
ии восход,
ии закат,
а даже солнце —
входящее
и исходящее.
Эх!
Поставь меия
часок
иа место Рыкова,
я б
к весие
декрет железиый выковал:
«По фамилиям
иа ствола́х и ска́лах
узиать
подписавшихся малых.
Каждому
в лапки
дать по тряпке.
За спину ведра —
и марш бодро!
Подписавшимся
и Колям
и Зинам
собствеиные имеиа
стирать бензиием.
А чтоб эиергия
ие пропадала даром,
кстати и Ай-Петри
почистить скипидаром.
А кто
до того
к подписям привык,
что сиова
к скале полез,—

у этого
навсегда
закрывается лик-
без». -

Под декретом подпись
и росчерк броский —
Владимир Маяковский.

1926
Ялта, Симферополь, Гурзуф, Алупка

ХУЛИГАН

Республика наша в опасности.
В дверь
лезет
немыслимый зверь.
Морда матовым рыком гулка́,
лапы —
в кулаках.
Безмозглый,
и две ноги для ляганий,
вот — портрет хулиганий.
Матроска в полоску,
словно леса́.
Из этих лесов
глядят телеса.
Чтоб замаскировать рыло мандрилье,
шерсть
аккуратно
сбрил на рыле.
Хлопья пудры
(«Лебяжьего пуха»!),
бабочка-галстук
от уха до уха.
Души не имеется.
(Выдумка бар!)
В груди —
пивной
и водочный пар.
Обутые лодочкой
качает ноги водочкой.

Что нн шаг —
враг.
— Вдрызг фонарь,
враги — фонарн.
Мие темно,
так никто не гори.
Враг — дверь,
враг — дом,
враг —
всяк,
живущий трудом.
Враг — чнтальня.
Враг — клуб.
Глупейте все,
если я глуп! —
Ремеиь в ручище,
н иа нем
повисла гиря кистенем.
Взмахнет,
н гиря вертится,—
а ну —
попробуй встретиться!
По переулочкам — луна.
Идет одиа.
Она юна.
— Хорошенькая!
(За́ косу.)
Обкрутимся без загсу! —
Нкто ие услышнт,
иапрасно орет
вонючей ладонью зажатый рот.
— Не нас контрапупят —
не наше дело!
Бежим, ребята,
чтоб нам не влетело! —
Луна
в испуге
за тучу пятится
от рваиой груды
мяса и платьнца.
А в ближней пивной
веселье неистовое.

Парень
пнво глушит
и посвистывает.
Поймалн пария.
Парня — в суд.
У защиты
словесный зуд:
— Конечио,
от парня
уйма вреда,
но кто виноват?—
Среда.
В ием
снлу сдержнвать
нет моготы.
Он — русскнй.
Он —
богатырь!
— Добрыия Нпкитич!
Будьте добры,
не трогайте этнх Добрыиь! —
Баитиком
губкн
сложнл подсудимый.
Прислушивается
к речн зудимой.
Сндит
смнрией н краше,
чем сахариый барашек.
И припаяет судья
(сердобольио)
«4 месяца».
Довольно!
Разве
зверю,
который взбесится,
дают
иа поправку
4 месяца?
Деревию — на сход!
Соберн
и при ней
словамн прожгн парией!

Гуди,
н чтоб каждый завод гудел
об этой
последней беде.
А кто
словам не умнлнтся,
тому
агитатор —
шашка милицнн.
Решнмость
и днсцнплнна,
пружннь
тело рабочих дружин!
Чтоб, если
возьмешь за воротннк,
хулнган раскнс н снпк.
Когда
у больного
рука гнпет —
не надо жалеть ее.
Пора
топором закона
отсечь
гнилые
дела и речь!

1926

ХУЛИГАН

Ливень докладов.
Преете?
Прей!
А под клубом,
гармошкой изóранные,
в клубах табачных
шнпит «Левенбрей»,
в белой пене
прнбоем
трехгорное...
Еле в стул вмещается парень.
Одпн кулак —
четыре кило.

Парень взвинчен.
Парень распарен.
Волос взъерошенный.
Нос лилов.
Мало парню такому доклада.
Парню —
слово душевное нужно.
Парню
силу выхлестнуть надо.
Парню надо...
— новую дюжину!
Парень выходит.
Как в бурю на катере.
Тесен фарватер.
Тело намокло.
Парнем разосланы
к чертовой матери
бабы,
деревья,
фонарные стекла.
Смотрит —
кому бы заехать в ухо?
Что башка не придумает дурья?!
Бомба
из безобразий и ухарств,
дурости,
пива
и бескультурья.
Так, сквозь песни о будущем рае,
только солнце спрячется, канув,
тянутся
к центру огней
от окраин
драка,
муть
и ругня хулиганов.
Надо
в упор им —
рабочьи дружины,
надо,
чтоб их
судом обломало,

в спорт
перелить
мускулья пружины,—
надо и иадо,
ио этого мало...
Суд ие скрутит —
иабрать имеи
и раструбить
в молве многогласой,
чтоб иа лбу горело клеймо:
«Выродок рабочего класса».
А главиое — помиить,
что иаше тело
дышит
ие только тем, что скушаио;
иадо —
рабочей культуры дело
делать так,
чтоб ие было скушио.

1926

РАЗГОВОР НА ОДЕССКОМ РЕЙДЕ ДЕСАНТНЫХ СУДОВ: «СОВЕТСКИЙ ДАГЕСТАН» И «КРАСНАЯ АБХАЗИЯ»

Перья-облака́,
закат раскаиарейте!
Опускайся,
южиой иочи гиет!
Пара
пароходов
говорит иа рейде:
то одии моргиет,
а то
другой моргиет.
Что сигиалят?
Напрягаю я
морщииы лба.
Красиый раз...
угаснет,
и зелеиый...

Может быть,
любовная мольба.
Может быть,
ревнует разозленный.
Может, просит:
«Красная Абхазия»!
Говорит
«Советский Дагестан».
Я устал,
один по морю лазая,
подойди сюда
и рядом стань.—
Но в ответ
коварная
она:
— Как-нибудь
одни
живи и грейся.
Я
теперь
по мачты влюблена
в серый «Коминтерн»,
трехтрубный крейсер.
— Все вы,
бабы,
трясогузки и канальи...
Что ей крейсер,
дылда и пачкун?—
Поскулил
и снова засигналил:
— Кто-нибудь,
пришлите табачку!..
Скучно здесь,
нехорошо
и мокро.
Здесь
от скуки
отсыреет и броня...—
Дремлет мир,
на Черноморский округ
синь-слезищу
морем оброня.

1926

ПИСЬМО ПИСАТЕЛЯ ВЛАДИМИРА ВЛАДИМИРОВИЧА МАЯКОВСКОГО ПИСАТЕЛЮ АЛЕКСЕЮ МАКСИМОВИЧУ ГОРЬКОМУ

Алексей Максимовнч,
как помню,
между нами
что-то вышло
вроде драки
нлн ссоры.
Я ушел,
блестя
потертымн штанами;
взялн Вас
международные рессоры.
Нынче —
йначе.
Сед височный блеск,
н взоры озарённей.
Я не лезу
нн с моралью,
ни в спасателн,
без нронни,
как пнсатель
говорю с писателем.
Очень жалко мне, товарнщ Горькнй,
что не видно
Вас
на стройке наших дней.
Думаете —
с Капри,
с горкн
Вам внднеи?
Вы
н Луначарскнй —
похвалы повальные,
добрякн,
а пишущнй
бесстыж —

тычет
целый день
свои
похвальные
листы.
Что годится,
чем гордиться?
Продают «Цемент»
со всех лотков.
Вы
такую книгу, что ли, цените?
Нет нигде цемента,
а Гладков
написал
благодарственный молебен о цементе.
Затыкаешь ноздри,
нос наморщишь
и идешь
верстой болотца длинненького.
Кстати,
говорят,
что Вы открыли мощи
этого...
Калинникова.
Мало знать
чистописаниев ремёсла,
расписать закат
или цветенье редьки.
Вот
когда
к ребру душа примерзла,
ты
ее попробуй отогреть-ка!
Жизнь стиха —
тоже тиха.
Что горенья?
Даже
нет и тленья
в их стихе
холодном
и лядащем.

Все
входящие
срифмуют впечатлеиия
и печатают
в журиале
в исходящем.
А рядом
молотобойцев
аиáпестам
учит
профессор Шенгéли.
Тут
ие поймете просто-иапросто,
в гимиазии вы,
в шиике ли?
Алексей Максимович,
у Вас
в Италии
Вы
когда-иибудь
подобиое
видали?
Приспособлеииость
и ласковость дворовой,
деятельиость
блюдо-рубле- и тому подобных «лиз»
иазывают миогие
— «здоровый
реализм».—
И мы реалисты,
ио ие иа подиожиом
корму,
ие с мордой, упершейся вииз,—
мы в иовом,
грядущем быту,
помиожением
иа электричество
и коммуиизм.
Одии мы,
как ии хвали́те халтуры,
ио, годы иа спиины грузя,
тащим
историю литературы —

лишь мы
и наши друзья.
Мы не ласкаем
ни глаза,
ни слуха.
Мы —
это Леф,
без истерики —
мы
по чертежам
деловито
и сухо
строим
завтрашний мир.
Друзья —
поэты рабочего класса.
Их знание
невелико́,
но врезал
инстинкт
в оркестр разногласый
буквы
грядущих веков.
Горько
думать им
о Горьком-эмиграите.
Оправдайтесь,
гряньте!
Я знаю —
Вас ценит
и власть
и партия,
Вам дали б всё —
от любви
до квартир.
Прозаики
сели
пред Вами
на парте б:
— Учи!
Верти!—

Илн жнть вам,
как жнвет Шаляпнн,
раздушеннымн аплоднсментамн оляпан?
Вернись
теперь
такой артнст
иазад
на русские рублнкн —
я первый крнкну:
— Обратно катнсь,
иародный артист Республнки!—
Алексей Максимыч,
нз-за Вашнх стекол
видеи
Вам
еще
парящнй сокол?
Илн
с Вамн
началн дружнть
по саду
ползущне ужи?
Говорнлн
(объясненья ходкне!),
будто
Вы
не едете нз-за чахоткн.
И Вы
в Европе,
где каждый нз граждан
смердит покоем,
жратвой,
валютцей!
Не чище ль
наш воздух,
разреженный дважды
грозою
двух революцнй!
Броснть Республнку
с думами,
с бунтамн,
лысинку
южной зарей озарнв,—

разве не лучше,
как Феликс Эдмундовнч,
сердце
отдать
временам на разрыв.
Здесь
дела по горло,
рукав по локтн,
знамена неба
алы́,
н соколы —
сталь в моторном клёкоте —
глядят,
чтоб не лезлн орлы.
Деламн,
кровью,
строкою вот этою,
нигде
не бывшею в найме,—
я славлю
взвнтое красной ракетою
Октябрьское,
руганное
и пропетое,
пробитое пулямн знамя!

1926

ДОЛГ УКРАИНЕ

Знаете лн вы
украннскую ночь?
Нет,
вы не знаете украннской ночн!
Здесь
небо
от дыма
становнтся черно́,
н герб
звездой пятиконечной вточен.

Где горилкой,
удалью
и кровью
Запорожская
бурлила Сечь,
проводов уздой
смирив Диепровье,
Днепр
заставят
иа турбины течь.
И Диипро́
по проволокам-усам
электричеством
течет по корпусам.
Небось, рафииада
и Гоголю иадо!

Мы знаем,
курит ли,
пьет ли Чаплии;
мы знаем
Италии безрукие руины;
мы знаем,
как Ду́гласа
галстух краплеи...
А что мы знаем
о лице Украины?
Знанн́й груз
у русского
тощ —
тем, кто рядом,
почета мало.
Знают вот
украинскиӣ борщ,
знают вот
украинское сало.
И с культуры
посинимали пенку:
кроме
двух
прославленных Тарасов —

Бульбы
и известиого Шевчеика,—
иичего ие выжмешь,
сколько ии старайся.
А если прижмут —
зардеется розой
и выдвииет
аргумеит иовый:
возьмет и расскажет
пару курьезов —
аиекдотов
украиискоЙ мовы.
Говорю себе:
товарищ москаль,
иа Украиiу
шуток ие скаль.
Разучите
эту мову
иа зиамеиах —
лексиконах алых,—
эта мова
величава и проста:
«Чуешь, сурмы заграли,
час расплаты иастав...»
Разве может быть
затрепаиией
да тише
слова
поистаскаииого
«Слышишь»?!
Я
иемало слов придумал вам,
взвешивая их,
одио хочу лишь,—
чтобы стали
всех
моих
стихов слова
полновесиыми,
как слово «чуешь».

———

Трудно
людей
в одно истолочь,
собой
кичись не очень.
Знаем ли мы украинскую ночь?
Нет,
мы не знаем украинской ночи.

1926

ОКТЯБРЬ
1917—1926

Если
стих
сердечный раж,
если
в сердце
задор смолк,
голосами его будоражь
комсомольцев
и комсомолок.
Днем шоферы
и кучера
гонят
пулей
время свое,
а как будто
лишь вчера
были
бури
этих боев.
В шинелях,
в поддевках идут...
Весть:
«Победа!»
За Смольный порог.
Там Ильич и речь,
а тут
пулеметный говорок.
Мир
другими людьми оброс;

пионеры
лет десяти
задают про Октябрь вопрос,
как про дело
глубоких седин.
Вырастает
времеии мол,
день — волна,
не в снлах противиться;
в смоль-усы
оброс комсомол,
из юицов
перерос в партнйцев.
И партийцы
в годах борьбы
против всех
буржуазиых лис
иатрудилн
себе
горбы,
миогий
стал
и взросл
и лыс.
А у стеи,
с Кремля под уклои,
спят вожди
от трудов,
от ран.
Лишь колышет
камии
поклои
ото ста
подневольиых страи.
На стеие
пропылеи
и нем
калеидарь как калеидарь,
но в сегодняшием
красиом дие
воскресает
годов легеидарь.

Будет знамя,
а не хоругвь,
будут
пули свистеть над ним,
и «Вставай, проклятьем...»
в хору
будет бой
и марш,
а не гимн.
Век промчится
в седой бороде,
но и десять
пройдет хотя б,
мы
не можем
не молодеть,
выходя
на праздник — Октябрь.
Чтоб не стих
сердечный раж,
не дряхлел,
не стыл
и не смолк,
голосами
его
будоражь
комсомольцев
и комсомолок.
1926

НЕ ЮБИЛЕЙТЕ!

Мне б хотелось
про Октябрь сказать,
не в колокол названивая,
не словами,
украшающими
тепленький уют,—
дать бы
революции
такие же названия,
как любимым
в первый день дают!

Но разве
уместно
слово такое?
Но разве
настали
дни для покоя?
Кто галоши приобрел,
кто зонтик;
радуется обыватель:
«Небо голубо́...»
Нет,
в такую ерунду
не расказёньте
боевую
революцию — любовь.

В сотне улиц
сегодня
на вас,
на меня
упадут огнем знамена́.
Будут глотки греметь,
за кордоны катя
огневые слова про Октябрь.

Белой гвардии
для меня
белей
имя мертвое: юбилей.
Юбилей — это пепел,
песок и дым;
юбилей —
это радость седым;
юбилей —
это край
кладбищенских ям;
это речи
и фимиам;
остановка предсмертная,
вздохи,
елей —

вот что лезет
из букв
«ю-б-и-л-е-й».
А для нас
юбилей —
ремоит в пути,
постоял —
и дальше гуди.
Остаиовка для вас,
для вас
юбилей —
а для иас
подсчет рублей.
Сбережеииый рубль —
сбережеииый заряд,
поражающий вражеский ряд.
Остановка для вас,
для вас
юбилей —
а для нас —
это сплавы лей.
Разобьет
врага
электрический ход
лучше пушек
и лучше пехот.
Юбилей!
А для нас —
подсчет работ,
перемереииый литрами пот.
Знаем:
в графиках
довоенных иорм
коммунизма одежда и корм.
Не горюй, товарищ,
что бой измельчал:
— Глаз на мелочь!—
приказ Ильича.
Надо
в каждой пылинке
будить уметь
большевистского пафоса медь.

Зорче глаз крестьянина и рабочего,
и минуту
ие будь рассеянией!
Будет:
под иогами
заколеблется почва
почище японских землетрясений.
Молчит
перед боем,
топки глуша,
Англия бастующих шахт.
Пусть
китайский язык
мудрен и велик,—
знает каждый и так,
что Кантон
тот же бой ведет,
что в Октябрь вели
наш
рязанский
Иваи да Антои.
И в сердце Союза
война.
И даже
кнты батарей
и полки́.
Воры
с дуракамн
засели в блинда́жи
растрат
и волокит.
И каждая вывеска:
— рабкоон —
коммунизма тяжелый окоп.
Война в отчетах,
в газетиых листах —
рассчитывай,
режь и крой.
Не наша ли кровь
продолжает хлестать
из красных чернил РКИ?!
И как ии тушили огонь —
нас трое!

Мы
трое
охапки в огонь кидаем:
растет революция
в огнях Волховстроя,
в молчании Лондона,
в пулях Китая.
Нам
девятый Октябрь —
не покой,
не причал.
Сквозь десятки таких девяти
мозг живой,
живая мысль Ильича,
нас
к последней победе веди!

1926

СТОЯЩИМ НА ПОСТУ

Жандармы вселенной,
вылосиив лица,
стоят над рабочим:
— Эй,
не бастуй! —
А здесь
трудящихся щит —
милиция
стоит
на своем
бессменном посту.
Пока
за нашим
октябрьским гулом
и в странах
в других
не грянет такой,—
стой,
береги своим караулом
копейку рабочую,
дом и покой.

Пока
Волховстроев яркая речь
ие победит
темиоту иищеты,
иутро республики
вам беречь —
рабочих
домов и людей
щиты.
Храия республику,
от людей до иголок,
без устали стой
и без леии,
пока не исчезиут
богатство и голод —
поставщнкн преступлеиий.
Враг — хитер!
Смотрите в оба!
Его не сломишь,
если сам лоботряс.
Помни, товарищ,—
нужиа учеба
всем,
защищающим рабочий класс!
Голой рукой
ие взять врага нам,
иа каждом участке
преследуй их.
Зиай, товарищ,
и стрельбу из иагаиа,
и киигу Леиииа,
и наш стих.
Слаба дисциплииа — петлю иакинут.
Баидит и белый
живут в ладах.
Товарищ,
тверже крепи дисциплину
в милиционерских рядах!
Иной
хулигаиу
так
даже рад,—

выйдет
этакий
драчуи и голосило:
— Ничего, мол,
выпимши —
свой брат —
богатырская
русская сила. —
А ты качиешься
(от пива частого),
у целой улицы нос заалел:
— Ежели,
мол,
безобразит иачальство,
то нам,
разумеется,
и бог велел!—
Сорвут работу
глупым лягаиьем
пивного чада
бузящие ча́ды.
Лозунг твой:
— Хулиганам
нет пощады!—
Иной рассуждает,
морща лоб:
— Что цапать
малеиьких воришек?
Ловить вора,
да такого,
чтоб
об ием
говорили в Париже!—
Если выудят
миллиои
из кассы скряжьей,
новый
с рабочих
сдерет задарма.
На мелочь глаз!
На мелкие кражи,

потрошащие
тощий
рабочий карман!
В нашей республнке
свет не равен:
чем дальше от цеитра —
тем глубже иочн.
Милицнонер,
в темноту окранн
глаз вонзай
острей и зорче!
Пока
за нашнм
октябрьским гулом
н в странах других
не пройдет такой —
стой,
береги свонм караулом
копейкн,
людей,
дома
и покой.

1926

О ТОМ, КАК НЕКОТОРЫЕ ВТИРАЮТ ОЧКИ ТОВАРИЩАМ, ИМЕЮЩИМ ЦИКОВСКИЕ ЗНАЧКИ

1

Двое.
В петлицах краснеют флажки.
К дверям учрежденья направляют
шажки...
Душой — херувнм,
ангел с лица,
дверь
перед ннми
открыл швейцар.

Не сияв улыбки с прелестного ротика,
ботики сиял
и пылиики с ботиков.
Дескать:
— Любой идет пускай:
ни имя ие спросим,
ии пропуска! —
И рот не успели открыть,
а справа
принес секретарь
полдюжины справок.
И рта закрыть ие успели,
а слева
иесет резолюцию
какая-то дева...
Очередь?
Где?
Какая очередь?
Очередь —
воробьиного носа короче.
Ни чином своим ие гордясь,
ии окладом —
прииял
обоих
зав
без доклада...
Идут обратио —
весь аппарат,
как брат
любимому брату, рад...
И даже
котенок,
сидящий иа папке,
с приветом
подиял
передние лапки.
Идут, улыбаясь,
хвалить ие леиятся:
— Рай земиой,
а ие учреждеиьице! —
Ушли.
У зава
восторг на физии:

— Ура!
Проиесло.
Не будет ревизии!..

2

Назавтра,
дома оставив флажки,
двое
опять иаправляют шажки.
Швейцар
сквозь щель
горделиво лается:
— Ишь, шпаиа.
А тоже — шляется!..—
С черного хода
дверь узка.
Орет какой-то:
— Предъявь пропуска!—
А очередь!
Мерь километром.
Куда!
Раз шесть
окружила дом,
как удав.
Секретарь,
величествением Сухаревой башии,
вдали
телефоиит зиакомой барышие...
Вчерашияя дева
в ответ иа вопрос
сидит
и пудрит
весиушчатый иос...
У завовской двери
дракоиом-гадом
иекто шипит:
— Нельзя без доклада! —
Двое сидят,
ковыряют в иосу...
И только
уже в четвертом часу
закрыли дверь
и орут из-за дверок:

— Приходите
после дождика в четверг! —
У кошки —
и то тигрячий вид:
когти
вцарапать в глаза норовит...
В раздумье
оба
обратио катятся:
— За день всего —
и так обюрократиться?! —
А в щель
гардероб
вдогонку брошен:
иа двух человек
полторы галоши.

———

Нету места сомиеииям шатким.
Чтоб не пасся
бюрократ
коровой на лужку,
иадо
или бюрократам
дать по шапке,
или
каждому граждаиииу
дать по флажку!

1926

НАШЕ НОВОГОДИЕ

«Новый год!»
Для других это просто:
о стакаи
стаканом бряк!
А для нас
иовогодие —
подступ
к празднованию
Октября.

Мы
лета́
исчисляем сиова —
ие христовый считаем род.
Мы
ие знаем «двадцать седьмого»,
мы
десятый приветствуем год.
Наших дней
зиаченью
и смыслу
подвести итоги пора.
Серых дией
обыдёииые числа,
иа десятый
стройтесь
парад!
Скоро
всем
иам
счет предъявят:
дии свои
еруидой не мельча,
кто
и как
в обыдёиной яви
воплотил
слова Ильича?
Что в селе?
Навоз
и скрипучий воз?
Свод небесиый
коркою вычерствел?
Есть ли там
уже
миллиоиы звезд,
расцветающие в электричестве?
Не купая
в прошедшем взора,
ие питаясь
врелищем древиим,

кто и ныне
послал ревизоров
по советским
Марьям Андревиам?
Нам
коммуна
не словом крепка́ и люба́
(сдашь без хлеба,
как ни крепися!).
У крестьян
уже
готовы хлеба́
всем,
кто переписью переписан?
Дайте крепкий стих
годочков этак на́ сто,
чтоб не таял стих,
как дым клубимый,
чтоб стихом таким
звенеть
и хвастать
перед временем,
перед республикой,
перед любимой.
Пусть гремят
барабаны поступи
от земли
к голубому своду.
Занимайте дни эти —
подступы
к нашему десятому году!
Парад
из края в край растянем.
Все,
в любой работе
и чине,
рабочие и драмщики,
стихачи и крестьяне,
готовьтесь
к десятой годовщине!
Всё, что красит
и радует,
всё —

и слова,
и восторг,
н погоду —
всё
к десятому припасем,
к иаступающему году.

1926

СТАБИЛИЗАЦИЯ БЫТА

После боев
н голодных пыток
отрос на жнвотике солидный жнрок.

Жирок залнвает щелочки быта
н застывает,
тнх и широк.
Люблю Кузнецкий
(простите грешного!),
потом Петровку,
потом Столешников;
по ним
в году
раз сто илн двести я
хожу из «Известий»
н в «Известня».
С восторга бросив подсолиухн лузгать,
восторжеино подияв бровки,
читает работница:
«Готовые блузкн.
Последний крик Петровки».
Не зря и Кузиецкий похож иа зарю,—
прижав к замерэшей витрнне ноздрю,
две дамы расплылись в стоичнке:
«Ах, какие фестоичнки!»
А рядом,
учли обывателью натуру,—
портрет
кого-то безусого;
отбирайте гения
для любого гарнитура,—

все
от Казина до Брюсова.
В магазинах —
ноты для широких масс.
Пойте, рабочие и крестьяне,
последний
сердцещипательный романс
«А сердце-то в партию тянет!» [1]
В окне гражданин,
устав от ношения
портфелей,
сложивши папки,
жене,
приятной во всех отношениях,
выбирает
«глазки да лапки».
Перед плакатом «Медвежья свадьба»
нэпачка сияет в неге:
— И мне с таким медведем
поспать бы!
Погрызи меня,
душка Эггерт.—
Сияющий дом,
в костюмах,
в белье,—
радуйся,
растратчик и мот.
«Ателье
мод».
На фоне голосов стою,
стою
и философствую.
Свежим ветерочком в республику
вея,
звездой сияя из мрака,
товарищ Гольцман
из «Москвошвея»
обещает
«эпоху фрака» [2].

---

[1] Ноты Музторга. Музыка Тихоновой. Слова Чуж-Чуженина. *(Прим. В. Маяковского.)*

[2] Стр. 12 № 2 «Экрана». *(Прим. В. Маяковского.)*

Но,
от смокингов и фраков оберегая охотников
(не попался на буржуазную удочку!),
восхваляет
комсомолец
товарищ Сотников
толстовку
и брючки «дудочку».
Фрак
или рубахи синие?
Неувязка парт- и советской линии.
Меня
удивляют их слова.
Бьет разнобой в глаза.
Вопрос этот
надо
согласовать
и, разумеется,
увязать.
Предлагаю,
чтоб эта идейная драка
не длилась бессмыслению далее,
пришивать
к толстовкам
фалды от фрака
и носить
лакированные сандалии.
А чтоб цилиндр заменила кепка,
накрахмаливать кепку крепко.
Грязня сердца
и масля бумагу,
подминая
Москву
под копыта,
волокут
опять
колымагу
дореволюционного быта.
Зуди
издевкой,
стих хмурый,
вразрез
с обывательским хором:

в делах
нден,
быта,
культуры —
поменьше
довоенных норм!

1927

БУМАЖНЫЕ УЖАСЫ

(Ощущения Владимира Маяковского)

Если б
в пальцах
держал
земли бразды я,
я бы
землю остановил на минуту:
— Внемли!
Слышишь,
перья скрипят
механические и простые,
как будто
зубы скрипят у земли? —
Человечья гордость,
смирись и улягся!
Человеки эти —
на кой они лях!
Человек
постепенно
становится кляксой
на огромных
важных
бумажных полях.
По каморкам
ютятся
людские тени.
Человеку —
сажень.
А бумажке?
Лафа!

Живет бумажка
во дворцах учреждений,
разлеглась на столах,
кейфует в шкафах.
Вырастает хвост
на сукио
в магазине,
без галош нога,
без перчаток лапа.
А бумагам?
Корзина лежит на корзине,
и для тела «дел» —
миллноиы папок.
У вас
на езду
червонцы есть ли?
Вы были в Мадриде?
Не был там!
А этим
бумажкам,
чтоб плыли
и ездили,
еще
возиосят
новый почтамт!
Стали
ножки-клипсы
у бывших сильных,
замеиили
ииструкцни
силу ума.
Люди
медлеиио
сходят
на должность посыльных,
в услужеиии
у хозяев — бумаг.
Бумажищи
в портфель
умещаются еле,
белозубую
обиажают кайму.

Скоро
людн
на жнтельство
влезут в портфелн,
а бумагн —
наши квартнры займут.
Вижу
в будущем —
не вымыслы мон:
рупоры бумаг
орут об этом громко нам —
будет
за столом
бумага
пить чаи́,
человечек
под столом
валяться скомканным.
Бунтом встать бы,
развнть огневые флагн,
рвать зубамн бумагу б,
ядрамн б выть...
Пролетарнй,
и дюйм
ненужной бумагн,
как врага своего,
вконец ненавндь.

1927

НАШЕМУ ЮНОШЕСТВУ

На сотнн эстрад бросает меня,
на тысячу глаз молодежн.
Как разны земли моей племена,
и разен язык
н одежн!
Насилу,
пот стнрая с внска,
сквозь горло тоннеля узкого
пролез.
И, глуша прощаньем свистка,

рванулся
курьерскнй
с Курского!
Заводы.
Березы от леса до хат
бегут,
лнстками вороча,
н чнст,
как будто слушаешь МХАТ,
московскнй говорочек.
Из-за горнзонтов,
лесамн сломанных,
толпа надвнгается
мазанок.
Цветисты бочка́
нэ-под крыш соломенных,
о́крашенные разно.
Стнхов навезите целый мешок,
с таланта
можете лопаться—
в ответ
сннсходнтельно цедят смешок
уста
украннца-хлопца.
Пространства бегут,
с хвоста нарастав,
их жарнт
солнце-кухарка.
И поезд
уже
бежнт на Ростов,
далёко за дымный Харьков.
Поля —
на мнльоны хлебных тонн —
как будто
нх гладят рубанкн,
а в хлебной охре
серебряный Дон
блестит
позументом кубанки.
Ревем паровозом до хрнпоты,
и вот
началось кавказское —

то го́ловы сахара высят хребты,
то в солице —
пожарной каскою.
Лечу
ущельями, свист приглушив.
Сиегов и папах седи́ны.
Сжимая киижалы, стоят иигуши,
следят
из седла
осетины.
Верх
гор —
лед,
иив
жар
пьет,
н солнце льет йод.
Тифлисцев
узиаешь н метров за́ сто:
гуляют часами жаркими,
в моднейших шляпах,
в ботиках иосастых,
этакими парижаками.
По-своему
всякий
зубрит азы,
аж цифры по-своему снятся им.
У каждого третьего —
свой язык
и собствеииая иация.
Одиажды,
забросив в гостииицу хлам,
забыл,
где я иочую.
Я
адрес
по-русски
спросил у хохла,
хохол отвечал:
— Нэ чую.—
Когда ж переходят
к научной теме,

им
рамки русского
уэки;
с Тифлисской
Казаиская академия
переписывается по-фраицузски.
И я
Париж люблю сверх мер
(красивы бульвары ночью!).
Ну, мало ли что —
Бодлер,
Маларме
и эдакое прочее!
Но иам ли,
шагавшим в огие и воде
годами
борьбой прожжеииыми,
растить
на смеиу себе
бульвардье
фраицузистыми пижоиами!
Используй,
кто был безъязык и гол,
свободу Советской власти.
Ищите свой кореиь
и свой глагол,
во тьму филологии влазьте.
Смотрите иа жизиь
без очков и шор,
глазами жадиыми цапайте
все то,
что у вашей земли хорошо
и что хорошо иа Западе.
Но иету места
злобы мазку,
ие мажьте красиые души!
Товарищи юноши,
взгляд — на Москву,
на русский вострите уши!
Да будь я
и иегром преклониых годов
и то,
без уиыиья и леии,

я русский бы выучил
только за то,
что им
разговаривал Ленин.
Когда
Октябрь орудийных бурь
по улицам
кровью лйлся,
я знаю,
в Москве решали судьбу
и Киевов
и Тифлисов.
Москва
для нас
не державный аркан,
ведущий земли за нами,
Москва
не как русскому мне дорога,
а как огневое знамя!
Три
разных истока
во мне
речевых.
Я
не из кацапов-разинь.
Я —
дедом казак, другим —
сечевик,
а по рожденью
грузин.
Три
разных капли
в себе совмещав,
беру я
право вот это —
покрыть
всесоюзных совмещан.
И ваших
и русопетов.

1927

Россия — всё:
и коммуна,
и волки,
и давка столиц,
и пустырьиая ширь,
стоводиая удаль безудержиой Волги,
обдорская темь
и сияиье Кашир.
Лед за пристаиью за ближией,
оковала Волга рот,
это красиый,
это Нижиий,
это зимиий Новгород.
По первой реке в российском сторечье
скользим...
цепеиеем...
зацапаны ветром...
А за волжским доисторичьем
кресты да тресты,
да разиые «цеитро».
Сумятица торга кипит и клокочет,
клочки разговоров
и дымиые клочья,
а к иочи
ие бросится говор,
ие скрипиут полозья,
столетияя зелеиь зигзагов Кремля,
да под луиой,
разметавшей волосья,
замерзающая земля.
Огромиая площадь;
прорезав вкривь ее,
иеслышиую поступь дикарских лап
сквозь северную Скифию
я иаправляю
в местиый ВАПП.

За версты,
за сотии,
за тыщи,
за массу
за это время заедешь, мчась,

а мы
ползли и ползли к Арзамасу
со скоростью верст четыриадцать в час.
Напротив
сели два мужичиины:
красиые бороды,
серые рожи.
Презрительиио буркиул торговый мужчина:
— Сережи! —
Один из Сережей
полез в карман,
достал пироги,
запахиул одежду
и всю дорогу жевал корма́,
леиивые фразы цедя промежду.
— Коиешио...
и к Петрову́...
и в Покров...
за то и за это пожалте про́цеит...
а толку иет...
ие дорога, а кровь...
с телегой тоии, как ведро в колодце...
На што мой коиь — крепыш,
аж и ои
сломал по яме иогу...
Раз ты́
правительство,
ты и должо́и
чииить иа всех дорогах мосты.—
Тогда
иа иего
второй из Сереж
прищурил глаз, в морщиины оправлеииый.
— Налог-то ругашь,
а пирог-то жрешь... —
И первый Сережа ответил:
— Правильио!
Получше двадцатого,
что толковать,
ие голодаем,
едим пироги.
Мука́, дай бог...
хороша такова...

Но што насчет лошажьей ноги...
взыскали про́цеит,
а мост ие проложать... —
Баючит езда дребезжаиьем звонким.
Сквозь дрему
все время
про мост и про лошадь
до стаиции с иазваиьем «Зимёнки».

На каждом доме
советский вензель
зовет,
сияет,
режет глаза.
А под веизелями
в стареиькой Пензе
старушьим шепотом дышит базар.
Перед иэпачкой баба седа
отторговывает копеек тридцать.
— Купите платочек!
У иас
завсегда
заказывала
сама царица... —

Морозиым дием отмелькала Самара,
за ией
иачались азиаты.
Верблюдииа
сеио
провозит, замараи,
в упряжку лошажью взятый.

Уииверситет —
горделивость Казаии,
и стеиы его
и доиыие
храият
любовиейшее воспомииаиие
о великом своем граждаиии.
Далёко
за годы
мысль катя,

за лекции университета,
он думал про битвы
и красный Октябрь,
идя по лестнице этой.
Смотрю в затихший и замерший зал:
здесь
каждые десять на́ сто
его повадкой щурят глаза
и так же, как он,
скуласты.
И смерти
коснуться его
не посметь,
стонт
у грядущего в смете!
Внимают
юноши
строфам про смерть,
а сердцем слышат:
бессмертье.
Вчерашний день
убог и низмен,
старья
премного осталось,
но сердце класса
горит в коммунизме,
и класса грудь
не разбить о старость.
1927

МОЯ РЕЧЬ НА ПОКАЗАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ПО СЛУЧАЮ ВОЗМОЖНОГО СКАНДАЛА С ЛЕКЦИЯМИ ПРОФЕССОРА ШЕНГЕЛИ

Я тру
ежедневно
взморщенный лоб
в раздумье
о нашей касте,
и я не знаю:
поэт —
поп,
поп или мастер.

Вокруг меия
толпа малышей,—
едва вкусившие славы,
а во́лос
уже
отрастилн до шей
и голос нмеют гнусавый.
И, образ подияв,
выходят когда
иа толстожурнальиый амвон,
я,
каюсь,
во храме
рвусь иа скаидал,
н крикиуть хочется:
— Вои! —
А вызовут в суд,—
убеждеино гудя,
скажу:
— Товарищ судья!
Как знамя,
башку
держу высоко,
нн дух не дрожит,
ни коленки,
хоть я и слыхал
про суровый
закон
от самого
от Крылеикн.
Заксиы
ие знают переодевания,
а без
преувеличениости,
хулиганство —
это
озориые деяиия,
связаниые
с иеуважеиием к личности.
Я зиаю
любого закоиа лютей,
что личность
уважнть иадо,

ведь масса —
это
много людей,
но масса бараиов —
стадо.
Не зря
эту личиость
рожает класс,
лелеет
до нужиого часа,
и двинет,
и в сердце вложит иаказ:
«Иди,
твори,
отличайся!»
Идет
и горит
докрасиа́,
добела́...
Да что городить околичность!
Я,
если бы личность у иих была,
влюбился б в ихнюю личиость.
Но где ж их лицо?
Осмотрите в момеит —
без плюсов,
без минусо́в.
Дыра!
Прииудительиый ассортимеит
из глаз,
ушей
и иосов!
Я зубы на этом деле сжевал,
я зиаю, кому оии копия.
В их песнях
поповская служба жива,
оии —
варифмоваииый опиум.
Для вас
вопрос поэзии —
иов,

но эти,
видите,
молятся.
Задача их —
выделка дьяконов
из лучших комсомольцев.
Скрывает
ученейший их богослов
в туман вдохновения радугу слов,
как чашн
скрывают
церковные.
А я
раскрываю
мое ремесло,
как радость,
мастером кованную.
И я,
вскипя
с позора с того,
ругнулся
и плюнул, уйдя.
Но ругань моя —
не озорство,
а долг,
товарищ судья.—
Я сел,
разбивши
доводы глиняные.
И вот
объявляется приговор,
так сказать,
от самого Калинина,
от самого
товарища Рыкова.
Судьей,
расцветшим розой в саду,
объявлено
тоном парадным:
— Маяковского
по суду
считать
безусловно оправданным!

1927

«ЗА ЧТО БОРОЛИСЬ?»

Слух идет
бессмыслеиеи и гадок,
трется в уши
и сердце ёжит.
Говорят,
что воли упадок
у иашей
у молодежи.
Говорят,
что иной братишка,
заработавший ордеи,
иыие
про вкусиоты забывший ротишко
под витриной
кривит в уныньe.
Что голодиым вам
иа зависть
окиа лавок в бутылочиом тыие,
и едят иэпачи и завы
в декабре
арбузы и дыии.
Слух идет
о грозиом сраме,
что лишь радость
развоскресе́иеиа,
комсомольцы
лейб-гусарами
пьют
да иоют под стих Есеиина.
И доиосится до иас
сквозь губы́ искривлеииую прорезь:
«Революция ие удалась...
За что боролись?..»
И свои 18 лет
под иагаи подставят —
и иет,
или горло
впетлят в ко́ски.
И горюю я,
как поэт,

и ругаюсь,
как Маяковский.
Я тебе
не стихи ору,
рифмы в этих делах
ни при чем;
дай
как другу
пару рук
положить
на твое плечо.
Знал и я,
что значит «не есть»,
по бульварам валялся когда,—
понял я,
что великая честь
за слова свои
голодать.
Из-под локона,
кепкой завйтого,
вскинь глаза,
не грусти и не злись.
Разве есть
чему завидовать,
если видишь вот эту слизь?
Будто рыбы на берегу —
с прежним плаваньем
трудно расстаться им.
То царев горшок берегут,
то
обломанный шкаф с инкрустациями.
Вы — владыки
их душ и тела,
с вашей воли
встречают восход.
Это —
очень плевое дело,
если б
революция захотела
со счетов особых отделов
эту мелочь
списать в расход.

Но, рядясь
в любезиость наносную,
мы —
взамеи забытой Чекн
кормим дыией и аианасиою,
нхиих жеи
одеваем в чулки.
И они
за все за это,
что чулки,
что плачеио дорого,
строят иам
дома н клозеты
н бойцов
обучают торгу.
Что ж,
без этого и иельзя!
Сменим их,
граиит догрызя.
Или
иаша воля обломалась
о сегодняшиюю
деловую малость?
Нас
дело
должио
проиизать иасквозь,
скуленье иа мелочиость
высмей.
Сейчас
коммуие
цеиеи гвоздь,
как тезисы о коммунизме.
Над пивом
нашим юиошам ли
склонять
свои мысли ракитовые?
Нам
пить
в грядущем
все соки земли,
как чашу
мир запрокидывая.

1927

«ДАЕШЬ ИЗЯЧНУЮ ЖИЗНЬ»

Даже
мерин сивый
желает
жизни изящной
и красивой.
Вертит
игриво
хвостом и гривой.
Вертит всегда,
но особо пылко —
если
навстречу
особа-кобылка.
Еще грациозней,
еще капризней
стремится человечество
к изящной жизни.
У каждого класса
свое поиятье,
особые обычаи,
особое платье.
Рабочей рукою
старое выжми —
посыплются фраки,
польются фижмы.
Царь
безмятежно
в могилке спит...
Сбит Милюков,
Кереиский сбит...
Но в быту
походкой рачьей
пятятся многие
к жизни фрачьей.
Отверзаю
поэтические уста,
чтоб описать
такого хлюста.
Запонки и пуговицы
и спереди и сзади.

Теряются
и отрываются
раз десять на́ день.
В моде
в каждой
так положено,
что нельзя без пуговицы,
а без головы можно.
Чтоб было
оправдание
для стольких запонок,
в крахмалы
туловище
сплошь заляпано.
На голове
прилизанные волоса,
посредине
пробрита
лысая полоса.
Ноги
давит
узкий хром.
В день
обмозолишься
и станешь хром.
На всех мизинцах
аршинные ногти.
Обломаются —
работу не трогайте!
Для сморкания —
пальчики,
для вида —
платочек.
Торчит
из кармаичика
кружевной уголочек.
Толку не добьешься,
что ни спроси —
одни «пардоны»,
одни «мерси».
Чтоб не было
ям
на хилых груда́х,

ходит,
в петлицу
хризантемы вкрутя.
Изящные улыбки
настолько тонки,
чтоб только
виднелись
золотые коронки.
Косится на соседа —
стрельнуть за кем? —
и пошлость
про ландыш
на слюнявом языке.
А
в очереди
венерической клиники
читает
усердно
«Мощи» Калининкова.
Таким образом
день оттрудясь,
разденет фигуру,
не мытую отродясь.
Зевнет
и спит,
излюблен, испит.
От хлама
в комнате
тесней, чем в каюте.
И это называется:
— Живем-с в уюте!
Лозунг:
— В ногах у старья не ползай! —
Готов
ежедневно
твердить раз сто:
изящество —
это стопроцентная польза,
удобство одежд
и жилья простор.

1927

ВМЕСТО ОДЫ

Мне б хотелось
вас
воспеть
во вдохновенной оде,
только ода
что-то не выходит.
Скольким идеалам
смерть на кухне
и под одеялом!
Моя знакомая —
женщина как женщина,
оглохшая
от примусов пыхтения
и ухания,
баба советская,
в загсе ве́нчанная,
самая передовая
из общей кухни.
Хранит она
в складах лучших дат
замужество
с парием среднего роста;
еще не партиец,
но уже кандидат,
самый красивый
из местных письмоносцев.
Баба сердитая,
видно сразу,
потому что сожитель ейный
огромный снимок
в дополненне к глазу
приставил,
придя из пивной.
И шипит она,
выгнав мужа вон:
— Я
ему
покажу советский закон!
Вымою только
последнюю из посуд —

и прямо в милицию,
прямо в суд...—
Домыла.
Перед взятием
последнего рубежа
звоиок
по кухне
рассыпался, дребезжа.
Открыла.
Расцвели миллионы почек,
высохла
по-весеинему
слезная лужа...
— Его почерк!
Письмо от мужа.—
Письмо раскалеиное —
ие пишет,
а пышет.
«Вы моя душка,
и ангел
вы.
Простите великодушно!
Я буду тише
воды
и ниже травы».
Рассиялся глаз,
оплывший иабок.
Слово ласковое —
мастер
дивиых див.
И опять
за примусами баба,
все поняв
и все простив.
А уже
циркуля письмоносца
за иовой юбкой
по улицам носятся;
раскручивая язык
витиеватой лентой,
шепчет
какой-то
охаживаемой Вере:

— Я за положительность
и против инцидентов,
которые
вредят
служебной карьере.—
Неделя покоя,
но больше
никак
не прожить
без мата и синяка.
Неделя —
и снова счастья нету,
задрались,
едва в пивнушке по́были...
Вот оно —
семейное
«перпетуум
мобиле».
И вновь
разговоры,
и суд, и «треть»
на много часов
и недель,
и нет решимости
пересмотреть
семейственную каинтель.
Я
напыщенным словам
всегдашний враг,
и, не растекаясь одами
к Восьмому марта,
я хочу,
чтоб кончилась
такая помесь драк,
пьянства,
лжи,
романтики
и мата.

1927

ЛУЧШИЙ СТИХ

Аудитория
сыплет
вопросы колючие,
старается озадачить
в записочиом рвении.
— Товарищ Маяковский,
прочтите
лучшее
ваше
стихотвореиие.—
Какому
стиху
отдать честь?
Думаю,
упершись в стол.
Может быть,
это им прочесть,
а может,
прочесть то?
Пока
перетряхиваю
стихотвориую старь
и нем
ждет
зал,
газеты
«Севериый рабочий»
секретарь
тихо
мие
сказал...
И гаркнул я,
сбившись
с поэтического тона,
громче
иерихоиских хайл:
— Товарищи!
Рабочими
и войсками Каитона
взят
Шанхай! —

Как будто
жесть
в ладоиях миут,
оваций сила
росла и росла.
Пять,
десять,
пятиадцать миут
рукоплескал Ярославль.
Казалось,
буря
вёрсты крыла,
в ответ
иа все
чемберлеиьи иоты
катилась в Китай,—
и стальиые рыла
отворачивали
от Шаихая
дредиоуты.
Не приравияю
всю
поэтическую слякоть,
любую
из лучших поэтических слав,
ие приравияю
к простому
газетиому факту,
если
так
ему
рукоплещет Ярославль.
О, есть ли
привязаниость
большей силищи,
чем солидарность,
прессующая
рабочий улей?!
Рукоплещи, ярославец,
маслобой и текстильщик,
иезиаемым
и родиым
китайским кули!

1927

«ЛЕНИН С НАМИ!»

Бывают события:
случатся раз,
из сердца
высекут фразу.
И годы
не выдумать
лучших фраз,
чем сказанная
сразу.
Таков
и в Питер
ленинский въезд
на башне
броневика.
С тех пор
слова
и восторг мой
не ест
ни день,
ни год,
ни века.
Все так же
вскипают
от этой даты
души
фабрик и хат.
И я
привожу вам
просто цитаты
из сердца
и из стиха.
Февральское пламя
померкло быстро,
в речах
утопили
радость февральскую.
Десять
министров-капиталистов
уже
на буржуев
смотрят с ласкою.

Купался
Керенский
в своей победе,
задав
революцнн
адвокатский тон.
Но вот
пошло по заводу:
— Едет!

Едет!
— Кто едет?
— Он!
«И в город,
уже
заплывающнй салом,
вдруг оттуда,
из-за Невы,
с Финляидского вокзала
по Выборгской
загрохотал броневик».
Была
простая
машиина эта,
как миогне,
шла над Невою.
Прошла,
а иынче
по целому свету
дыхаиье ее
броневое.
«И сиова
ветер,
свежнй и крепкнй,
валы
революцин
поднял в пене.
Литейный
залнли
блузы н кепкн.
— Леиин с намн!
Да здравствует Леннн!»

И с этих дией
везде
и во всем
имя Леиииа
с иами.
Мы
будем иести,
иесли
и песем —
его,
Ильичево, зиамя.
«— Товарищи! —
и иад головою
первых сотен
вперед
ведущую
руку выставил.
— Сбросим
эсдечества
обветшавшие лохмотья!
Долой
власть
соглашателей и капиталистов!»
Тогда
рабочий,
впервые спрошеииый,
еще иестройио
отвечал:
— Готов! —
А сегодня
буржуй
распластаи, сброшеииый,
и иашей власти —
десять годов.
«— Мы —
голос
воли ииза,
рабочего ииза
всего света.
Да здравствует
партия,
строящая коммунизм!

Да здравствует
восстание
за власть Советов!»
Слова эти
слушали
пушки мордастые,
и щерился
белый,
штыками блестя.
А нынче
Советы и партия
здравствуют
в союзе
с сотней миллионов крестьян.
«Впервые
перед толпой обалделой,
здесь же,
перед тобою,
близ —
встало,
как простое
делаемое дело,
недосягаемое слово
— «социализм».
А нынче
в упряжку
взяты частники.
Коопов
стосортных
сети вьем,
показываем
ежедневно
в новом участке
социализм
живьем.
«Здесь же,
из-за заводов гудящих,
сияя горизонтом
во весь свод,
встала
завтрашняя
коммуна трудящихся —

без буржуев,
без пролетариев,
без рабов и господ».
Коммуиа —
еще
ие дело дией,
и мы
еще
в окружеиии врагов,
ио мы
прошли
по дороге к ней
десять
самых трудиых шагов.

1927

ВЕСНА

В газетах
пишут
какие-то дяди,
что иачал
любовно
постукивать дятел.
Скоро
вид Москвы
скопируют с Ниццы,
цветы создадут
по весеиииим велеииям.
Пишут,
что уже
сииицы
оглядывают гиезда
с любовиым вожделением.
Газеты пишут:
дии горячей,
иалетели
отряды
передовых грачей.
И замечает
естествоиспытательское око,

что в березах
какая-то
циркуляция соков.
А по-моему —
дело мрачиое:
иачинается
горячка дачиая.
Плюиь,
если рассказывает
какой-иибудь шут,
как дачные вечера
милы,
тихи́.
Опишу
хотя б,
как на даче
выделываю стихи.
Не растрачивая энергию
средь ерудиовых трат,
решаю твердо
писать с утра.
Но две девицы,
и тощи
и рябы́,
заставили идти
искать грибы.
Хожу в лесу-с,
на каждой колючке
распинаюсь, как Иисус.
Устав до того,
что не ступишь на́ ноги,
принес сыроежку
и две поганки.
Прииесши трофей,
еле отделываюсь
от упомянутых фей.
С бумажкой
лежу на траве я,
и строфы
спускаются,
рифмами вея.
Только
над рифмами стал сопеть,
и —

меия переезжает
кто-то
иа велосипеде.
С балкона,
куда уселся, мыча,
сбежал
вовиутрь
от футбольиого мяча.
Полторы строки иамарал —
и пошел
ловить комара.
Опрокииув чериильницу,
задув свечу,
подымаюсь,
прыгаю,
чуть ие лечу.
Поймал,
и при свете
мерцающих плаиет
рассматриваю —
хвост малярнйиый
или нет?
Уселся,
но слово
замерло в горле.
На кухне крнк:
— Самовар сперли! —
Адамом,
во всей первородной красе,
бегу
ва жулнкамн
по васильком и росе.
Отступаю
от пары
бродячнх дворняжек,
заинтересованиых
вндом
юиых ляжек.
Сел
в меланхолии.
В голову
нн строчкн
ие лезет более.

Два.
Ложусь в идиллии.
К трем часам —
усиул едва,
а четверть четвертого
уже разбудили.
На луже,
зажатой
берегам в бока,
орет
целуемая
лодочиикова дочка...
«Славиое море —
священиый Байкал,
Славиый корабль —
омулевая бочка».

1927

ОСТОРОЖНЫЙ МАРШ

Гляди, товарищ, в оба!
Вовсю раскрой глаза!
Британцы
твердолобые
республике грозят.
Не будь,
товарищ,
слепым
и глухим!
Держи,
товарищ,
порох
сухим!
Стучат в бюро Аркосовы,
со всех сторои насев:
как ломом,
лбом кокосовым
ломают мирный сейф.
С такими,
товарищ,
не сваришь
ухи.

Держи,
товарищ,
порох
сухим!
Знакомы эти хари нам,
не нов для них подлог:
подпишут
под Бухарина
любой бумажки клок.
Не жаль им,
товарищи,
бумажной
трухи.
Держите,
товарищи,
порох
сухим!
За барыней,
за Англией
и шавок лай летит,—
уже
у новых Врангелей
взыграл аппетит.
Следи,
товарищ,
за лаем
лихим.
Держи,
товарищ,
порох
сухим!
Мы строим,
жнем
и сеем.
Наш лозунг:
«Мир и гладь».
Но мы
себя
сумеем
винтовкой отстоять.

Нас тянут,
товарищ,
к войне
от сохи.
Держи,
товарищ,
порох
сухим!

1927

ВЕНЕРА МИЛОССКАЯ И ВЯЧЕСЛАВ ПОЛОНСКИЙ

Сегодня я,
поэт,
боец за будущее,
оделся, как дурак.
В одной руке —
веник
огромный
из огромных незабудищей,
в другой —
из чайных —
розовый букет.
Иду
сквозь моторно-бензиниую мглу
в Лувр.
Складку
на брюке
выправил нервно;
не помню,
платил ли я за билет;
и вот
зала,
и в ней
Венерино
дезабилье.
Первое смущенье.
Рассеялось когда,
я говорю:
— Мадам!

По доброй воле,
иесмотря иа блеск,
сюда
ии в жизиь ие навострил бы лыж.
Но я
поэт СССР —
иоблес
оближ![1]
У нас
в республике
не меркиет ваша слава.
Эстеты
мрут от мраморного лоска.
Короче:
я —
от Вячеслава
Полоиского.
Носастей грека он.
Ои в вас души ие чает.
Он
поэлладистей Лициниев и Люциев,
хоть редактирует
и «Мир»,
и «Ниву»,
и «Печать
и революцию».
Ои просит передать,
что иет ему житья.
Союз наш
грубоват для тоикого мужчиины.
Ои миого терпит там
от мужичья,
от лефов и мастеровщиины.
Он просит передать,
что, «леф» и «праф» костя́,
в Элладу ои плывет
надклассовым сознаиьем.
Мечтает ои
об эллиских гостях,
о тогах,
о сандалиях в Рязаии,

[1] положение обязывает (*фр.* noblesse oblige).

чтобы гекзаметром
сменилась
лефовца строфа,
чтобы Радимовы
скакали по дорожке,
и чтоб Радимов
был
ие человек, а фави,—
чтобы свирель,
иабедреиник
и рожки.
Коиечио,
следует иметь в виду,—
у иас, мадам,
ие все такие там.
Но эту я
передаю белиберду.
На ией
почти официальиый штамп.
Велеио
у ваших иог
положить
букеты и венок.
Веиера,
окажите честь и счастье,
катите
в сиы его
эллядских дией ладью...
Ну,
будет!
Коичеио с официальиой частью.
Мадам,
адью! —
Ни улыбки,
ии привета с уст ее.
И пока
толпу очередиую
загоняет Кук,
расстаемся
без рукопожатий
по причиие полиого отсутствия
рук.

Иду —
авто дудит в дуду.
Таицую — ие иду.
Домой!
Внимателеи
и ием
стою в моем окне.
Напротив окои
гладкий дом
горит стекольиым льдом.
Горит иад домом
букв жара́ —
гараж.
Не гараж —
сам бог!
«Миль вуатюр,
дё саи бокс».
В переводе иа простой:
«Тысяча вагоиов,
двести стойл».
Товарищи!
Вы
видали Ройльса?
Ройльса,
который с ветром сросся?
А когда стоит —
кит.
И вот этого
автомобильиого кита ж
подымают
иа шестой этаж!
Ставши
уменьшеииее мышей,
тысяча машиниых малышей
спит в объятиях
гаража-коло́сса.
Ждут рули —
дорваться до руки.
И сияют алюмииием колеса,
круглые,
как дураки.

И когда
опять
вдыхают на заре
воздух
мнллиоиом
раднаториых иоздрей,
кто заставит
и какую дуру
иос вертеть
иа Лувры и скульптуру?!
Автомобнль и Веиера — старо́-с?
Пускай!
Поновее и АХРРов и роз.
Мещаиская жизиь
ие стала иной.
Тряхием и мы футурстарниой.
Товарнщ Полонский!
Мы ие позволнм
любнтелям старых
дворяиских манер
в лнцо строителям
тыкать мозоли,
веками
натертые
у Венер.

1927

ГОСПОДИН «НАРОДНЫЙ АРТИСТ»

Парнжские «Последние новостн» пншут: «Шаляпин пожертвовал священнику Георгню Спасскому на русскнх безработных в Парнже 5000 франков. 1000 отдана бывшему морскому агенту, капитану 1-го ранга Дмнтрневу, 1000 роздана Спасскнм лнцам, ему знакомым, по его усмотренню, н 3000 — владыке мнтрополнту Евлогию».

Вынув бумажнпк из-под хвостика фрака,
добрейший
Федор Иваныч Шаляпнн

на русских безработных
пять тысяч франков
бросил
на дно
поповской шляпы.
Ишь сердобольный,
как заботится!
Конешно,
плохо, если жмет безработица.
Но...
удивляют получающие пропитанье.
Почему
у безработных званье капитанье?
Ведь не стоит
лезть
морское капитанство
на завод труда
и в шахты пота.
Так чего же ждет
Евлогиева паства,
и какая
ей
нужна работа?
Вот если
за нынешней грозою потною
пойдет война
в орудийном аду —
шаляпинские безработные
живо
себе
работу найдут.
Впервые
тогда
комсомольская масса,
раскрыв
пробитые пулями уши,
сведет
знакомство
с шаляпинским басом
через бас
белогвардейских пушек.

Когда ж
полями,
кровью полйтыми,
рабочие
бросят
руки и иоги,—
вспомиим тогда
безработиых митрополита
Евлогия.
Говорят,
артист —
большой ребеиок.
Не зиаю,
есть ли
у Шаляпина бонна.
Но если
боииы
иету с иим,
мы вместо боииы
ему объясиим.
Есть класс пролетариев
миллиоииогорбый
и те,
кто покореи фаустовскому тельцу́.
На бой
последний
класса оба
сегодия
сошлись
лицом к лицу.
И песия,
и стих —
это бомба и знамя,
и голос певца
подымает класс,
и тот,
кто сегодия
поет ие с иами,
тот —
против иас.
А тех,
кто под иоги атакующим бросится,

с дороги
уберет
рабочий пиок.
С барина
с белого
сорвите, иаркомпросцы,
иародиого артиста
красиый веиок!
1927

НУ, ЧТО Ж!

Раскрыл я
с тихим шорохом
глаза страииц...
И потяиуло
порохом
от всех граииц.

Не виовь,
которым за́ двадцать,
в грозе расти.
Нам ие с чего
радоваться,
ио иечего
грустить.

Бурна вода истории.
Угрозы
и войиу
мы взрежем
на просторе,
как режет
киль волиу.
1927

ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ПОДХАЛИМ

В любом учрежденииии
есть подхалим.
Живут подхалимы,
и иеплохо им.

Подчас молодежи,
на них глядя,
хочется
устронться —
как устронлся дядя.
Но как
в доверне к начальству влезть?
Ответственного
не возьмешь на нпзкую лесть.
Напрнмер,
распахивать перед начальством
двери —
не к чему.
Начальство тебе не поверит,
не оценит
энергин
нзлншнюю трату —
подумает,
что это
ты —
по штату.
Илн вот еще
способ
очень грубый:
трубить
начальству
в пнонерские трубы.
Еще рассердится:
— Чего, мол, радн
ежесекундные
праздннки
у нас
в отряде?
Надо
льстнть
умело н тонко.
Но откуда
тонкость
у подростка н ребенка?!
И мы,
желанием помочь палимы,
выпускаем
«Руководство
для молодого подхалнмы».

Например,
начальство
делает доклад —
выкладывает канцелярской премудростн
клад.
Стакан
ко рту
поднесет рукой
и опять
докладывает час-другой.
И вдруг
вопль посредине доклада:
— Время
докладчику
ограннчнть надо!—
Тогда
ты,
сотрясая зданне,
требуй:
— Слово
к порядку заседания!
Доклад —
звезда средь мрака н теменн.
Требую
продолжать
без ограничення времени!—
И будь уверен —
за слова за этн
начальство запомнит тебя
н заметнт.
Узнав,
что у начальства
сочннення есть,
спешн
печатный отчетншко прочесть.
При встрече
с начальством,
закатывая глазкн,
скажн ему
голосом,
полным ласкн:
— Прочел отчет.
Не отчет, а роман!

У вас
стнхн бы
вышлн задарма!
Скажите,
не вы лн
автор «Антидюринга»?
Тоже
иаписаи
очень недуриенько.—
Увереи будь —
за оцеикн за эти
и иачальство
оценит тебя
и заметит.
Увидншь:
иачальство
едет пьяиеиький
в казеииой машиие
и в дамской компаиийке.
Пишн
в стеигазету,
возмущеиный иасквозь:
«Экоиомия экоиомии розиь.
Такую экоиомию —
высмейте смешком!
На что это похоже?!
Еле-еле
со службы
и иа службу,
таскаясь пешком,
иачкаиц
волочит свои портфелн».
И ты
преуспеешь иа жизиеиной сцеие —
иачальство
заметит тебя
и оценит.

А еслн
ие хотите
быть подхалимой,
самн
себе
не зажнмайте рот:

увндев
безобразие,
не проходнте мимо
и поступайте
ие по стнху,
а наоборот.

1927

КРЫМ

Хожу,
гляжу в окио ли я —
цветы
да иебо сииее,
то в нос тебе магнолия,
то в глаз тебе
глициинн.

На молоко
смеиил
чаи́
в сияиье
луиных чар.
И днем
и иочью
иа Чаир
вода
бежит, рыча.

Под страшиой
стражей
волн-борцов
глубнны вод гиоят
повыброшеиных
нз дворцов
тритоиов и наяд.

А во дворцах
другая жизнь:
насытясь
водиой блажью,
иди, рабочнй,
и ложнсь

в кровать
великокняжью.
Пылают горы-горны,
и море синеблузнтся.
Людей
ремонт ускоренный
в огромной
крымской кузнице.

1927

ТОВАРИЩ ИВАНОВ

Товарищ Иванов —
мужчина крепкнй,
в штаты врос
покрепше репкн.
Сидит
бессменно
у стула в оправе,
придерживаясь
на службе
следующих правил.
Подходнт к телефону —
достоннство
складкой.
— Кто спрашивает?
— Товарнщ *тот!*—
И сразу
рот
в улыбке сладкой —
как будто
у него не рот, а торт.
Когда
начальство
рассказывает анекдот,
такой,
от которого
покраснел бы н дуб,—
Иванов смеется,
смеется, как ннкто,

хотя
от флюса
иоет зуб.
Спросишь миеиие —
придет в смятеиьице,
деликатио
отложит
до дия
до следующего,
а к следующему
узиаете
миеиьице —
уважаемого
товарища заведующего.
Начальство
одио
смахиут, как пыльцу...
Какое
ему,
Иваиову,
дело?
Он служит
так же
другому лицу,
его печёике,
улыбке,
телу.
Напялит
иа себя
иачальствеииую маску,
иачальственные привычки,
иачальствеииый
вид.
Начальство ласковое —
и ои
ласков.
Начальство грубое —
и ои грубит.
Увидя безобразие,
ие протестует впустую.
Протест
замирает
в зубах тугих.

— Пускай, мол,
первымн
другне протестуют.
Что я, в самом деле,
лучше других? —
Тот —
уволен.
Этот —
сокращен.
Бессменио
одно
Иваиовье рыльце.
Везде
и всюду
пролезет он,
подмылеииый
скользкнм
подхалимскнм
мыльцем.
Впрочем,
иаписаииое
ии для кого не ново —
разве иет
у вас
такого Иванова?
Кричу
благим
(а ие просто) матом,
глядя
иа подобные нстории:
— Где я?
В лоиах
красных наркоматов
или
в дооктябрьской консисторин?!

1927

ПОСМОТРИМ САМИ, ПОКАЖЕМ ИМ

Рабочнй Москвы,
ты вндишь
везде:

в котлах —
асфальтиое варево,
стропилы,
стук
и дым весь день,
и цены
сползают товаровы.
Союз расцветет
у полей в оправе,
с годами
разделаем в рай его.
Мы землю
завоевали
и правим,
чистя ее
и отстраивая.
Буржуи
тоже,
в кулак ие свистя,
чихают
иа иаши ды́мы.
Зиают,
что иесколько лет спустя —
мы —
будем иепобедимы.
Открыта
шпаие
буржуев казиа,
хотят,
чтоб заводчик пас иас.
Со всех сторои,
гулка и грозиа,
идет
иа Советы
опасиость.
Сегодия
советской силы показ:
в ответ
иа гиев чемберлеиский
в секуиду
иадеием
противогаз,
штыки рассияем в блеске.

Не думай,
чтоб займами
нас одарили.
Храии
республику
иа свои гроши.
В ответ Чемберлеиам
взлетай, эскадрилья,
виитами
вражье иебо кроши!

Страиа у нас
мягка и добра,
ио землю Советов —
не трогайте:
тому,
кто свободу придет отобрать,
сумеем
остричь
когти.

1927

ИВАН ИВАНОВИЧ ГОНОРАРЧИКОВ

(Заграничные газеты печатают безыменный протест русских писателей.)

Писатель
Иван Иваиыч Гоиораричков
правительство
советское
обвииияет в том,
что живет-де писатель
запечатаииым ларчиком
и владеет
замóк
общеизуреииым ртом.
Еле
преодолевая
пивиую одурь,
иапевает,
склоиясь
головой солóвой:

— О, дайте,
дайте мне свободу
сло́ва.—
Я тоже
сделан
из писательского теста.
Действительно,
чего этой цензуре надо?
Присоединяю
голос
к писательскому протесту:
ознакомимся
с писательским
ларчиком-кладом!
Подойдем
к такому
демократично и ласково.
С чего начать?
Отодвинем
товарища
Лебедева-Полянского
и сорвем
с писательского рта
печать.
Руки вымоем
и вынем
содержимое.
В начале
ротика —
пара
советских анекдотиков.
Здесь же
сразу,
от слюней мокра́,
гордая фраза:
— Я —
демократ! —
За ней —
другая,
длинней, чем глиста:
— Подайте
тридцать червонцев с листа! —

Что зуб —
то светоч.
Зубовиая гииль
светит,
как светят
гнилушки-огии.
А когда
язык
приподияли робкий,
сидевший
в глотке
наподобие пробки,
вырвался
визг осатаиелый:
— Ура Милюкову,
даешь Дардаиеллы!—
И сразу
все заорали:
— Закройте-ка
иедра
благоухающего ротика!—

Мы
цеизурой
белые враки обводим,
чтоб иикто
ие мешал
словам о свободе.
Чем точить
демократические лясы,
обливаясь
чаями
до четвертого поту,
поможем
и словом
свободиому классу,
силой
оберегающему
и строящему свободу.
И вдруг
мелькает
мысль-заря:

а может быть,
я
и рифмую зря?
Не эмигрант ли
грязный
из бороденки вшивой
вычесал
и этот
протестик фальшивый?!

1927

ЧУДЕСА!

Как диище бочки,
правильным диском
стояла
луна
над дворцом Ливадийским.
Взошла над землей
и пошла заливать ее,
и льется на море,
на мир,
на Ливадию.
В царевых дворцах —
мужики-санаторники.
Луна, как дура,
почти в исступлении,
глядят
глаза
блинорожия плоского
в афишу на стенах дворца:
«Во вторник
выступление
товарища Маяковского».
Сам самодержец,
здесь же,
рядом,
гонял по залам
и по биллиардам.
И вот,
где Романов
дулся с маркёрами,

шары
ложа́
под свнтское ржанне,
чнтаю я
крестьянам
о форме
стихов —
н о содержанин.
Звонок.
Луна
отодвннулась тусклая,
н я,
в электрнчестве,
стою на эстраде.
Сндят предо мною
рязанскне,
тульскне,
почесывают бороды русские,
ерошат пальцами
русые пряди.
Их лнца ясны,
яснее, чем блюдце,
где надо — хмуреют,
где надо —
смеются.
Пусть тот,
кто Советам
не знает цену,
со мною станет
от радости пьяным:
где можно
еще
читать во дворце —
что?
Стнхи!
Кому?
Крестьянам!
Такую страну
н сравннвать не с чем,—
где еще
мыслнмы
подобные вещн?!

И думаю я
обо всем,
как о чуде.
Такое настало,
а что еще будет!
Вижу:
выходят
после лекции
два мужика
слоиовьей комплекции.
Уселись
вдвоем
под стекляиный шар,
и первый
второму
заметил:
— Мишка,
очеино хороша —
эта
последияя
была рифмишка.—
И долго еще
гудят ливадийцы
на желтых дорожках,
у сиией водицы.

1927

МАРУСЯ ОТРАВИЛАСЬ

Вечером после работы этот комсомолец уже не ваш товарищ. Вы не называйте его Борей, а, подделываясь под гнусавый французский акцент, должны называть его «Боб»...

«Комс. правда».

В Лениинграде девушка-работница отравилась, потому что у нее не было лакированных туфель, точно таких же, какие носила ее подруга Таня...

«Комс. правда».

Из тучки месяц вылез,
молодеиький такой...
Маруська отравилась,
везут в прием-покой.

Поиравился Маруське
один
с иедавиих пор:
иафабреииые усики,
расчесаииый пробор.
Ои был
моитером Ваней,
ио...
в духе парижаи,
себе
присвоил звание:
«электротехиик Жаи».
Ои говорил ей часто
одиу и ту же речь:
— Ужасиое мещаиство —
иевииность
зря
беречь.—
Сошлись и погуляли,
и хмурит
Жаи
лицо,—
иашел ои,
что
у Ляли
красивше бельецо.
Марусе разиесчастиой
сказал, как джеитльмеи:
— Ужасиое мещаиство —
семейиый
этот
плеи.—
Он с ней
расстался
ровио
через пятиадцать дией,
за то,
что лакироваииых
иет туфелек у ней.
На туфли
деиег иадо,
а денег
иет и так...

Себе
Маруся
яду
купила
на пятак.
Короткой
жизин
точка.
— Смер-тель-иый
я-яд
нспит...—
В малиновом платочке
в гробу
Маруся
спит.
Развылся ветер гадкий.
На вечер,
ветру в лад,
в ячейке
об упадке
поставили
доклад.

Почему?

В сердце
без лесеики
лезут
эти песенки.
Где родина
этих
бездарных романсов?
Там,
где белые
лаются моською?
Нет!
Эту песию
родила масса —
иаша
комсомольская.
Легко
врага
продырявить нагаиом.

Или —
голову с плеч,
и саблю вытри.
А как
сейчас
ищупать врага иам?
Таится.
Хитрый!
Во что б ии обулись,
что б ни иадели —
обиоски
буржуев
у нас иа теле.
И иет
тебе
пути-прямика.
Нашей
культуришке
без году неделя,
а ихней —
века!
И растут
чериые
дурни
и дуры,
иичем ие защищеиные
от барахла культуры.
На улицу вышел —
глаза разопри!
В каждой витриие
буржуевы обиоски:
какая-иибудь
шляпа
с пером «распри»,
и туфли
показывают
лакировааиые иосики.
Простеиькую
блузу иам
и иадеть коифузио.
На улицах,
под руководством
Гарри Пилей,

расставило
сети
Совкино,—
от нашей
сегодняшией
трудной были
уиосит
к жизин к нной.
Там
ни едииого
ин Ваньки,
ни Пети,
однн
Жаиины,
одии
Кэти.
Толча комплимеиты,
как воду в ступке,
людн
совершают
благородиые поступки.
Всё
бароиы,
графы — всё,
живут
по разиым
роскошиым городам,
ограбят
и скажут:
— Мерси, мусье,—
изнасилуют
и скажут:
— Пардон, мадам.—
На леите
каждая —
графиня миниимум.
Перо в шляпу
да серьгн в ушн.
Куда же
сравииться
с такимн графиями
заводской
Феклуше да Марфуше?

И мальчики
пачками
стреляют за иэпачками.
Нравятся
мальчикам
в маникюре пальчики.
Играют
этим пальчиком
иэпачки
иа рояльчике.
А суиешься в клуб —
речь рвотиая.
Чешут
языками
чииовиоустые.
Раз междуиародиое,
два междуиародное,
ио иельзя же до бесчувствия!
Напротив клуба
дверь пивиушки.
Веселье,
грохот,
как будто пушки!
Старается
разиая
музыкальиая челядь
пиаиииить
и виолоичелить.
Входите, товарищи,
зайдите, подружечки,
выпейте,
пожалуйста,
по пеииой кружечке!

Что?

Крою
пиво пеииое,—
только что вам
с этого?!

Что даю взамеи я?
Что вам посоветовать?
Хорошо
и целоваться,
и вино.
Но...
виио и поэзия,
и если
ее
хоть раз
по-настоящему
испили рты,
ее
ие замеиит
иикакое питье,
иикакие пива,
иикакие спирты.
Помни
ежедиевно,
что ты
зодчий
и иовых отношеиий
и новых любовей,—
и стаиет
еруидовым
любовиый эпизодчик
какой-иибудь Любы
к любому Вове.
Можио и кепки,
можно и шляпы,
можно
и перчатки иадеть на лапы.
Но иет
иа свете
прекрасией одежи,
чем бронза мускулов
и свежесть кожи.
И если
подыметесь
чисты́ и стройны́,
любую
одежу
заказывайте Москвошвею,

и...
лучшие
девушки
нашей страны
сами
бросятся
вам на шею.

1927

ПИСЬМО К ЛЮБИМОЙ МОЛЧАНОВА, БРОШЕННОЙ ИМ,

как о том сообщается в № 219 «Комсомольской правды» в стихе по имени «Свидание»

Слышал —
вас Молчанов бросил,
будто
он
предпринял это,
видя,
что у вас
под осень
нет
«изячиого» жакета.
На косынку
цвета синьки
смотрит он
и цедит еле:
— Что вы
ходите в косынке?
Да и...
мордой постарели?
Мне
пожалте
грудь тугую.
Ну,
а если
нету этаких...
Мы найдем себе другую
в разызысканной жакетке.—

Припомадясь
н прнкрасясь,
эту
гадость
влнвшн в стнх,
хочет
он
марксистскнй базис
под жакетку
подвестн.
«За боль годов,
за все невзгоды
глухнм сомнеиням не быть!
Под этим мнрным небосводом
хочу смеяться
н любить».
Сказаио веско.
Посмотрите, дескать:
шел я верхом,
шел я ннзом,
стронл
мост в социалнзм,
не достронл
н устал
и уселся
у моста́.
Травка
выросла
у мо́ста,
по мосту́
идут овечкн,
мы желаем
— очень просто! —
отдохнуть
у этой речкн.
Заверните ваше знамя!
Перед намн
ясность вод,
в бок —
цветочкн,
а над нами —
мнрный-мнрный небосвод.

Брошенная,
не бойтесь красивого слога
поэта,
музой венча́нного!
Просто
и строго
ответьте
на лиру Молчанова:
— Прекратите вашн трелн!
Я не знаю,
я стара лн,
но вы,
Молчанов,
постарели,
вы
н ваши пасторалн.
Знаю я —
в жакетах в этих
на Петровке
бабья банда.
Этн
польскне жакетки
к нам
провозят
контрабандой.
Чем, служа
у муз
по найму,
на мое
тряпье
коситься,
вы б
ндустрнальным займом
помогли
рожденью
снтцев.
Череп,
што ль,
пустеет чаном,
выбил
мысли
грохот лирный?

Это где же
вы,
Молчаиов,
иебосвод
узрели
мириый?
В гущу
ваших ро́здыхов,
под цветочки,
иа реку
заграиичиым воздухом
не доносит гарьку?
Или
ва любовиой блажью
ие видать
угрозу вражью?

Литературиая шатия,
успокойте ваши иервы,
отойдите —
вы мешаете
мобилизациям и маиеврам.

1927

«МАССАМ НЕПОНЯТНО»

Между писателем
и читателем
стоят посредиики,
и вкус
у посредиика
самый средиеиький.
Этаких
средиеиьких
из посредиической рати
тыща
и в критиках
и в редакторате.
Куда бы
мысль твоя
ии скакала,

этот
все
озирает соино:
— Я
человек
другого закала.
Помню, как сейчас,
в стихах
у Надсóиа...
Рабочий
ие любит
строчек коротеиьких.
А еще
посредников
кроет Асеев.
А эиаки препииаиия?
Точка —
как родиика.
Вы
стих украшаете,
точки рассеяв.
Товарищ Маяковский,
писали б ямбом,
двугривеииый
на строчку
прибавил вам бы.—
Расскажет
иесколько
средиевековых легенд,
объяснеиие
часа иа четыре затянет,
и ко всему
присказывает
уиылый интеллигеит:
— Вас
ие поиимают
рабочие и крестьяие.—
Сникает
автор
от созиаиия виины.
А этот самый
критик влиятельный

крестьянина
видел
только до войны,
при покупке
на даче
ножки телятины.
А рабочих
и того менее —
случайно
двух
во время наводнения.
Глядели
с моста
на места и картины,
на разлив,
на плывущие льдины.
Критик
обошел умиленно
двух представителей
из десяти миллионов.
Ничего особенного —
руки и груди...
Люди — как люди!
А вечером
за чаем
сидел и хвастал:
— Я вот
знаю
рабочий класс-то.
Я
душу
прочел
за их молчаньем —
ни упадка,
ни отчаяния.
Кто может
читаться
в этаком классе?
Только Гоголь,
только классик.
А крестьянство?
Тоже.
Никак не иначе.

Как сейчас помню —
весною, на даче...—
Этакие разговорчики
у литераторов
у нас
часто
заменяют
знание масс.
И идут
дореволюционного образца
творения слова,
кисти
и резца.
И в массу
плывет
интеллигентский дар —
грезы,
розы
и звон гитар.
Прошу
писателей,
с перепугу бледных,
бросить
высюсюкивать
стихи для бедных.
Понимает
ведущий класс
и искусство
не хуже вас.
Культуру
высокую
в массы двигай!
Такую,
как и прочим.
Нужна
и понятна
хорошая книга —
и вам,
и мне,
и крестьянам,
и рабочим.

1927

РАЗМЫШЛЕНИЯ О МОЛЧАНОВЕ ИВАНЕ И О ПОЭЗИИ

Я взял газету
и лег на диван.
Читаю:
«Скучает
Молчаиов Иван».
Не скрою, Ванечка:
скушно н нам.
И вашн стншонкн —
скукн внна.
Десятый Октябрь
у всех на носу,
а вы
ухватнлнсь
за чью-то косу.
Любйте
н Машу
н косы ейные.
Это
ваше
дело семейное.
Но что нам за толк
от вашей
от бабы?!
Получше
стншкн
пнсалн хотя бы.
Но плох ваш роман.
И стнх неказнст.
Вот так
любнл бы
любой гнмназнст.
Вы нам обещаете,
скушный Ваия,
на случай нужды
пойтн, барабаня.
Де, будет
туман.
И отверзнете рот,
на весь
на туман

заорете:
— Вперед!—
Де,
— выше взвивайте
красное знамя!
Вперед, переплетчнки,
а я —
за вамн.—
Орать
«Караул!»,
попавшн в туман?
На это
не надо
большого ума.
Сегодняшнний
день
возвелнчнть вам ли,
в хвосте
у событий
о девушках мямля?!
Поэт
настоящий
вздувает
заранее
из нскры
неясной —
ясное знанне.

1927

ЕКАТЕРИНБУРГ — СВЕРДЛОВСК

Из снегового,
слепящего лоска,
нз перепутанных
сучьев
и хвон —
встает
внезапно
домамн Свердловска
новый город:
работник н вонн.

Под Екатеринбургом
рыли каратики,
вгрызались
в мерзлые
породы и руды —
чтоб на грудях
коронованной Катьки
переливались
изумруды.
У штолен
в боках
корпели,
пока —
Октябрь
из шахт
на улицы ринул,
и...
разослала
октябрьская ломка
к чертям
орлов Екатерины
и к богу —
Екатерины
потомка.
И грабя
и испепеляя,
орда растакая-то
прошла
по городу,
войну волоча.
Порол Пепеляев.
Свирепствовал Гайда.
Орлом
клевался
верховный Колчак.
Потухло
знамен
и пожаров пламя,
и лишь,
от него
как будто ожог,

сегодня
горнт —
временам на память —
в свердловском небе
красный флажок.
Под нним
с простора
от снега светлого
встает
новоро́жденный
город Све́рдлова.
Полунебоскребы
лесами по́днял,
чтоб в электрнчестве
мыть вечера́,
а рядом —
грнб,
дыра,
пренсподняя,
как будто
у города
нету
«сегодня»,
а только —
«завтра»
и «вчера».
В санях
промежду
бнрж и трестов
свнстн
во весь
шнроченный проспект.
И...
заколдованное место:
вдруг
проспект
обрывает разбег.
Просыпалн
в ночь
расчернее могнлы
звезды-табачишко
из неба кисета.

И грудью
топок
дышут Тагилы,
да трубки
заводов
курят в Исети.

У этого
города
нету традиций,
бульвара,
дворца,
фонтана и неги.
У нас
на глазах
городище родится
из воли
Урала,
труда
и энергии!

1928

РАССКАЗ ЛИТЕЙЩИКА ИВАНА КОЗЫРЕВА О ВСЕЛЕНИИ В НОВУЮ КВАРТИРУ

Я пролетарий.
Объясняться лишне.
Жил,
как мать произвела, родив.
И вот мне
квартиру
дает жилищный,
мой,
рабочий,
кооператив.
Во — ширина!
Высота — во!
Проветрена,
освещена
и согрета.

Все хорошо.
Но больше всего
мне
понравилось —
это:
это
белее лунного света,
удобней,
чем земля обетованная,
это —
да что говорить об этом,
это —
ванная.
Вода в кране —
холодная крайне.
Кран
другой
не тронешь рукой.
Можешь
холодной
мыть хохол,
горячей —
пот пор.
На кране
одном
написано:
«Хол.»,
на кране другом —
«Гор.».
Придешь усталый,
вешаться хочется.
Ни щи не радуют,
ни чая клокотанье.
А чайкой поплещешься —
и мертвый расхохочется
от этого
плещущего щекотания.
Как будто
пришел
к социализму в гости,
от удовольствия —
захватывает дых.

Брюки на крюк,
блузу на гвоздик,
мыло в руку
и...
бултых!
Сядешь
и моешься
долго, долго.
Словом,
сидишь,
пока охота.
Просто
в комнате
лето и Волга —
только что нету
рыб и пароходов.
Хоть грязь
на тебе
десятилетнего стажа,
с тебя
корою с дерева,
чуть не лыком,
сходит сажа,
смывается, стерва.
И уж распаришься,
разжаришься уж!
Тут —
вертай ручки:
и каплет
прохладный
дождик-душ
из дырчатой
железной тучки.
Ну ж и ласковость в этом душе!
Тебя
никакой
не возьмет упадок:
погладит волосы,
потреплет уши
и течет
по желобу
промежду лопаток.

Воду
стираешь
с мокрого тельца
полотеицем,
как зверь, мохиатым.
Чтобы суше пяткам —
пол
стелется,
извиияюсь за выражеиие,
пробковым матом.

Себя разглядевши
в зеркало вправлениое,
в рубаху
в чистую —
влазь.
Влажу и думаю:
«Очень правильиая
эта,
иаша,
Советская власть».

Свердловск
28 января 1928 г.

ДЕСЯТИЛЕТНЯЯ ПЕСНЯ

Дрянь адмиральская,
паи
и барои
шли
от шестиадцати
разиых сторои.
Пушка —
фраицузская,
а́нглийский таик.
Белым
папаша
Аитаитовый стан.
Билась
Советская
наша страиа,

дии
грохотали
разрывом граиат.
Не для разбоя
битва зовет —
мы
защищаем
поля
и завод.
Шли деревенские,
лезли из шахт,
дрались
голодиые,
в рваии
и вшах.
Серые шлемы
с красиой звездой
белой ораве
крикиули:
— Стой!—
Били Деиикиия,
были
Махио,
так же
любого
с дороги смахием.
Хрустиул,
проломаниый,
Крыма хребет.
Красиая
крепла
в громе побед.
С вами
сливалось,
победу растя,
сердце —
рабочих,
сердце —
крестьян.
С первой тревогою
с наших низов
стомиллионные
встанем на зов.

Землю колебля,
в новый поход
двинут
дивизии
Красных пехот.
Помня
принятие
красных присяг,
лава
Буденных
пойдет
на рысях.
Против
буржуевых
новых блокад
красные
птицы
займут облака.
Крепни
и славься
в битвах веков,
Красная
Армия
большевиков!

1928

НАГРУЗКА ПО МАКУШКУ

Комсомолец
Петр Кукушкин
прет
в работе
на рожон,—
он от пяток
до макушки
в сто нагрузок нагружен.
Пообедав,
бодрой рысью
Петя
мчит
на культкомиссию.

После
Петю видели
у радиолюбителей.
Не прошел
мимо
и Осоавиахима.
С химии
в одии прыжок
прыгиул
в шахматиый кружок.
Играть с Кукушкииым —
нельзя!
ои
путал
пешку и ферзя.—
(Малюсеиький затор!)
Но... Петя
зиал,
врагов разя,
теорию зато.
Этот Петя
может
вскачь
критикиуть
всемирный матч.
— «Я считаю:
оба плохи —
Капаблаика и Алехии,
оба-два,
в игре юля,
охраияли короля.
Виден
в ходе
в этом вот
иемарксистский подход.
Я
и часа не помешкаю —
моиархизмы
ешьте пешкою!»
Заседания
и речи,

ходит утро,
ходит вечер,
от трудов —
едва дыша,
и торчат
в кармане френча
тридцать три карандаша.
Просидел
собраний двести.
Дни летят,
недели тают...
Аж мозоль
натер
на месте,
на котором заседают.
Мозг мутится,
пухнет парень,
тело
меньше головы,
беготней своей упарен,
сам
себя
считает парень —
разужасно деловым.
Расписал
себя
на год,
хоть вводи
в работу НОТ!
Где вы, Гастев с Керженцевым?!.
С большинством —
проголосует,
с большинством —
воздержится.

Год прошел.
Отчет недолог.
Обратились к Пете:
— Где ж
работы
смысл и толк
от нагрузок этих? —

Глаз
в презреньe
щурит Петь,
всех
окинул
глазом узким:
— Где ж
работать мие поспеть
при такой нагрузке?

1928

КТО ОН?

Кто мчится,
кто скачет
такой молодой,
противник мыла
и в контрах с водой?
Как будто
окорока ветчины,
небритые щеки
от грязи черны.
Разит —
и грязнее черных ворот
зубною щеткой
нетронутый рот.
Сродни
шевелюра
помойной яме,
бумажки
и стружки
промеж волосьями;
а в складках блузы
безвременный гроб
нашел
энергично раздавленный клоп.
Трехлетнего пота
журчащий родник
проклеил
и выгрязнил
весь воротник.

Кто мчится,
кто скачет
и брюки ло́вит,
держащиеся
на честном слове?
Сбежав
от повинностей
скушных и тяжких,
за скакуном
хвостятся подтяжки.
Кто мчится,
кто скачет
резво и яро
по мостовой
в обход тротуара?
Кто мчит
без разбора
сквозь слякоть и грязь,
дымя по дороге,
куря
и плюясь?
Кто мчится,
кто скачет
виденьем крылатым,
трамбуя
встречных
увесистым матом?
Кто мчится,
и едет,
и гонит,
и скачет?
Ответ —
апельсина
яснее и кратче,
ответ
положу
как на блюдце я:
то мчится
наш товарищ докладчик
на диспут:
«Культурная революция».

1928

СЛУЖАКА

Появнлнсь
молодые
превоспитаиные люди —
Мопров
знаки золотые
им
увеичивают грудн.
Парт-комар
нз МКК
не подточит
парию
иоса:
к сроку
вписаиа
строка
проф-
н парт-
и прочих взносов.
Честен он,
как честеи вол.
В место
в собствеиное
вросся
н не видит
ничего
дальше
собственного носа.
Коммуинзм
по книге сдав,
перевызубрившн «нзмы»,
он
покоичил иавсегда
с мыслями
о коммуинзме.
Что заглядывать далече?!
Циркуляр
снди
н ждн.
— Нам, мол,
с вами
думать неча,

если
думают вожди.—
Мелких дельцев
пару шор
ои
иадел
на глаза оба,
чтоб служилось
хорошо,
безмятежио,
узколобо.
Деиь — этап
растрат и лести,
день,
когда
простор подлизам,—
это
для него
и есть
самый
рассоциализм.
До коммуиы
перегои
не покрыть
иа этой кляче,
как иарочио
создаи
он
для чиновиичьих делячеств.
Блещут
зиаки золотые,
гордо
выпячеиы
груди,
ходят
тихо
молодые
приспособленные людн.
О коряги
якорятся
там,
где тихая вода...

А иа стенке
декорацией
Карлы-марлы борода.

Мы томимся неизвестиостью,
что иам делать
с ихней честностью?

Комсомолец,
живя
в твои лета́,
октябрьским
озоиом
дыша,
помии,
что каждый деиь —
этап,
к цели
иамечеииой
шаг.
Не иаши —
которые
времени в зад
уперли
лбов
медь;
быть коммуиистом —
зиачит дерзать,
думать,
хотеть,
сметь.
У нас
еще
ие Эдем и рай —
мещанская
тииа с цвелью.
Работая,
мелочи соразмеряй
с огромиой
поставлеииой целью.
1928

КРИТИКА САМОКРИТИКИ

Модою —
объяты все:
и размашисто
и куце,
словио
белка в колесе
каждый
самокритикуется.
Сам себя
совбюрократ
бьет
в чиновничие перси.
«Я
всегда
советам рад.
Критикуйте!
Я —
без спеси.
Но...
стеигазиое мычаиье...
Где
в рабкоре
толку статься?
Вы
пишите замечаиия
и пускайте
по иистаициям».
Самокритик
совдурак
рассуждает,
помпадурясь:
«Я же ж
критике
не враг.
Но рабкорь —
разводит дурость.
Критикуйте!
Не обижеи.

Здравым
мыслям
сердце радо.
Но...
чтоб критик
был
не ниже,
чем
семнадцтого разряда».
Сладкогласый
и ретивый
критикует подхалим.
С этой
самой
директивы
не был
им
никто
хвалим.
Сутки
сряду
могут крыть
тех,
кого
покрыли свыше,
чтоб начальник,
видя прыть,
их
из штатов бы
не вышиб.
Важно
пялят
взор спецы́
на критическую моду,—
дескать —
пойте,
крит-певцы,
языком
толчите воду.
Много
было
каждый год
разударнейших кампаний.

Быть
тебе
в архиве мод —
мода
иа самокопанье.
А рабкор?
Рабкор —
смотрите! —
приуиыл
и смотрит криво:
от подобных
самокритик
у иего
трещит
загривок.
Безработиые ручища
тычет
зря
в кармаиы ои.
Он —
обдериут,
он —
прочищеи,
ои зажат
и сокращен.
Лава фраз —
ие выплыть вплавь.
Где размашисто,
где куцо,
модиый
лозунг
оседлав,
каждый —
самокритикуется.

Граждаие,
вы ие врите-ка,
что это —
самокритика!

Покамест
точат начальиики
демократическне лясы,

меж иамн
живут молчальникн —
овцы
рабочего класса.
А пока
молчим по-рабьи,
бывшнх
белых
крепиут орды —
рвут,
наслуют
н грабят,
иепокориым —
плющат морды.
Молчалиных
кожа
устроеиа хи́тро:
плюиут им
в рожу —
рожу вытрут.
«Не по рылу грохот нам,
где ж нам
жаловаться?
Не прощаться ж
с крохотиым
с иашим
с жалованьицем».
Полчаса
в кутке
покнпят,
чтоб снова
дрожать начать.

Эй,
проснитесь, которые спят!
Разоблачай
с головы до пят.
Товарнщ,
не смей молчать!

1928

«ОБЩЕЕ» И «МОЕ»

Чуть-чуть еще, и он почти б
был положительнейший тип.

Иван Иваныч —
чуть не «вождь»,
дана
в ладонь
вожжа ему.
К нему
ндет
бумажный дождь
с прнпиской —
«уважаемый».
В делах умен,
в работе —
быстр.
Кнчнться —
нет прнвычек.
Он
добросовестный службнст —
не вор,
не волокнтчнк.
Велик
его
партнйный стаж,
взглянн в блнет —
н ахни!
Карманы в ручках,
а уста ж
сахарного сахарней.
На завнсть
легкость языка,
уверенно
н пусто
он,
взяв путевку из ЭМКА,
бубннт
под Златоуста.
Поет
на соловьнный лад,
нграет
слов
оправою

«о здравии комсомолят,
о жеиском равиоправии».
И, сияв
служебиые гужи,
узиавши,
час который,
домой
приедет, отслужив,
и...
опускает шторы.
Распустит
ои
жилет...
и здесь,
— здесь
частиой жизии часики! —
преображается
весь
по-третье-мещаиски.
Чуть-чуть
не с декабристов
род —
хоть предков
в рамы рамьте!
Но
сыиа
за уши
дерет
за леиость в политграмоте.
Орет кухарке,
разъярясь,
супом
усом
капая:
«Не суп, а квас,
который раз,
пермячка сиволапая!..»
Живешь века,
века учась
(геиии
ие ро́дятся).
Под граммофои
с подругой
час

под сенью штор
фокстротится.
Жена
с похлебкой из пшена
сокращена
за древиостью.
Его
вторая зам-жена
и хороша,
и сложена,
и вымучена ревностью.
Елозя
лапой по ногам,
ероша
юбок утлость,
он вертит
под носом наган:
«Ты с кем
сегодня
путалась?..»
Пожил,
и отошел,
и лег,
а ночь
паучит нити...
Попробуйте,
под потолок
теперь
к нему
взгляните!
И сразу
он
вскочил и взвыл.
Рассердится
и визгиет:
«Не смейте
вмешиваться
вы
в интимность
частной жизни!»

Мы вовсе
не хотим бузить.

Мы кроем
быт столетний.
Но, боже...
Марксе, упасн
нам
заниматься сплетней!
Не будем
в скважины смотреть
на дрязги
в вашей комнате.
У вас
на дом
из суток —
треть,
но знайте
и помните:
глядит
мещанская толпа,
мусолит
стол и ложе...
Как
под стеклянный колпак,
на время
жизнь положим.
Идя
сквозь быт
мещанских клик,
с брезгливостью
преувеличенной,
мы
переменим
жизни лик,
и общей,
и личной.

1928

КАЗАНЬ

Стара,
коса
стоит
Казань.

Шумнт
бурун:
«Шурум...
бурум...»
По-родному
тараторя,
снегом
лужи
намарав,
у подворья
в корндоре
людн
смотрят номера.
Кашляя
в рукава,
входнт
робковат,
глаза таращнт.
Прнветствую товарнща.

Я
в языках
не очень натаскан —
что норвежским,
что шведским мажь.
Входнт татарнн:
«Я
на татарском
вам
прочитаю
«Левый марш».
Входит второй.
Косой в скуле.
И говорнт,
в карманах порыскав:
«Я —
мариец.
Твой
«Левый»
дай
тебе
прочту по-марнйски».

Эти вышли.
Шедших этих
в иизкой
двери
встретил третий.
«Марш
ваш —
иаш марш.
Я —
чуваш,
послушай,
уважь.
Марш
вашииский
так по-чувашски...»
Как будто
годы
взял за чуб я —
— Стаиьте
и не пылите-ка!—
рукою
своею собствеиной
щупаю
бестелое слово
«политика».
Народы,
жившие,
въямясь в иужду,
притершись
Уралу ко льду,
ворвались в дверь,
идя
на штурм,
иа камень,
иа крепость культур.
Крива,
коса
стоит
Казаиь.
Шумит
буруи:
«Шурум...
бурум...»
1928

ТРУС

В меру
и черны́ и русы,
пряча взгляды,
пряча вкусы,
боко́м,
теиью,
в стороие,—
пресмыкаются тру́сы
в славиой
смелыми
стране.
Каждый зав
для труса —
туз.
Даже
от его роднн
опускает глазки трус
и уходит
в воротник.
Влип
в бумажки
парой глаз,
ног
поджаты циркуля:
«Схороиться б
за приказ...
Спрятаться б
за циркуляр...»
Не поймешь,
мужчина,
рыба ли —
междометья
зря
не выпалит.
Где уж
подпись и печать!
«Только бы
меия ие выбрали,
только б
мне ие отвечать...»
Ухо в метр
— никак ие менее —

за начальством
ходит сзади,
чтоб, услышав
ихнье
миение,
завтра
это же сказать им.
Если ж
старший
смеиит мнеиие,
он
усвоит
миенье старшино:
— Миенье —
это не имеиье,
потерять его
ие страшно.—
Хоть грабьте,
хоть режьте возле иего,
ие будет слушать ни плач,
ни вой.
«Наше дело
малеиькое —
я сам по себе
ие великий немой,
и рот
водою
наполиеи мой,
вроде
умывальника я».
Трус
оброс
бумаг
корою.
«Где решать?!
Другие пусть.
Вдруг ие выйдет?
Вдруг покроют?
Вдруг
возьму
и ошибусь?»
День-деньской
сплетает тоико

узы
самых странных свадеб —
увязать бы
льва с ягненком,
с кошкой
мышь согласовать бы.
Весь деиь
сердечко
ужас кройт,
предлогов для трепета —
кипа.
Боится автобусов
н Эркаи,
начальства,
жены
и гриппа.
Месткома,
домкома,
просящих взаймы
кладбйща,
милиции,
леса,
собак,
погоды,
сплетен,
зимы
и
показательиых процессов.
Подрожит
и ляжет житель,
дрожью
иочь
корежит тело...
Товарищ,
чего вы дрожите?
В чем,
собствению,
дело?!
В аквариум,
что ли,
сажать вас?
Революция требует,
чтобы имелась

смелость,
смелость
и еще раз —
с-м-е-л-о-с-т-ь.

1928

ПОМПАДУР

Члеи ЦИКа тов. Рухула Алы Оглы Ахундов ударил по лицу пассажира в вагоие-ресторане поезда Москва — Харьков за то, что пассажир отказался закрыть заиавеску у окна. При составлеиии дознаиия тов. Ахуидов выложнл свой циковский билет.

«Правда», № 111/3943.

Мне неведомо,
в кого я попаду,
знаю только —
попаду в кого-то...
Выдающийся
советский помпадур
выезжает
отдыхать
на во́ды.

Как шар,
положенный
в намеченную лузу,
он
лысой головой
для поворотов —
туг
и носит
синюю
положенную блузу,
как министерский
раззолоченный сюртук.
Победу
масс,
позволивших
ему

надеть
незыблемых
мандатов латы,
немедля
принисал он
своему уму,
почел
пожизненной
наградой за таланты.
Со всякой массою
такой
порвал давно.
Хоть политический,
но капиталец —
нажит.
И кажется ему,
что навсегда
дано
ему
над всеми
«володеть и княжить».
Внизу
какие-то
проходят, семеня,—
его
не развлечешь
противною картиной.
Как будто говорит:
«Не трогайте
меня
касанием плотвы
густой,
но беспартийной».
С его мандатами
какой,
скажите,
риск?
С его знакомствами
ему
считаться не с кем.
Соседу по столу,
напившись в дым и дрызг,

орет он:
«Граждании,
задериуть заиавеску!»
Взбодреи заручками
из ЦИКа и из СТО,
помешкавшего
иаграждает оплеухой,
и собеседник
сверзился под стол,
придерживая
окровавлеиное ухо.
Расселся,
хоть на лбу
теши дубовый кол,—
чего, мол,
буду объясияться зря я?!
Велнчествеино
положил
мандат иа протокол:
«Прочесть
и расходиться, козыряя!»
Но что случилось?
Не берут под козырек?
Сановиик
под зиачком
топырит
грудью
платье.
Не пыжьтесь, помпадур!
Другой зарок
дала
великая
иегнущаяся партия.
Метлою лозуигов
звеиит железо фраз,
метлою бурь
по дуракам подуло.
— Товарищи,
подымем ярость масс
за партию,
за коммуиизм,
на помпадуров!—

Неизвестно мне,
в кого я попаду,
но уверен —
попаду в кого-то...
Выдающийся
советский помпадур
ехал
отдыхать на во́ды.

1928

СТИХ
НЕ ПРО ДРЯНЬ,
А ПРО ДРЯНЦО.
ДРЯНЦО
ХЛЕЩИТЕ
РИФМ КОНЦОМ

Всем известно,
что мною
дрянь
воспета
молодостью ранней.

Но дрянь не переводится.
Новый грянь
стих
о новой дряни.

Лезет
бытище
в щели во все.
Подновили житьишко,
предназначенное на слом,
человек
сегодня
приспособился и осел,
странной разновидностью —
сидящим ослом.
Теперь —
затишье.
Теперь не наро́дится
дрянь
с настоящим
характерным лицом.

Теперь
пошло
с измельчаиием иародца
пошлое,
малеиькое,
мелкое дряицо.
Пережил революцию,
до иэпа до́жил
и дальше
приспособится,
хитер иа уловки...
Очевидио —
иедаром тоже
и у булавок
бывают головки.
Где-то
пули
рвут
зиамёииый шелк,
и нищий
Китай
встает, иегодуя,
а ему —
наплевать.
Ему хорошо:
тепло
и ие дует.
Тихо, тихо
стираются грани,
отделяющие
обывателя от дряии.
Давно
каиареек
выкииул вои,
нечего
иа птицу тратиться.
С иидустриализации
завел граммофон
да канареечиые
абажуры и платьица.
Устроил
уютиую
постельную иишку.

Его
некультурной
ругать ли гадиною?!
Берет
и с удовольствием
перелистывает киижку
интереснейшую киижку —
сберегательиую.
Будучи
очень
в семействе добрым,
так
рассуждает
лапчатый гусь:
«Боже
меия упаси от допра,
а от Мопра —
и сам упасусь».

Об этот
быт,
распухший и сальиый,
долго
поэтам
язык оббивать ли?!
Изобретатель,
даешь
порошок уииверсальный,
сразу
убивающий
клопов и обывателей.

1928

ЕВПАТОРИЯ

Чуть вздыхает волиа,
и, вторя ей,
ветерок
иад Евпаторией.
Ветерки эти самые
рыскают,

гладят
щеку евпаторнйскую.
Ляжем
пляжем
в песочке рыться мы
бронзовымн
евпаторнйцамн.
Скрип уключнн,
всплескн
н крнкн —
развлекаются
евпаторнйкн.
В дым черны,
в тюбетейках яркнх
каранмы-
евпаторьякн.
И, сравнясь,
загорают рьяней
москвичн —
евпаторьяне.
Всюду розы
на ножках тонкнх.
Радуются
евпаторёнки.
Все болезнн
выжмут
горячне
грязн
евпаторячьи.
Пуд за лето
с любого толстого
соскребет
евпаторство.
Очень жаль мне
тех,
которые
не бывали
в Евпаторнн.

Евпатория
3 августа 1928 г.

ЗЕМЛЯ НАША ОБИЛЬНА

Я езжу
по южиому
берегу Крыма,—
ие Крым,
а копия
древнего рая!
Какая фауна,
флора
и климат!
Пою,
восторгаясь
и озирая.
Огромиое
синее
Чериое море.
Часы
и дии
берегами едем,
слезай,
освежайся,
ездой умóреи.
Простите, товарищ,
купаться иегде.
Окурки
с бутылками
градом упали —
здесь
даже
корове
лежать не годится,
а сядешь в кабиику —
тебе
из купалеи
вопьется
заиоза-змея
в ягодицу.
Огромиы
сады
в раю симферопольском,—
пудами
плодов
обвисают к лету.

Иду
по ларькам
Евпатории
обыском,—
хоть четверть персика!—
Персиков иету.
Побегал,
хоть версты
меряй иа счетчике!
А персик
мой
на базаре и во́ поле,
слезой
обливая
пушистые щечки,
за час езды
гниет в Симферополе.
Громада
дворцов
отдыхающим иравнтся.
Прилег
и вскочил от кусачей тоски ты,
и крик
содрогает
спокойствие здравиицы:
— Спасите,
на помощь,
съели москиты!—
Но вас
успокоят
разумиостью крнтики,
тревожа
свечой
паутиину и пыль:
«Какие же ж
это,
товарищ,
москитики,
они же ж,
товарищ,
просто клопы!»

В душе
сомнений
переполох.
Контрасты —
черт задери их!
Страна абрикосов,
дюшесов
и блох,
здоровья
и
дизентерии.
Республику
нашу
не спрятать под ноготь,
шестая
мира
покроется ею.
О,
до чего же
всего у нас много,
и до чего же ж
мало умеют!

1928

ПЛЮШКИН.

Послеоктябрьский скопидом обстраивает стол и дом

Обыватель —
многосортен.
На любые
вкусы
есть.
Даже
можно выдать орден —
всех
сумевшим
перечесть.
Многолики эти люди.
Вот один:
годах и в стах
этот дядя
не забудет,

как
тогда
стоял в хвостах.
Если
Союзу
день затруднел —
близкий
видится
бой ему.
О боевом
наступающем дне
этот мыслит по-своему:
«Что-то
рыпаются в Польше...
надобио,
покамест есть,
все достать,
всего побольше
иакупить
и приобресть.
На товары
голод тяжкий
мие
готовят
битв года.
Посудите,
где ж подтяжки
мие
себе
купить тогда?
Чай вприкуску?
Я ие сваха.
С блюдца пить —
привычка свах.
Что ж,
тогда мие
чай и сахар
нарисует,
что ли,
АХРР?»
Оглядев
товаров россыпь,

в жадности
и в алчи
укупил
двеиадцать гроссов
дирижерских палочек.
«Ныиче
все
сбесились с жиру.
Глядь —
войиа чрез пару лет.
Вдруг прикажут —
дирижируй! —
хвать,
а палочек и нет!
И ищи
и там и здесь.
Ничего хорошего!
Я
куплю,
покамест есть,
миого
и дешево».
Что же вам
в коицертном гвалте?
Вы ж
ие Никиш,
а бухгалтер.
«Ничего,
иа всякий случай,
все же
с палочками лучше».

Взлетала
о двух революциях весть.
Бурлили бури.
Плюхали пушки.
А ты,
как был,
такой и есть
ручиою
вшой
копошащийся Плюшкии.

1928

ХАЛТУРЩИК

«Пролетарий
туп жестоко —
дуб
дремучий
в блузиой сиии!
Ои в искусстве
смыслит столько ж,
сколько
свииьи в апельсиие.
Мужики —
большие дети.
Крестияиии
туп, как сука.
С иим
до совершениолетия
можио
только что
сюсюкать».
В этом духе
порешив,
шевелюры
взбивши кущи,
иагояяет
барыши
всесоюзиый
маг-халтурщик.
Рыбьим фальцетом
бездарио оря,
ои
из опер покрикивает,
ои
переделывает
«Жизиь за царя»
в «Жизиь
за товарища Рыкова».
Ои
берет
былую оду,
славящую
царский шелк,

«оду»
перешьет в «свободу»
и продаст,
как рев-стишок.
Жаир
намажет
кистью тучиой,
но, узря,
что спроса иету,
жаир изрежет
и поштучно
разбазарит
по портрету.
Вылепит
Лассаля
ихияя порода;
если же
никто
ие купит ужас глиияный —
прискульптурив
бороду на подбородок,
из Лассаля
сделает Калииина.
Близок
юбилейиый риф,
на заказы
виовь добры,
помешают волоса ли?
Год в Калиииных побыв,
бодро
бороду побрив,
сиова
бюст
пошел в Лассали.
Вновь
Лассаль
стоит в продаже,
омоложеииый проворно,
вызывая
зависть
даже
у профессора Вороиова.

По наркомам
с кистью лазя,
день-деньской
заказов ждя,
укрепил
проныра
связи
в канцеляриях вождя.
Сила знакомства!
Сила родни!
Сила
привычек и давности!
Только попробуй
да сковырни
этот
нарост бездарностей!
По всем известной вероятности —
не оберешься
неприятностей.

Рабочий,
крестьянин,
швабру возьми,
метущую чисто
и густо,
и, месяц
метя
часов по восьми,
смети
халтуру
с искусства.

1928

СЕКРЕТ МОЛОДОСТИ

Нет,
не те «молодежь»,
кто, забившись
в лужайку да в лодку,
начинает
под визг и галдеж
прополаскивать
водкой
глотку.

Нет,
не те «молодежь»,
кто весной
ночами хорошими,
раскривлявшись
модой одеж,
подметают
бульвары
клешамн.
Нет,
не те «молодежь»,
кто восхода
жизнн зарево,
услыхав в кровн
зудеж,
на романы
разбазаривает.
Разве
это молодость?
Нет!
Мало
быть
восемнадцати лет.
Молодые —
это те,
кто бойцовым
рядам поределым
скажет
именем
всех детей:
«Мы
земную жизнь переделаем!»
Молодежь —
это имя —
дар
тем,
кто влит в боевой КИМ,
тем,
кто бьется,
чтоб дни труда
были радостны
н легки!

1928

ГАЛОПЩИК ПО ПИСАТЕЛЯМ

Тальников
в «Красной новн»
про меня
пишет
задорно и храбро,
что лиру
я
на агит променял,
перо
променял на швабру.
Что я
по Европам
болтался зря,
в стихах
ни вздохн, ни ахн,
а только
грублю,
случайно узря
Шаляпина
или моихинь.
Растет добродушие
с ростом бород.
Чего
обижать
маленького?!
Хочу не ругаться,
а, наоборот,
понять
и простить Тальникова.
Вы молоды, верно,
сужу по мазкам,
такой
резвун-шалунишка.
Уроки
сдаете
приятным баском
и любите
с бонной,
на радость мозгам,
гулять
в коротких штанишках.

Чему вас учат,
милый барчук,—
я
вас
расспросить хочу.
Успела ли
бониа
вам рассказать
(про это —
и песни поются) —
вы знаете,
10 лет назад
у нас
была
революция.
Лиры
крыл
пулемет-обормот,
и, взяв
лирические манатки,
сбежал Северянин,
сбежал Бальмонт
и прочие
фабрикаиты патоки.
В Европе
у них
ни агиток, ни швабр —
чиста
ажурная строчка без шва.
Одни —
хореи да ямбы,
туда бы,
к ним бы,
да вам бы.
Оставшихся
жала
белая рать
и с севера
и с юга.
Нам
требовалось переорать

и вьюги,
и пушки,
и ругань!
Их стих,
как девица,
читай на диване,
как сахар
за чаем с блюдца,—
а мы
писали
против плеваний,
ведь, сволочи —
все плюются.
Отбившись,
мы ездим
по странам по всем,
которые
в картах иаляпаны,
туда,
где пасутся
долла́риым посевом
любимые вами —
Шаляпииы.
Не для романсов,
не для баллад
бросаем
свои якоря мы —
лощеным ушам
наш стих грубоват
и рифмы
будут корявыми.
Не лезем
мы
по музеям,
на колизеи глазея.
Мой лозунг —
одну разглазей-ка
к революции лазейку...
Теперь
для меня
равиодушиая честь,
что чу́диые
рифмы рожу я.

Мне
как бы
только
почище уесть,
уесть покрупнее буржуя.
Поэту,
по-моему,
слабый плюс
торчать
у веков иа выкате.
Прощайте, Тальинков,
я тороплюсь,
а вы
без меня чирнкайте.
С поэта
и иа поэта
в галоп
скачите,
сшибайтесь лоб о лоб.
Но
скидывайте галоши,
скача
по стихам, как лошадь.
А так скакать —
неопрятио:
от вас
по журиалам...
пятна.

1928

ИДИЛЛИЯ

Революция окоичилась.
Житье чиий.
Ручейковою
журчн водицей.
И пошел
советский мещаиии
успокаиваться
и обзаводиться.
Белые
обои
ка́ри —

в крапе мух
и в пленке пыли,
а на копоти
и гари
Гаррей
Пилей
прикрепили.
Спелой
дыней
лампа свисла,
светом
ласковым
упав.
Пахнет липким,
пахнет кислым
от пеленок
и супов.
Тесно править
варку,
стирку,
третее
дитё родив.
Вот
ужо
сулил квартирку
в центре
кооператив.
С папой
«Ниву»
смотрят детки,
в «Красной ниве» —
нету терний.
«Это, дети,—
Клара Цеткин,
тетя эта
в Коминтерне».
Впились глазки,
снимки выев,
смотрят —
с час
журналом вея.

Спрашивает
папу
Фия:
«Клара Цеткин —
это фея?»
Братец Павлик
фыркнул:
«Фи, как
немарксична эта Фийка!
Политрук
сказал же ей —
аннулировали фей».
Самовар
кипит со свистом,
граммофон
визжит романс,
два
знакомых коммуниста
подошли
на преферанс.
«Пизырь коки...
черви...
масти...»
Ритуал
свершен сполна...
Смотрят
с полочки
на счастье
три
фарфоровых слона.
Обеспечен
сном
и кормом,
вьет
очаг
семейный дым...
И доволен
сам
домкомом,
и домком
доволен им.

Революция не коичилась.
Домашиее
мычанье
покрывает
приближающейся битвы гул...
В трубы
в самовариые
господа мещаие
встречу
выдувают
прущему врагу.
1928

СТОЛП

Товарищ Попов
чуть-чуть не от плуга.
Чуть
не от станка
и сохи.
Ои —
даже партиец,
но он
перепугаи,
брюзжит
баритоиом сухим:
«Раскроешь газетиiу —
в критике вся,—
любая
колеблется
глыба.
Кроют.
Кого?
Аж волосьи́
встают
от фамилий
дыбом.
Ведь это —
подрыв,
подкоп ведь это...
Критику
осторожиеиько
до́лжио вести.

А эти
критикуют,
не щадя авторитета,
ии чиии,
ии стажа,
ии должиости.
Критика
синизу —
это яд.
Сверху —
вот это лекарство!
Ну, можио ль
позволить
низам,
подряд,
всем! —
заииматься критиканством?!
О мерзостях
иаших
трубим и поем.
Иди
и в газетах срамись я!
Ну, я ошибся...
Так в тресте ж,
в моем,
имеется
ревизиоииая комиссия.
Ведь можио ж,
ие задевая столпов,
в кругу
своих,
братишек,—
вызвать,
сказать:
— Товарищ Попов,
орудуй...
тово...
потише...—
Пристали
до тошиоты,
до рвот...
Обмазывают
кистью густою.

Товарищи,
ведь это же ж
подорвет
государственные устои!
Кого критикуют? —
вопит, возомня,
аж голос
визжит
тенорком.—
Вчера —
Иванова,
сегодня —
меня,
а завтра —
Совнарком!»

Товарищ Попов,
оставьте скулеж.
Болтовня о подрывах —
ложь!
Мы всех зовем,
чтоб в лоб,
а не пятясь,
критика
дрянь
косила.
И это
лучшее из доказательств
нашей
чистоты и силы.

1928

ПОДЛИЗА

Этот сорт народа —
тих
и бесформен,
словно студень,—
очень многие
из них

в нашн
днн
выходят в людн.
Худ умом
н телом чахл
Петр Иванович Болдашкнн.
В возмутнтельных прыщах
зря
краснеет
на плечах
не башка —
а набалдашннк.
Этот
фрукт
теперь согрет
солнцем
нежного начальства.
Где причнна?
В чем секрет?
Я
задумываюсь часто.
Жизнь
его
ндет на лад;
на него
не брошу тень я.
Клад его —
его талант:
нежный
способ
обхожденья.
Лнжет ногу,
лнжет руку,
лнжет в пояс,
лнжет ннже,—
как кутенок
лнжет
суку,
как котенок
кошку лнжет.
А язык?!
На метров трндцать

догонять
начальство
вылез —
мыльный весь,
аж может
бриться,
даже
кисточкой не мылясь.
Все похвалит,
впавши
в раж,
что
фантазия позволит —
ваш катар,
и чин,
и стаж,
вашу доблесть
и мозоли.
И ему
пошли
чины,
на него
в быту
равненье.
Где-то
будто
вручены
чуть ли не —
бразды правленья.
Раз
уже
в руках вожжа,
всех
сведя
к подлизным взглядам,
расслюнявит:
«Уважать,
уважать
начальство
надо...»
Мы
глядим,
уныло ахая,

как растет
от ихней братии
архи-разиерархия
в издевательстве
над демократией.
Вея шваброй
верхом,
низом,
сместь бы
всех,
кто поддались,
всех,
радеющих подлизам,
всех
радетельских
подлиз.
1928

СПЛЕТНИК

Петр Иванович Сорокин
в страсти —
холоден, как лед.
Все
ему
чужды пороки:
и не курит
и не пьет.
Лишь одна
любовь
рекой
залила́
и в бездну клонит —
любит
этакой серьгой
повисеть на телефоне.
Фаршированн
сплетен
кормом,
он
вприпрыжку,
как коза,

к первым
вспомненным
знакомым
мчнтся
новость рассказать.
Задыхаясь
н снпя,
добредя
до вашей
дали,
он
прнбавнт от себя
пуд
пнкантнейшнх деталей.
«Ну...—
начнет,
пожавши руки,—
обхохочете жнвот,
Александр
Петровнч
Брюкин —
с секретаршею жнвет.
А Иван Иваныч Тестов —
первый
в тресте
нижснер —
из годнчного отъезда
возвращается к жене.
А у той,
простите,
скоро —
прнбавленье!
Быть возне!
Кстатн,
вот что —
целый город
говорнт,
что раз
во сне...»
Скрыл
губу
ладоней ком,

стал
от страха остролицым.
«Новость:
предъявил...
губком...
ультиматум
австралийцам».
Прослюнявив иовость
вкупе
с иовостишкой
страиной
с этой,
быстро
всем
доложит —
в супе
что
варилось у соседа,
кто
и что
отправил в рот,
нет ли,
есть ли
хахаль новый,
и из чьих
таких
щедрот
новый
сак
у Ивановой.
Когда
у такого
спросим мы
желаиие
самое важиое —
ои скажет:
«Желаю,
чтоб был
мир
огромиой
замочиой скважиной.

Чтоб, в скважиiу
в эту
влезши иа треть,
слюиу
подбирая еле,
смотреть
без коица,
без края смотреть —
в чужие
дела и постели».

1928

ХАНЖА

Петр Иваиович Васюткии
бога
беспокоит миого —
тыщу раз,
должио быть,
в сутки
упомяиет
имя бога.
У святоши —
хитрый нрав,—
черт
в делах
сломает иогу.
Пару
коробов
иаврав,
перекрестится:
«Ей-богу».
Цапиет
взятку —
лапа в сале.
Вас считая за осла,
иа вопрос:
«Откуда взяли?» —
отвечает:
«Бог послал».

Он
заткнул
от нищих уши,—
сколько ни проси, горласт,
как от мухи
отмахнувшись,
важно скажет:
«Бог подаст».
Вам
всуча
дрянцо с пыльцой,
обворовывая трест,
крестит
пузо
и лицо,
чист, как голубь:
«Вот те крест».
Грабят,
режут —
очень мило!
Имя
божеское
помнящ,
он
пройдет,
сказав громилам:
«Мир вам, братья,
бог на помощь!»
Вор
крадет
с ворами вкупе.
Поглядев
и скрывшись вбок,
прошептал,
глаза потупив:
«Я не вижу...
Видит бог».
Обворовывая
массу,
разжиревши понемногу,
подытожил
сладким басом:

«День прожнл —
и слава богу».
Возвратясь
домой
с пнтей —
пил
с попом пунцоворожим,—
он
сечет
своих детей,
чтоб держать нх
в страхе божьем.
Жене
нзмочалнт
волосья н тело
н, женнн
гнев
остудя,
бубнит елейно:
«Семейное дело.
Бог
нам
судья».
На душе
и мнр
н ясь.
Помянувшн
бога
на ночь,
скромно
ляжет,
помолясь,
хрнстнаннн
Петр Иваныч.
Ублажаясь
куличом да пасхой,
божьим словом
нагоняя жир,
все еще
жнвут,
как у Хрнста за пазухой,
всероссийскне
ханжн.

1928

СТИХИ О РАЗНИЦЕ ВКУСОВ

Лошадь
сказала,
взглянув на верблюда:
«Какая
гигаитская
лошадь-ублюдок».
Верблюд же
вскричал:
«Да лошадь разве ты?!
Ты
просто-иапросто —
верблюд недоразвитый».
И зиал лишь
бог седобородый,
что это —
животиые
разной породы.

1928

ПИСЬМО ТОВАРИЩУ КОСТРОВУ ИЗ ПАРИЖА О СУЩНОСТИ ЛЮБВИ

Простите
меия,
товарищ Костров,
с присущей
душевиой ширью,
что часть
иа Париж отпущеииых строф
иа лирику
я
растраижирю.
Представьте:
входит
красавица в зал,
в меха
и бусы оправлеииая.

Я
эту красавицу взял
и сказал:
— правильно сказал
или неправильно? —
Я, товарищ,—
из России,
знаменит в своей стране я,
я видал
девиц красивей,
я видал
девиц стройнее.
Девушкам
поэты любы.
Я ж умен
и голосист,
заговариваю зубы —
только
слушать согласись.
Не поймать
меня
на дряни,
на прохожей
паре чувств.
Я ж
навек
любовью раненый —
еле-еле волочусь.
Мне
любовь
не свадьбой мерить:
разлюбила —
уплыла.
Мне, товарищ,
в высшей мере
наплевать
на купола.
Что ж в подробности вдаваться,
шутки бросьте-ка,
мне ж, красавица,
не двадцать,—
тридцать...
с хвостиком.

Любовь
ие в том,
чтоб кипеть крутей,
ие в том,
что жгут у́гольями,
а в том,
что встает за горами грудей
иад
волосами-джунглями.
Любить —
это зиачит:
в глубь двора
вбежать
и до ночи грачьей,
блестя топором,
рубить дрова,
силой
своей
играючи.
Любить —
это с простыиь,
бессоиницей
рваиых,
срываться,
ревиуя к Копериику,
его,
а ие мужа Марьи Иваиины,
считая
своим
соперииком.
Нам
любовь
ие рай да кущи,
иам
любовь
гудит про то,
что опять
в работу пущеи
сердца
выстывший мотор.
Вы
к Москве
порвали иить.

Годы —
расстояние.
Как бы
вам бы
объяснить
это состояиие?
На земле
огией — до неба...
В сиием небе
звезд —
до черта.
Если бы я
поэтом не́ был,
я б
стал бы
звездочетом.
Подымает площадь шум,
экипажи движутся,
я хожу,
стишки пишу
в записиую книжицу.
Мчат
авто
по улице,
а не свалят на́земь.
Понимают
умиицы:
человек —
в экстазе.
Сонм видений
и идей
полои
до крышки.
Тут бы
и у медведей
выросли бы крылышки.
И вот
с какой-то
грошовой столовой,
когда
докипело это,

из зева
до звезд
взвивается слово
золоторождеиной кометой.
Распластаи
хвост
иебесам иа треть,
блестит
и горит опереиье его,
чтоб двум влюблеиным
иа звезды смотреть
из ихией
беседки сиреиевой.
Чтоб подымать,
и вести,
и влечь,
которые глазом ослабли.
Чтоб вражьи
головы
спиливать с плеч
хвостатой
сияющей саблей.
Себя
до последиего стука в груди,
как на свидаиье,
простаивая,
прислушиваюсь:
любовь загудит —
человеческая,
простая.
Урагаи,
огоиь,
вода
подступают в ропоте.
Кто
сумеет совладать?
Можете?
Попробуйте...

1928

ПИСЬМО ТАТЬЯНЕ ЯКОВЛЕВОЙ

В поцелуе рук ли,
губ ли,
в дрожи тела
близких мие
красный
цвет
моих республик
тоже
должеи
пламеиеть.
Я ие люблю
парижскую любовь:
любую самочку
шелками разукрасьте,
потягиваясь, задремлю,
сказав —
тубо —
собакам
озверевшей страсти.
Ты одиа мие
ростом вровеиь,
стаиь же рядом
с бровью брови,
дай
про этот
важный вечер
рассказать
по-человечьи.
Пять часов,
и с этих пор
стих
людей
дремучий бор,
вымер
город заселениый,
слышу лишь
свисточиый спор
поездов до Барселоиы.
В черном небе
молний поступь,

гром
ругней
в небесной драме,—
не гроза,
а это
просто
ревность двигает горами.
Глупых слов
не верь сырью,
не пугайся
этой тряски,—
я взнуздаю,
я смирю
чувства
отпрысков дворянских.
Страсти корь
сойдет коростой,
но радость
неиссыхаемая,
буду долго,
буду просто
разговаривать стихами я.
Ревность,
жены,
слезы...
ну их!—
вспухнут веки,
впору Вию.
Я не сам,
а я
ревную
за Советскую Россию.
Видел
на плечах заплаты,
их
чахотка
лижет вздохом.
Что же,
мы не виноваты —
ста мильонам
было плохо.

Мы
теперь
к таким иежиы —
спортом
выпрямишь ие миогих,—
вы и иам
в Москве иужиы,
не хватает
длиииоиогих.
Не тебе,
в сиега
и в тиф
шедшей
этими иогами,
здесь
иа ласки
выдать их
в ужииы
с иефтяиками.
Ты ие думай,
щурясь просто
из-под выпрямлеииых дуг.
Иди сюда,
иди иа перекресток
моих больших
и иеуклюжих рук.
Не хочешь?
Оставайся и зимуй,
и это
оскорблеиие
иа общий счет наиижем.
Я все равио
тебя
когда-иибудь возьму —
одиу
или вдвоем с Парижем.

1928

ОТВЕТ НА БУДУЩИЕ СПЛЕТНИ

Москва
меня
обступает, сипя,
до шепота
голос понижен:
«Скажите,
правда ль,
что вы
для себя
авто
купили в Парнже?
Товарищ,
смотрите,
чтоб не было бед,
чтоб пресса
на вас не нацыкала.
Купили бы дрожкн...
велосипед...
Ну
ие более же ж мотоцикла!»
С меия
эти сплетни,
как с гуся вода;
надел
хладнокровия паицирь.
— Купил — говорите?
Коиешио,
да.
Купил,
и бросьте трепаться.
Довольио я шлепал,
дохл
да тих,
на разиых
кобылах-выдрах.
Теперь
забеизииено
шесть лошадих
в моих
четырех цилиндрах.

Разят
желтизиою
из медиых глазииц
глаза —
ие глаза,
а жуть!
И целая
улица
падает иид,
когда
кобылицы ржут.
Я рифм
накосил
чуть-чуть ие стог,
аж впору
бухгалтеру сбиться.
Две тыщи шестьсот
бессоииейших строк
в руле,
в рессорах
и в спицах.
И мчишься,
и пишешь,
и лучше, чем в кресле.
Напрасио
завистиики злятся.
Но если
объявят опасиость
и если
бой
и мобилизация —
я, взяв под уздцы,
кобылиц подам
товарищу комиссару,
чтоб мчаться
иавстречу
ждаииым годам
в последиюю
грозиую свару.
Не избежать мне
сплетии дряниой.

Ну что ж,
простите, пожалуйста,
что я
из Парижа
привез «рено»,
а не духи
и не галстук.

1928

МРАЗЬ

Подступает
голод к гландам...
Только,
будто бы на пире,
ходит
взяточников банда,
кошельки порастопыря.
Родные
снуют:
— Ублажь да уважь-ка!—
Снуют
и суют
в бумажке барашка.
Белей, чем саван,
из портфеля кончики...
Частники
забам
суют червончики.
Частник добрый,
частник рад
бросить
в допры
наш аппарат.
Допру нить не выдавая,
там,
где быт
и где грызня,
ходит
взятка бытовая,—
сердце,
душу изгрязня.

Безработный
ждет работку.
Волокита
с бирж рычит:
«Ставь закуску, выставь водку,
им
всучи
магарычи!»
Для копеек
пропотелых,
с голодухи
бросив
срам,—
девушки
рабочье тело
взяткой
тычут мастерам.

Чтобы выбиться нам
сквозь продажную смрадь
из грязного быта
и вшивого —
давайте
не взятки брать,
а взяточника
брать за шиворот!

1928

ПЕРЕКОПСКИЙ ЭНТУЗИАЗМ!

Часто
сейчас
по улицам слышишь
разговорчики
в этом роде:
«Товарищи, легше,
товарищи, тише.
Это
вам
не 18-й годик!»

В нору
влезла
гражданка Кротиха,
в нору
влез
гражданин Крот.
Радуются:
«Живем ничего себе,
тихо.
Это
вам
не 18-й год!»
Дама
в шляпе рубликов на́ сто
кидает
кому-то,
запахивая котик:
«Не толкаться!
Но-но!
Без хамства!
Это
вам
не 18-й годик!»
Малого
мелочь
работой скосила.
В унынье
у малого
опущен рот...
«Куда, мол,
девать
молодецкие силы?
Это
нам
не 18-й год!»

Эти
потоки
слюнявого яда
часто
сейчас
по улице льются...

Знайте, граждане!
И в 29-м
длнтся
н ширнтся
Октябрьская революцня.
Мы живем
прнказом
октябрьской воли.
Огонь
«Авроры»
у нас во взоре.
И мы
обывателям
не позволнм
баррикадные дни
чернить н позорнть.
Года
не вымернть
по едннон мерке.
Сегодня
равноценны
храбрость н разум.
Борнсь
н в мелочах
с баррнкадной энергней,
в стройку
влей
перекопский энтузназм.
1929

РАЗГОВОР С ТОВАРИЩЕМ ЛЕНИНЫМ

Грудой дел,
суматохой явленнй
день отошел,
постепенно стемнев.
Двое в комнате.
Я
н Ленин —
фотографней
на белой стене.

Рот открыт
в напряженной речи,
усов
щетинка
вздернулась ввысь,
в складках лба
зажата
человечья,
в огромный лоб
огромная мысль.
Должно быть,
под ним
проходят тысячи...
Лес флагов...
рук трава...
Я встал со стула,
радостью высвечен,
хочется —
идти,
приветствовать,
рапортовать!
«Товарищ Ленин,
я вам докладываю
не по службе,
а по душе.
Товарищ Ленин,
работа адовая
будет
сделана
и делается уже.
Освещаем,
одеваем нищь и о́голь,
ширится
добыча
угля и руды...
А рядом с этим,
конешно,
много,
много
разной
дрянн и ерунды.
Устаешь
отбиваться и отгрызаться.

Миогие
без вас
отбились от рук.
Очеиь
миого
разных мерзавцев
ходят
по нашей земле
и вокруг.
Нету
им
ии числа,
ни клички,
целая
леита типов
тяиется.
Кулаки
и волокитчики,
подхалимы,
сектаиты
и пьяницы,—
ходят,
гордо
выпятив груди,
в ручках сплошь
и в зиачках нагрудиых...
Мы их
всех,
коиешно, скрутим,
но всех
скрутить
ужасио трудио.
Товарищ Леиин,
по фабрикам дымиым,
по землям,
покрытым
и снегом
и жиивьём,
вашим,
товарищ,
сердцем
и именем

думаем,
дышим,
боремся
и живем!..»
Грудой дел,
суматохой явлений
день отошел,
постепенно стемнев.
Двое в комнате.
Я
и Ленин —
фотографией
на белой стене.

1929

МРАЧНОЕ О ЮМОРИСТАХ

Где вы,
бодрые задиры?
Крыть бы розгой!
Взять в слезу бы!
До чего же
наш сатирик
измельчал
и обезвубел!
Для подхода
для такого
мало,
што ли,
жизнь дрянна?
Для такого
Салтыкова —
Салтыкова-Щедрина?
Заголовком
жирно-алым
мозжечок
прикрывши
тощий,
ходят
тихо
по журналам
дореформенные тещи.

Саранчой
улыбки выев,
ходят
нэпманам на страх
анекдоты гробовые —
гроб
о фининспекторах.
Или,
злобой измусоля
сотню
строк
в бумажный крах,
пишут
про свои мозоли
от зажатья в цензорах.
Дескать,
в самом лучшем стиле,
будто
розы на заре,
лепестки
пораспустили б
мы
без этих цензорей.
А поди
сними рогатки —
этаких
писцов стада
пару
анекдотов гадких
ткнут —
и снова пустота.
Цензоров
обвыли воем.
Я ж
другою
мыслью ранен:
жалко бедных,
каково им
от прочтенья
столькой дряни?
Обличитель,
меньше крему,

очень
темы
хороши.
О хорошенькую тему
зуб
не жалко искрошить.
Дураков
больших
обдумав,
взяли б
в лапы
лупы вы.
Мало, што ли,
помпадуров?
Мало —
градов Глуповых?
Припаси
на зубе
яд,
в километр
жало вызмей
против всех,
кто зря
сидят
на труде,
на коммунизме!
Чтоб не скрылись,
хвост упрятав,
крупных
вылови налимов —
кулаков
и бюрократов,
дураков
и подхалимов.

Измельчал
и обеззубел,
обэстетился сатирик.
Крыть бы в розги,
взять в слезу бы!
Где вы,
бодрые задиры?
1929

УРОЖАЙНЫЙ МАРШ

Добьемся урожая мы —
втройие,
земля,
рожай!
Пожалте,
уважаемый
товарищ урожай!
Чтоб даром ие потели мы
по одиому,
по два —
колхозами,
артелями
объединиись, братва.
Земля у иас хорошая,
землица иеплоха,
да иадобио
под рожь ее
зараиее вспахать.
Чем жить, зубами щелкая
в голодиые года,
с проклятою
с трехполкою
покоичим иавсегда.
Вредителю мы
иачисто
готовим карачуи.
Сметем с полей
кулачество,
сорияк
и саранчу.
Разроем складов завали.
От всех
ответа ждем,—
чтоб тракторы
ие ржáвели
впустую под дождем.
Поля
пройдут иауку
под ветром-игруном...
Даешь
на дружбу руку,
товарищ агроном!

Земля
не хочет более
терпеть
плохой уход,—
готовься,
комсомолия,
в передовой поход.
Кончай
с деревней серенькой,
вставай,
который сер!
Вперегонки
с Америкой
нди, СССР!
Добьемся урожая мы —
втройне,
земля,
рожай!
Пожалте,
уважаемый
товарищ урожай!

1929

ДУША ОБЩЕСТВА

Из года в год
легенда тянется —
легенда
тянется
из века в век:
что человек, мол,
который пьяница,—
разувлекательнейший человек.
Сквозь призму водки,
мол,
все — красотки...
Любая
гадина —
распрнвлекательна.
У машины
общества
пораввинтнлнсь гайкн —

люди
лижут
довоеииого лютéй.
Скольким
замеиили
водочиые спайки
все
другие
способы
общеиия людей?!
Если
муж
жену
истаскивает зá волосы —
понимай, мол,
я
в семействе барии!—
это зиачит,
водки иализался
этот
милый,
увлекательиейший пареиь.
Если
парень
в сногсшибательиейшем раже
доставляет
скорой помощи
калек —
ясно мне,
что пивом взбудоражеи
этот
милый,
увлекательнейший человек.
Если
пареиь,
запустивши лапу в кассу,
удостаивает
сам себя
и премий и иаград —
зиачит,
был привержеи
ие к воде и квасу

этот
милый,
увлекательиейший казиокрад.
И преступлеиия
всех систем,
и хрип хулигаиа,
и пятиа быта
сегодия
измеришь
только тем —
сколько
пива
и водки иапи́то.
Про пьяиицу
много
пропето разного,—
из пьяных пеиий
запомии только:
беги от ада
от заразиого,
тащи
из яда
алкоголика.
1929

КАНДИДАТ ИЗ ПАРТИИ

Сколько их?
Числа им иету.
Пяля блузы,
пяля фреичи,
завели по кабинету
и несут
повинность эту
сквозь заученные речи.
Весь
в партийиых причиндалах,
ноздри вздернул —
крыши выше...
Есть бумажки —
прочитал их,
нет бумажек —
сам напишет.

Все
у этаких
в порядке,
не язык,
а маслобой...
Служит
и играет в прятки
с партией,
с самим собой.
С классом связь?
Какой уж класс там!
Классу он —
одна помеха.
Стал
стотысячным балластом.
Ни пройти с ним,
ни проехать.
Вышел
из бойцов
с годами
в лакированные душки...
День пройдет —
знакомой даме
хвост
накрутит по вертушке.

Освободиться бы
от ихней братии,
удобней будет
и им
и партии.

1929

ВОНЗАЙ САМОКРИТИКУ!

Наш труд
сверкает на «Гиганте»,
сухую степь
хлебами радуя.
Наш труд
блестит.
Куда ни гляньте,

встает
фабрнчиою оградою.
Но от пятиа
н солнца блеск
ие смог
застраховаться,—
то ляпиет
иам
пятио
Смолеиск,
то ляпиут
астрахаицы.
Болезнь такая
глубока,
не жди,
газеты пока
статейиым
гноем вытекут,—
ножом хирурга
в бока
вонзай самокритику!
Не на год,
не для видика
такая
критика.
Не иам
критнковать крича
для спорта
горластого,
иет,
наша критика —
рычаг
и жизни
и хозяйства.
Страиа Советов,
чнсть себя —
иутро н тело,
чтоб, чистотой
своей
блестя,
республика глядела.

Чтоб не шатать
левей,
правей
домиину коммуиизма,
шатающихся
проверь
своим
рабочим инзом.
Где дурь,
где белых западия,
где зава
окружит родня —
вытравливай
от дня до дня
то ласкою,
то плетью,
чтоб быстро бы
страну
поднять,
идя
по пятнлетью.
Нам
критнка
нв года в год
нужиа,
запомиите,
как человеку —
кнслород,
как чнстый воздух —
комиате.
1929

НА ЗАПАДЕ ВСЕ СПОКОЙНО

Как совесть голубя,
чист асфальт.
Как лысина баикнра,
тротуара плнты
(после того,
как трупы
иа грузовозы взвалят
и кровь отмоют
от плит полйтых).

В бульварах
буржуеныши,
под нянин сказ,
медведям
игрушечным
гладят плюшики
(после того,
как баллоны
заполнил газ
и в полночь
прогрохали
к Польше
пушки).
Миротворцы
сияют
цилиндровым глянцем,
мозолят язык,
состязаясь с мечом
(после того,
как посланы
винтовки афганцам,
а бомбы —
басмачам).
Сидят
по кафе
гусары спешенные.
Пехота
развлекается
в штатской лени.
А под этой
идиллией —
взлихораденно-бешеные
военные
приготовления.
Кровавых капель
пунктирный путь
ползет по земле,—
недаром кругла!
Кто-нибудь
кого-нибудь
подстреливает
из-за угла.

Целят —
в сердце.
В самую точку.
Одио
стрельбы комаидирам
иадо —
бунтовщиков
смирив в одииочку,
погиать
на бойию
баранье стадо.
Сегодия
кровишка
мелких стычек,
а завтра
в толпы
таики тыча,
кровищи
вкус
войиа поймет,—
пойдет
хлестать
с бронированиых птичек
железа
и газа
кровавый помет.
Смотри,
выступает
из близких лет,
костьми постукивает
лошадь-краса.
На ией
войиы
пожелтелый скелет,
и сталью
сииеет
смерти коса.
Мы,
излюблеиное
пушечное лакомство,
мы,
оптовые потребители
костылей
и протез,

мы
выйдем на улицу,
мы
1 августа
аж к небу
гвоздями
прибьем протест.
Долой
полнтику
пороховых бочек!
Довольно
дóма
пугливо щуплиться!
От первой республики
крестьяи и рабочнх
отбросим
войны
штыкастые щупальцы.
Мы
требуем мира.
Но еслн
тронете,
мы
в роты сожмемся,
сжавши рот.
Зачинщики бойни
увидят
на фронте
одни
восставший
рабочий фроит.

1929

ПАРИЖАНКА

Вы себе представляете
парижских женщни
с шеей разжемчуженной,
разбриллиантенной
рукой...
Бросьте представлять себе!
Жизнь —
жестче —

у моей парижанки
вид другой.
Не знаю, право,
молода
или стара она,
до желтизны
отшлифованная
в лощеном хамье.
Служит
она
в уборной ресторана —
маленького ресторана —
Гранд-Шомьер.
Выпившим бургундского
может захотеться
для облегчения
пойти пройтись.
Дело мадмуазель
подавать полотенце,
она
в этом деле
просто артист.
Пока
у трюмо
разглядываешь прыщик,
она,
разулыбив
облупленный рот,
пудрой подпудрит,
духами попрыщет,
подаст пипифакс
и лужу подотрет.
Раба чревоугодий
торчит без солнца,
в клозетной шахте
по суткам
клопея,
за пятьдесят сантимов!
(По курсу червонца

с мужчины
около
четырех копеек.)

Под умывальником
ладоии омывая,
дыша
диковииой
парфюмерных зелий,
над мадмуазелью
недоумевая,
хочу
сказать
мадмуазели:
— Мадмуазель,
ваш вид,
извиините,
жалок.
На уборную молодость
губить ие жалко вам?
Или
мие
иаврали про парижанок,
или
вы, мадмуазель,
не парижанка.
Выглядите вы
туберкулезно
и вяло.
Чулки шерстяиые...
Почему ие шелка́?
Почему
ие шлют вам
пармских фиалок
благородные мусью
от полного кошелька?—
Мадмуазель молчала,
грохот иаваливал
на трактир,
на потолок,
на иас.
Это,
кружа
веселье карнавалово,
весь
в парижанках
гудел Моипариас.

Вы
не поймете,
пухлые мнстеры,
корни
рвеиия
иаших коммуиаров.
Буржун,
днвнтесь
коммуннстнческому берегу —
на работе,
в аэроплане,
в вагоне
вашу
быстроиогую
знаменнтую Амернку
мы
и догоинм
н перегоннм.

1929

ПРИМЕР, НЕ ДОСТОЙНЫЙ ПОДРАЖАНИЯ

Тем, кто поговорили и бросили

Все —
в ораторском таланте.
Пьяике —
смерть без колебания.
Это
заседает
анти-
алкогольная компанння.
Кулаком
иаотмашь
в грудь
бьют
себя
часамн кряду.
«Чтобы я?
да как-иибудь?

да выпил бы
такого яду?!»
Пиво —
сгинь,
и водка сгинь!
Будет
сей порок
излечен.
Умеиьшает
он
мозги,
увеличивая
печеиь.
Обсудив
и вглубь
и вдоль,
вырешили
всё
до толики:
де —
ужасен алкоголь,
и —
ужасны алкоголики.
Испершив
речами
глотки,
сделали
из прений
вывод,
что ужасиый
вред
от водки
и ужасиый
вред от пива...
Успокоившись на том,
выпив
чаю
10 порций,
бодро
вылезли
гуртом
яростиые
водкоборцы.

Фонарей
горят
шары,
в галдеже
кабачный улей,
и для тени
от жары
водкоборцы
завернули...

Алкоголики,—
воспряньте!
Неуместна
ваша паника!
Гляньте —
пиво хлещет
анти-
алкогольная компанийка.

1929

ПТИЧКА БОЖИЯ

Он вошел,
склонясь учтиво.
Руку жму.
— Товарищ —
сядьте!
Что вам дать?
Автограф?
Чтиво?
— Нет.
Мерси вас.
Я —
писатель.
— Вы?
Писатель?
Извините.
Думал —
вы пижон.
А вы...

Что ж,
прочтите,
зазвените
грозным
маршем
боевым.
Вихрь идей
у вас,
должно быть.
Новостей
у вас
вагон.
Что ж,
пожалте в уха в оба.
Рад товарищу.—
А он:
— Я писатель.
Не прозаик.
Нет.
Я с музами в связи.—
Слог
изыскан, как борзая.
Сконапель
ля поэзи́.
На затылок
нежным жестом
он
кудрей
закинул шелк,
стал
барашком златошерстым
и заблеял,
и пошел.
Что луна, мол,
над долиной,
мчит
ручей, мол,
по ущелью.
Тинтидликал
мандолиной,
дундудел виолончелью.

Нимб
обвил
волосьев копны.
Лоб
горел от благородства.
Я терпел,
терпел
и лопнул
и ударил
лапой
об стол.
— Попрошу вас
покороче.
Бросьте вы
поэта корчить!
Посмотрю
с лица ли,
сзади ль,
вы тюльпан,
а не писатель.
Вы,
над облаками рея,
птица
в человечий рост.
Вы, мусье,
из канареек,
чижик вы, мусье,
и дрозд.
В испытанье
битв
и бед
с вами,
што ли,
мы
полезем?
В наше время
тот —
поэт,
тот —
писатель,
кто полезен.
Уберите этот торт!

Стих даешь —
хлебов подвозу.
В наши дии
писатель тот,
кто иапишет
марш
и лозуиг!

1929

СТИХИ О ФОМЕ

Мы строим коммуиу,
и жизнь
сама
трубит
иаступающей эре.
Но между иами
ходит
Фома,
и ои
ии во что ие верит.
Наставь
ему
достижеиий любых
на каждый
вкус
и вид,
ои лишь
тебе
половииу губы
иа достижеиья —
скривит.
Идем
иа завод
отстроеииый
мы —
смирись
перед ликом
факта.
Но скептик
смотрит
глазами Фомы:

— Нет, что-то
не верится как-то.—
Покажешь
Фомам
вознесенный дом
и ткнешь их
и в окна,
и в двери.
Ничем
не расцветятся
лица у Фом.
Взглянут —
и вздохнут:
«Не верим!»
Послушайте,
вы,
товарищ Фома!
У вас
повадка плохая.
Не надо
очень
большого ума,
чтоб все
отвергать
и хаять.
И толк
от похвал,
разумеется, мал.
Но слушай,
Фоминая шатия!
Уж мы
обойдемся
без ваших похвал —
вы только
труду не мешайте.

1929

Я СЧАСТЛИВ!

Граждане,
у меня
огромная радость.

Разулыбьте
сочувствеииые лица.
Мие
обязательио
поделиться иадо,
стихами
хотя бы
поделиться.
Я
сегодия
дышу как слои,
походка
моя
легка,
и иочь
проиеслась,
как чудесиый сои,
без едииого
кашля и плевка.
Неизмеримо
выросли
удовольствий дозы.
Дии осеии —
баией воияют,
а мие
цветут,
извииите,—
ровы,
и я их,
представьте,
обоияю.
И мысли
и рифмы
покрасивели
и особеииые,
аж вытаращит
глаза
редактор.
Стал выиослив
и работоспособен,
как лошадь
или даже —
трактор.

Бюджет
и желудок
абсолютио превосходеи,
укреплеи
и приведеи в равиовесие.
Стопроцеитиая
экоиомия
иа осиовиом расходе —
и поздоровел
и прибавил в весе я.
Как будто
на язык
за кусом кус
кладут
воздушиейшие торта —
такой
устаиовился
феерический вкус
в благоухаиных
апартамеитах
рта.
Голова
сиаружи
всегда чиста,
а теперь
чиста и изиутри.
В день
придумывает
ие меиьше листа,
хоть Толстому
ноздрю утри.
Жеищииы
окружили,
платья испестря,
все
спрашивают
имя и отчество,
я стал
определеииый
весельчак и остряк —
иу просто —
душа общества.

Я
порозовел
и пополиел в лице,
забыл
и гриппы
и кровать.
Граждаие,
вас
иитересует рецепт?
Открыть?
или...
ие открывать?
Граждаие,
вы
утомились от жданья,
готовы
корить и крыть.
Не волиуйтесь,
сообщаю:
граждаие —
я
сегодня —
бросил курить.

1929

РАССКАЗ ХРЕНОВА О КУЗНЕЦКСТРОЕ И О ЛЮДЯХ КУЗНЕЦКА

К этому месту будет подвезено в пятилетку 1 000 000 вагонов строительных материалов. Здесь будет гигант металлургии, угольный гигант и город в сотни тысяч людей.

Из разговора.

По иебу
тучи бегают,
дождями
сумрак сжат,
под старою
телегою
рабочие лежат.

И слышит
шепот гордый
вода
и под
и над:
«Через четыре
года
здесь
будет
город-сад!»
Темно свинцовоночие,
и дождик
толст, как жгут,
сидят
в грязи
рабочие,
сидят,
лучину жгут.
Сливеют
губы
с холода,
но губы
шепчут в лад:
«Через четыре
года
здесь
будет
город-сад!»
Свела
промозглость
корчею —
неважный
мокр
уют,
сидят
впотьмах
рабочие,
подмокший
хлеб
жуют.
Но шепот
громче голода —

он кроет
капель
спад:
«Через четыре
года
здесь
будет
город-сад!
Здесь
взрывы закудахтают
в разгон
медвежьих банд,
и взроет
недра
шахтою
стоугольный
«Гигант».
Здесь
встанут
стройки
стенами.
Гудками,
пар,
снпи.
Мы
в сотню солнц
мартенамн
воспламеннм
Снбнрь.
Здесь дом
дадут
хороший нам
и снтный
без пайка,
аж за Байкал
отброшенная
попятится тайга».
Рос
шепоток рабочего
над темью
тучных стад,
а дальше
неравборчнво,

лишь слышно —
«город-сад».
Я знаю —
город
будет,
я знаю —
саду
цвесть,
когда
такие люди
в стране
в советской
есть!

1929

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Огромные вопросищи,
огромней слоних,
страна
решает
миллионноло6ая.
А сбоку
ходят
индивидумы,
а у них
мнение обо всем
особое.
Смотрите,
в ударных бригадах
Союв,
держат темп
и не леятся,
но индивидум в ответ:
«А я
остаюсь
при моем,
особом миеньице».
Мы выполним
пятилетку,
мартены воспламеня,
не в пять годов,
а в меньше,

но ниднвндум
не верит:
«А у меня
имеется, мол,
особое мненьице».
В ниндустрнализацию
льем заем,
а индивидум
сидит в томленни
и займа не покупает
и настаивает на своем
собственном,
особенном мненин.
Колхозим
хозяйства
бедняцких масс,
кулацкой
ие спугнуты
злобою,
а ниднвндумы
шепчут:
«У иас
мненне
имеется
особое».
Субботниками
бьет
рабочнй мир
по иеразгруженым
картофелям и полеиьям,
а ниднвндумы
иам
заявляют:
«Мы
посидим
с особым мнением».
Не возражаю!
Консервируйте
собственный разум,
прикосновеннем
нячьим
не попортив,

но тех,
кто в работу
впрягся разом,—
не оттягивайте
в сторонку
и напротив.
Трясина
старья
для нас не годна —
ее
машиной
выжжем до диа.
Не втыкайте
в работу
клинья,—
и у нас
и у массы
и мысль одиа
и одна
генеральная линия.

1929

ДАЕШЬ МАТЕРИАЛЬНУЮ БАЗУ!

Пусть ропщут поэты,
слюною плеща,
губою
презреиие вызмеив.
Я,
душу не сиизив,
кричу о вещах,
обязательных при социализме.

«Мие, товарищи,
этажи ие в этажи —
мие
удобства подай.
Мне, товарищи,
хочется жить
не хуже,
чем жили господа.

Я вам, товарищи,
ие дровд
и ие синица,
мие
и без этого
делов массу.
Я, товарищи,
хочу возноситься,
как подобает
господствующему классу.
Я, товарищи,
из иищих вышел,
мие
иадоело
в грязи побираться.
Мие бы, товарищи,
жить повыше,
у самых
солиечиых
протубераицев.
Мы, товарищи,
ие лошади
и ие дети —
скакать
иа шестой,
поклажу взвалив?!
Словом,—
во-первых,
во-вторых,
и в-третьих,—
мие
подавайте лифт.
А вместо этого лифта
мие —
прыгать —
работа трехпотая!
Чериым углем
иа белой стеие
выведеио криво:
«Лифт
НЕ
работает».

Вот так же
и многое
противно глазу.—
Примуса́, напримеp?!
Дорогу газу!
Поработав,
желаю
помыться сразу.
Бегай —
лифт-мошеиник!
Словом,
давайте
материальиую базу
для новых
социалистических отиошений».

Пусть ропщут поэты,
слюиою плеща,
губою
презреине вызмеив.
Я,
душу ие сиизив,
кричу о вещах,
обязательиых
при социализме.

1929

ЛЮБИТЕЛИ ЗАТРУДНЕНИЙ

Ои любит шептаться,
хитер да тих,
во всех
городах и селеньицах:
«Тс-с, господа,
я знаю —
у иих
какие-то затрудиеиьица».
В газету
хихикает,
над цифрой трунив:

«Переборщили,
замашинив денежки.
Тс-с, господа,
порадуйтесь —
у них
какие-то
такие затрудненьишки».
Усы
закручивает,
весел и лих:
«У них
заухудшился день еще.
Тс-с, господа,
подождем —
у них
теперь
огромные затрудненьища».
Собрав
шептунов,
врунов
и вруних,
переговаривается
орава:
«Тс-с-с, господа,
говорят,
у них
затруднения.
Замечательно!
Браво!»
Затруднения одолеешь,
сбавляет тон,
переходит
от веселия
к грусти.
На перспективах
живо
наживается он —
он
своего не упустит.
Своего не упустит он,
но зато
у другого
выгрызет лишек,

ие упустит
уставиться
в сто задов
любой
из очередишек.
И вылезем лишь
из грязи
и тьмы —
ои первый
придет, иахалеи,
и, выпятив грудь,
раззаявит:
«Мы
аж на тракторах —
пахали!»
Республика
одолеет
хозяйства иесчастья,
догоиит
иаган
врага.
Счищай
с путей
завшивевших в мещаистве,
путающихся
у иас
в ногах!

1929

МАРШ УДАРНЫХ БРИГАД

Вперед
тракторами по целиие!
Домиы
коммуие
подступом!
Сегодия
бейся, революциоиер,
иа баррикадах
производства.
Раздувай
коллективиую
грудь-меха,

лозуиг
мчи
по рабочим взводам.
От ударных бригад
к удариым цехам,
от цехов
к удариым заводам.
Вперед,
в египетскую
русскую темь,
как
гвозди,
вбивай
лампы!
Шаг держи!
Не теряй темп!
Перегиать
пятилетку
иам бы.
Распрабабкииой техники
скидывай хлам.
Днепр,
турбиины
верти по заводьям.
От ударных бригад
к удариым цехам,
от цехов
к удариым заводам.
Вперед!
Коммуиу
из времеии
вод
ие выловишь
золото-рыбкою.
Накручивай,
иаворачивай ход
без праздиików —
непрерывкою.
Трактор
туда,
где корпела соха,

хлеб
штурмуй
колхозным
походом.
От ударных бригад
к ударным цехам,
от цехов
к ударным заводам.
Вперед
беспрогульным
гигантскнм ходом!
Не взять нас
буржуевым гончнм!
Вперед!
Пятилетку
в четыре года
выполним,
вымчнм,
закончим.
Электрнчество
лей,
река-лнха!
Двигай фабрики
фырком зловодым.
От ударных бригад
к ударным цехам,
от цехов
к ударным заводам.
Энтузиазм,
разрастайся и длись
фабричным
сняннем радужным.
Сейчас
подымается соцналнзм
жнвым,
настоящнм,
правдошннм.
Этот лозунг
неси
бряцаньем стнха,
размалюй
плакатным разводом.

От ударных бригад
к ударным цехам,
от цехов —
к ударным заводам.

1930

ЛЕНИНЦЫ

Если
блокада
нас не сморила,
если
не сожрала
война горяча —
это потому,
что примером,
мерилом
было
слово
и мысль Ильича.

— Вперед
за республику
лавой атак!
На первый
военный клич! —
Так
велел
защищаться
Ильич.
Втрое,
каждый
станок и верстак,
работу
свою
увеличь!
Так
велел
работать
Ильич.

Наполним
нефтью
республики бак!
Уголь,
расти от добыч!
Так
работать
велел Ильич.
«Снижай себестоимость,
выведи брак!» —
гудков
вызывает
зыч,—
так
работать
звал Ильич.
Комбайном
на общую землю наляг.
Огнем
пустыри расфабричь!
Так
Советам
велел Ильич.
Сжимай экономией
каждый пятак.
Траты
учись стричь,—
так
хозяйничать
звал Ильич.
Огнями ламп
просверливай мрак,
республику
разэлектричь,—
так
велел
рассветиться
Ильич.
Религия — опиум,
религия — враг,
довольно
поповских притч,—

так
жить
велел Ильич.
Достаиь
бюрократа
под кипой бумаг,
рабочей
ярости
бнч,—
так
бороться
велел Ильич.
Не береги
от критики
лак,
чии
в оправданье
не тычь,—
так
велел
держаться
Ильич.
«Слева»
не рви
коммуиизма флаг,
справа
в унынье не хнычь,—
так
идти
наказал Ильич.

Намордник фашистам!
Довольно
собак
спускать
на рабочую «дичь»!
Так
велел
иаступать Ильич.

Не хиычем,
а торжествуем
и чествуем.

Ленин с нами,
бессмертен и велнчав,
по всей вселенной
шнрнтся шествие —
мыслей,
слов
и дел Ильнча.

1930

СТИХИ ДЕТЯМ

ЧТО ТАКОЕ ХОРОШО И ЧТО ТАКОЕ ПЛОХО?

Крошка сын
к отцу пришел,
и спросила кроха:
— Что такое
хорошо
и что такое
плохо? —
У меня
секретов нет,—
слушайте, детишки,—
папы этого
ответ
помещаю
в книжке.

— Если ветер
крышн рвет,
если
град загрохал,—
каждый знает —
это вот
для прогулок
плохо.

Дождь покапал
и прошел.
Солнце
в целом свете.
Это —
очень хорошо
и большим
и детям.

Если
сын
чернее ночи,
грязь лежит
на рожице,—
ясно,
это
плохо очень
для ребячьей кожицы.

Если
мальчик
любит мыло
и зубной порошок,
этот мальчик
очень милый,
поступает хорошо.

Если бьет
дрянной драчун
слабого мальчишку,
я такого
не хочу
даже
вставить в книжку.

Этот вот кричит:
— Не трожь
тех,
кто меньше ростом! —
Этот мальчик
так хорош,
загляденье просто!

Если ты
порвал подряд
книжицу
и мячик,
октябрята говорят:
плоховатый мальчик.

Если мальчик
любит труд,
тычет
в книжку
пальчик,
про такого
пишут тут:
он
хороший мальчик.

От вороны
карапуз
убежал, заохав.
Мальчик этот
просто трус.
Это
очень плохо.

Этот,
хоть и сам с вершок,
спорит
с грозной птицей.
Храбрый мальчик,
хорошо,
в жизни
пригодится.

Этот
в грязь полез
и рад,
что грязна рубаха.
Про такого
говорят:
он плохой,
неряха.

Этот
чистит валенки,
моет
сам
галоши.
Он
хотя и маленький,
но вполне хороший.

Помни
это
каждый сын.
Знай
любой ребенок:
вырастет
из сына
свин,
если сын —
свиненок.

Мальчик
радостный пошел,
и решила кроха:
«Буду
делать *хорошо*,
и не буду —
плохо».

1925

ЧТО НИ СТРАНИЦА,— ТО СЛОН, ТО ЛЬВИЦА

Льва показываю я,
посмотрите нате —
он теперь не царь зверья,
просто председатель.

Этот зверь зовется лама.
Лама дочь
и лама мама.

Малеиький пеликаи
и пеликан-великаи.
Как живые в иашей киижке
слои,
слониха
н слонишки.
Двух- и трехэтажиый рост,
с блюдо уха оба,
впереди иа морде хвост
под иазваиьем «хобот».
Сколько нм еды, питья,
сколько платья снашивать!
Даже нхиее дитя
ростом с папу с иашего.
Всех прошу постороиииться,
разевай пошире рот,—
для таких мала страиица,
дали целый разворот.

Крокодил. Гроза детей.
Лучше не гневите.
Только он сидит в воде
и пока ие видеи.

Вот верблюд, а на верблюде
возят кладь
и ездят людн.
Ои живет среди пустыиь,
ест иевкусиые кусты,
ои в работе круглый год —
ои,
верблюд,
рабочнй скот.

Кеигуру.
Смешиая очеиь.
Рукн вдвое короче.
Но за это
у ией
иогн вдвое длииией.

Жираф-длиииошейка —
ему
иикак
для шеи ие выбрать воротиика.
Жирафке лучше:
жирафу-мать
есть
жирафёнку
за что обиимать.
Обезьяи.
Смешиее нет.
Что сидеть как статуя?!
Человеческий портрет,
даром что хвостатая.
Зверю холодио зимой.
Зверик из Америки.
Видел всех.
Пора домой.
До свидаиья, зверики!

1926

ЭТА КНИЖЕЧКА МОЯ ПРО МОРЯ И ПРО МАЯК

Разрезая иосом воды,
ходят в море пароходы.
Дуют ветры яростиые,
гонят лодки парусиые.
Вечером,
а также к ночи,
плавать в море трудно очень.
Все покрыто скалами,
скалами иемалыми.
Ближе к суше
еле-еле
даже
дием обходят мели.
Капитаи берет бииокль,
ио бииокль помочь ие мог.

Капитану так обидно —
даже берега ие видио.
Закружит волиа кружеиие,
вот
и кораблекрушение.
Вдруг —
обрадоваи моряк:
загорается маяк.
В самой темеии как раз
показался красиый глаз.
Поморгал —
и сиова иет,
и опять зажегся свет.
Здесь, мол, тихо —
все суда
заплывайте вот сюда.
Бьется в стеиы шторм и вой.
Лестиицею виитовой
каждый вечер,
ближе к иочи,
иа маяк идет рабочий.
Наверху фоиарище —
яркий,
как пожарище.
Видеи ои
во все моря,
иету ярче фоиаря.
Чтобы всем заметиться,
ои еще и вертится.
Труд большой рабочему —
простоять всю иочь ему.
Чтобы пламя ие погасло,
подливает в лампу масло.
И чистит
исключительиое
стекло увеличительиое.
Всем показывает свет —
здесь опасио или иет.
Пароходы,
корабли —
запыхтели,
загребли.

Волны,
как теперь ни ухайте,—
все, кто плавал,—
в тихой бухте.
Нет ни волн,
ни вод,
ни грома,
детям сухо,
дети дома.
Кличет книжечка моя:
— Дети,
будьте как маяк!
Всем,
кто ночью плыть не могут,
освещай огнем дорогу.
Чтоб сказать про это вам,
этой книжечки слова
и рисуночков наброски
сделал
дядя
Маяковский.

1926

КОНЬ-ОГОНЬ

Сын
отцу твердил раз трista,
за покупкою гоня:
— Я расту кавалеристом.
Подавай, отец, коня! —

О чем же долго думать тут?
Игрушек
в лавке
много вам.
И в лавку
сын с отцом идут
купить четвероногого.
В лавке им
такой ответ:

— Лошадей сегодня нет.
Но, конечно,
может мастер
сделать лошадь
всякой масти.—
Вот и мастер. Молвит он:
— Надо
нам
достать картон.
Лошадей подобных тело
из картона надо делать.—
Все пошли походкой важной
к фабрике писчебумажной.
Рабочий спрашивать их стал:
— Вам толстый
или тонкий? —
Спросил
и вынес три листа
отличнейшей картонки.
— Кстати
нате вам и клей.
Чтобы склеить —
клей налей.—

Тот, кто ездил,
знает сам,
нет езды без колеса.
Вот они у столяра.
Им столяр, конечно, рад.
Быстро,
ровно, а не криво,
сделал им колесиков.
Есть колеса,
нету гривы,
нет
на хвост волосиков.
Где же конский хвост найти нам?
Там,
где щетки и щетина.
Щетинщик возражать не стал,—
чтоб лошадь вышла дивной,

дал
конский волос
для хвоста
и гривы лошадиной.
Спохватились —
иет гвоздей.
Гвоздь иеобходим везде.
Повели они отца
в кузиицу кузнеца.
Рад кузиец.
— Пожалте, гости!
Вот вам
самый лучший гвоздик.—
Прежде чем работать сесть,
осмотрели —
всё ли есть?
И в одии сказали голос:
— Мало взять картои и волос.
Выйдет лошадь бедиая,
скучная и бледиая.
Взять художника и краски,
чтоб раскрасил
шерсть и глазки.—
К художиику,
удал и быстр,
вбегает иаш кавалерист.
— Товарищ,
вы ие можете
покрасить шерсть у лошади?
— Могу.—
И вышел личио
с краскою различиой.
Сделали лошажье тело,
дальше дело закипело.
Компаиия остаток дия
впустую ие теряла
и мастерить пошла коия
из лучших матерьялов.
Вместе взялись все за дело.
Режут лист картонки белой,
клеем лист иасквозь пропитаи.
Сделали коию копыта,

щетнщнк вделал хвостик,
кузнец вбнвает гвоздик.
Быстра у столяра рука —
столяр колеса оструган.
Художнпк кистью лазит,
лошадке
глазкн краснт.
Что за лошадь,
что за конь —
горячей, чем огонь!
Хоть вперед,
хоть назад,
хочешь — в рысь,
хочешь — в скок.
Голубые глаза,
в желтых яблоках бок.
Взнуздан
и оседлан он,
крепко сбруей оплетеи.
На спиину сплетениому —
помогай Буденному!

1927.

ПРОЧТИ И КАТАЙ В ПАРИЖ И В КИТАЙ

1

Собирайтесь, ребятншкн,
иаберите в рукн кинжки.
Вас
по разным странам света
покатает песня эта.

Начннается земля,
как известио, от Кремля.
За морем,
за сушею —
коммуннстов слушают.

Те, кто работают,
слушают с охотою.
А буржуям этот голос
подымает дыбом волос.

2

От Кремля, в котором были,
мы летим в автомобиле
прямо иа аэродром.
Здесь стоит
и треск и гром.
По поляне люди ходят,
самолету виит заводят.

3

Подходи,
ие робей,
расправляй галстучки
и лети, как воробей,
даже
как ласточка!
Туча иам помеха ли?
Взяли и объехали!
Помни, кто глазеть полез,—
рот зажмите крепко,
чтоб ие плюиуть с подиебес
дяденьке иа кепку.

4

Опускаемся в Париже,
осмотреть Париж поближе.
Пошли сюда,
пошли туда —
везде одии французы.

Часть населения худа,
а часть другая —
с пузом.
Куда б в Париже ни пошел,
картину видишь ту же:
живет богатый хорошо,
а бедный —
много хуже.
Среди Парижа — башня
высокая страшно.

5

Везет нас поезд
целый день,
то лес,
то город мимо.
И
мимо их них деревень
летим
с хвостом из дыма.

6

Качает пароход вода.
Лебедка тянет лапу —
подняла лапой чемодан,
а мы идем по трапу.
Пароход полный,
а кругом волны,
высоки и со́лоны.
Волны злятся —
горы вод
смыть грозятся пароход.
Ветер,
бурей не маши нам:

быстро движет иас машина;
под кормой крутя вннтом,
погоняет этот дом.
Доехали до берега —
тут и Америка.

7

Издали —
как будто горки,
ближе — будто горы тыщей,—
вот какие
в Нью-Йорке
стоэтажиые домища.
Все дни народ сиует вокруг
с поспешиостью блошиною,
ие тратнт
зря —
ни иог, ни рук,
а все
творит машииою.
Как саики
по снегу
без пылн
скользят горой покатою,
так здесь
скользят автомобнлн,
и в инх
сидят богатые.

Опять седобородый дым.
(Не бреет поезд бороду!)
Летнм к волне другой воды,
летнм к другому городу.
Хорош, да не блнзко
город Сан-Францнско.

8

Отсюда
вновь
за океан
плывут такне, как и я.
Средн океана
стоят острова,
здесь людн другне,
н лес, и трава.
Проехалн,
и вот
она —
японская страна.

9

Легко представить можете
жнтеля Японни:
еслн мы — как лошадн,
то онн —
как пони.
Деревья здесь невелнки.
Строенья
роста маленького.
Весной,
куда глаза ни кинь —
сады
в деревьях карлнковых.
На острове
гора гулка́,
дымит,
гуднт гора-вулкан.
И вдруг
проснется поутру

и хлынет
лавой на́ дом.
Но люди
не бросают труд.
Нельзя.
Работать надо.

10

Отсюда за морем —
Китай.
Садись
и за море катай.
От солица Китай
пожелтел и высох.
Родина чая.
Родина риса.
Неплохо:
блюдо рисовой каши
и чай —
из разрисованных чашек.
Но рис
и чай
не всегда у китайца,—
английский купец на китайца
кидается:
«Отдавайте нам еду,
а не то —
войной иду!
На людях
мы
кататься привыкши.
Китайцев таких
называем «рикши».

В рабочих привыкли всаживать
пули.
Рабочих таких
называем «ку́ли».

11

Мальчик китайский
русскому рад.
Встречает нас,
как брата брат.
Мы ие грабители —
мы их ие обидели.
За это
на нас
богатей аиглийский
сжимает кулак,
завидевши близко.
Едем схороииться
к советской границе.
Через Сибирь вас
провозит экспресс.
Лес да горы,
горы и лес.
И вот
через 15 дней
опять Москва —
гуляйте в ией.

12

Разевают дети рот.
— Мы же
ехали вперед,
а приехали туда же.
Это страиио,
страшио даже.

Маяковский,
ждем ответа.
Почему случилось это? —
А я ему:
— Потому,
что земля кругла,
нет на ней угла —
вроде мячика
в руке у мальчика.
1927

ВОЗЬМЕМ ВИНТОВКИ НОВЫЕ

Возьмем винтовки новые,
на штык флажки!
И с песиею
в стрелковые
пойдем кружки.
Раз,
два!
Все
в ряд!
Впе-
ред,
от-
ряд.
Когда
войиа-метелица
придет опять —
должны уметь мы целиться,
уметь стрелять.
Ша-
гай
кру-
че!
Цель-
ся
луч-
ше!

И если двинет армии
страна моя —
мы будем
санитарами
во всех боях.
Ра-
нят
в ле-
су,
к сво-
им
сне-
су.
Бесшумною разведкою —
тиха нога —
за камнем
и за веткою
найдем врага.
Пол-
зу
день,
ночь
мо-
им
по-
мочь.
Блестят винтовки новые,
на них
флажки.
Мы с песнею
в стрелковые
идем кружки.
Раз,
два!
Под-
ряд!
Ша-
гай,
от-
ряд!

1927

МАЙСКАЯ ПЕСЕНКА

Зеленые листики —
и нет зимы.
Идем
раздольем чистеньким —
и я,
и ты,
и мы.
Весна сушить развесила
свое мытье.
Мы молодо и весело
идем!
Идем!
Идем!
На ситцах, на бумаге —
огонь на всем.
Красные флаги
несем!
Несем!
Несем!
Улица рада,
весной умытая.
Шагаем отрядом,
и мы,
и ты,
и я.

1928

КЕМ БЫТЬ?

У меня растут года,
будет и семнадцать.
Где работать мне тогда,
чем заниматься?

Нужные работиики —
столяры и плотники!
Сработать мебель мудрено:
сиачала
мы
берем бревно
и пилим доски
длииные и плоские.
Эти доски
вот так
зажимает
стол-верстак.
От работы
пила
раскалилась добела.
Из-под пилки
сыплются опилки.
Рубаиок
в руки —
работа другая:
сучки, закорюки
рубаиком стругаем.
Хороши стружки —
желтые игрушки.
А если
иужеи шар иам
круглый очеиь,
иа стаике токарием
круглое точим.
Готовим понемиожку
то ящик,
то ножку.
Сделали вот столько
стульев и столиков!

Столяру хорошо,
а инжеиеру —
лучше,
я бы строить дом пошел,
пусть меия иаучат.

Я
сначала
начерчу
дом
такой,
какой хочу.
Самое главное,
чтоб было нарисовано
зданне
славное,
живое словно.
Это будет
перёд,
называется фасад.
Это
каждый разберет —
это ванна,
это сад.
План готов,
н вокруг
сто работ
на тыщу рук.
Упираются леса
в самые небеса.
Где трудна работка,
там
внзжит лебедка;
подымает балки,
будто палкн.
Перетащнт кнрпичн,
закаленные в печи́.
По крыше выложилн жесть.
И дом готов,
н крыша есть.
Хорошнй дом,
большущнй дом
на все четыре стороны,
и заживут ребята в нем
удобно н просторно.

Инженеру хорошо,
а доктору —
лучше,

я б детей лечить пошел,
пусть меия иаучат.
Я приеду к Пете,
я приеду к Поле.
— Здравствуйте, дети!
Кто у вас болен?
Как живете,
как животик? —
Погляжу
из очков
коичики язычков.
— Поставьте этот градусник
под мышку, детишки.—
И ставят дети радостио
градусиик под мышки.
— Вам бы
очень хорошо
проглотить порошок
и микстуру
ложечкой
пить поиемиожечку.
Вам
в постельку лечь
поспать бы,
вам —
компрессик иа живот,
и тогда
у вас
до свадьбы
все, коиечно, заживет.

Докторам хорошо,
а рабочим —
лучше,
я б в рабочие пошел,
пусть меия научат.
Вставай!
Иди!
Гудок зовет,
и мы приходим иа завод.

Народа — уйма целая,
тысяча двести.
Чего один ие сделает —
сделаем вместе.
Можем
железо
ножиицами резать,
краиом висящим
тяжести тащим;
молот паровой
гиет и рельсы травой.
Олово плавим,
машииами правим.
Работа всякого
пужиа одинаково.
Я гайки делаю,
а ты
для гайки
делаешь виипы.
И идет
работа всех
прямо в сборочный цех.
Болты,
лезьте
в дыры ровные,
части
вместе
сбей
огромные.
Там —
дым,
здесь —
гром.
Гро-
мим
весь
дом.
И вот
вылазит паровоз,
чтоб вас
и нас
и иес
и вез.

На заводе хорошо,
а в трамвае —
лучше,
я б кондуктором пошел,
пусть меня научат.
Кондукторам
езда везде.
С большою сумкой кожаной
ему всегда,
ему весь день
в трамваях ездить можно.
— Большие и дети,
берите билетик,
билеты разные,
бери любые —
зеленые,
красные
и голубые.—
Ездим рельсами.
Окончилась рельса,
и слезли у леса мы,
садись
и грейся.

Кондуктору хорошо,
а шоферу —
лучше,
я б в шоферы пошел,
пусть меня научат.
Фырчит машина скорая,
летит, скользя,
хороший шофер я —
сдержать нельзя.
Только скажите,
вам куда надо —
без рельсы
жителей
доставлю на дом.
Е-
дем,
ду-
дим:

«С пу-
ти
уй-
ди!»

Быть шофером хорошо,
а летчиком —
лучше,
я бы в летчики пошел,
пусть меня научат.
Наливаю в бак бензин,
завожу пропеллер.
«В небеса, мотор, вези,
чтобы птицы пели».
Бояться не надо
ни дождя,
ни града.
Облетаю тучку,
тучку-летучку.
Белой чайкой паря,
полетел за моря.
Без разговору
облетаю гору.
«Вези, мотор,
чтоб нас довез
до звезд
и до луны,
хотя луна
и масса звезд
совсем отдалены».

Летчику хорошо,
а матросу —
лучше,
я б в матросы пошел,
пусть меня научат.
У меня на шапке лента,
на матроске
якоря.
Я проплавал это лето,
океаны покоря.
Напрасно, волны, скачете —
морской дорожкой

на реях и по мачте
карабкаюсь кошкой.
Сдавайся, ветер вьюжный
сдавайся, буря скверная,
открою
полюс
Южный,
а Северный —
наверное.

Книгу переворошив,
намотай себе на ус —
все работы хороши,
выбирай
на вкус!

1928

ПЕСНЯ-МОЛНИЯ

За море сниеволное,
за сто земель
и вод
разлейся, песня-молния,
про пионерский слет.
Идите,
слов не тратя,
на красный
наш костер!
Сюда,
миллионы братьев!
Сюда,
миллион сестер!
Китайские акулы,
умерьте
вашу прыть,—
мы
с китайчонком-кули

пойдем
акулу крыть.
Веди
светло и прямо
к работе
и к боям,
моя
большая мама —
республика моя.
Растем от года к году мы.
смотри,
земля-старик,—
садами
и заводами
смеиили пустыри.
Везде
родиые иаши,
куда ии бросишь глаз.
У иас большой папаша —
стальиой рабочий класс.
Иди
учиться рядышком,
безграмотиая старь.
Пора,
товарищ бабушка,
садиться за букварь.
Вперед,
отряды сжатые,
по леиииской тропе!
У иас
одии вожатый —
товарищ ВКП.

1929

МОЕ ОТКРЫТИЕ АМЕРИКИ

МЕКСИКА

ДВА СЛОВА. Моя последняя дорога — Москва, Кенигсберг (воздух), Берлин, Парнж, Сен-Назер, Жижон, Сантандер, Мыс-ла-Коронь (Испания), Гавана (остров Куба), Вера-Круц, Мехико-сити, Ларедо (Мексика), Нью-Йорк, Чикаго, Филадельфия, Детройт, Питсбург, Кливленд (Северо-Американские Соединенные Штаты), Гавр, Парнж, Берлин, Рига, Москва.

Мне необходимо ездить. Обращение с живыми вещами почти заменяет мне чтение книг.

Езда хватает сегодняшнего читателя. Вместо выдуманных интересностей о скучных вещах, образов и метафор — вещи, интересные сами по себе.

Я жил чересчур мало, чтобы выписать правильно и подробно частности.

Я жил достаточно мало, чтобы верно дать общее.

18 ДНЕЙ ОКЕАНА. Океан — дело воображения. И на море не видно берегов, и на море волны больше, чем нужны в домашнем обиходе, и на море не знаешь, что под тобой.

Но только воображение, что справа нет земли до полюса и что слева нет земли до полюса, впереди совсем новый, второй свет, а под тобой, быть может, Атлантида,— только это воображение есть Атлантический океан. Спокойный океан скучен. 18 дней мы ползем, как муха по зеркалу. Хорошо поставленное зрелище было только один раз; уже на обратном пути из Нью-Йорка в Гавр. Сплошной ливень вспенил белый океан, белым заштриховал небо, сшил белыми нитками небо и воду. Потом

была радуга. Радуга отразилась, замкнулась в океане,— и мы, как циркачи, бросались в радужный обруч. Потом — опять плавучие губки, летучие рыбки, летучие рыбки и опять плавучие губки Сарагоссова моря, а в редкие торжествеиные случаи — фоитаиы китов. И все время надоедающая (даже до тошноты) вода и вода.

Океан надоедает, а без него скушио.

Потом уже долго-долго надо, чтобы гремела вода, чтоб успокаивающе шумела машина, чтоб в такт позваиивали медяшки люков.

ПАРОХОД «ЭСПАНЬ» 14 000 тонн. Пароход малеиький, вроде нашего «ГУМ'а». Три класса, две трубы, одно кино, кафе-столовая, библиотека, концертный зал и газета.

Газета «Атлантик». Впрочем, паршивая. На первой странице великие люди: Балиев да Шаляпин, в тексте описание отелей (материал, очевидно, заготовлениый на берегу) да жиденький столбец новостей — сегодняшнее меню и последиее радио, вроде: «В Марокко все спокойно».

Палуба разукрашена разноцветными фонариками, и всю иочь танцует первый класс с капитанами. Всю ночь наяривает джаз:

Маркита,
Маркита,
Маркита моя!
Зачем ты,
Маркита,
не любишь меня...

Классы — самые настоящие. В первом — купцы, фабрикаиты шляп и воротничков, тузы искусства и монашенки. Люди странные: турки по национальности, говорят только по-английски, живут всегда в Мексике,— представители французских фирм с парагвайскими и аргентинскими паспортами. Это — сегодияшние колонизаторы, мексиканские штучки. Как раиьше за грошовые побрякушки спутники и потомки Колумба обирали индейцев, так сейчас за красный галстук, приобщающий негра к европейской цивилизации, на гаваиских плантациях сгибают в три погибели краснокожих. Держатся

обособлеиио. В третий и во второй идут только если за хорошеиькими девочками. Второй класс — мелкие коммивояжеры, иачииающие искусство и стукающая по ремиигтоиам иителлигеиция. Всегда иезаметио от боцмаиов, бочком втираются в палубы первого класса. Стаиут и стоят,— дескать, чем же я от вас отличаюсь: воротиички иа мие те же, маижеты тоже. Но их отличают и почти вежливо просят уйти к себе. Третий — иачинка трюмов. Ищущие работы из Одесс всего света — боксеры, сыщики, негры.

Сами иаверх ие суются. У заходящих с других классов спрашивают с угрюмой завистью: «Вы с префераиса?» Отсюда подымаются спертый запашище пота и сапожищ, кислая вонь просушиваемых пелеиок, скрип гамаков и походиых кроватей, облепивших всю палубу, зарезанный рев детей и шепот почти по-русски урезоиивающих матерей: «Уймись, ты, кисáика моя, заплакáиная».

Первый класс играет в покер и маджоиг, второй — в шашки и на гитаре, третий — заворачивает руку за спиiу, закрывает глаза, сзади хлопают изо всех сил по ладоии,— иадо угадать, кто хлопиул из всей гурьбы, и увиаииый замеияет избиваемого. Советую вузовцам испробовать эту испаискую игру.

Первый класс тошиит куда хочет, второй — иа третий, а третий — сам иа себя.

Событий иикаких.

Ходит телеграфист, орет о встречиых пароходах. Можете отправить радио в Европу.

А заведующий библиотекой, ввиду малого спроса иа книги, заият и другими делами: разиосит бумажку с десятью цифрами. Виеси 10 фраиков и запиши фамилию; если цифра пройдеиных миль окончится иа твою — получай 100 фраиков из этого морского тотализатора.

Мое невиаиие языка и молчание было истолковаио как молчаиие дипломатическое, и одии из купцов, встречая меия, всегда для поддержки знакомства с высоким пассажиром почему-то орал: «Хорош Плевиа» — два слова, заучеиные им от еврейской девочки с третьей палубы.

Накаиуие приезда в Гаваиу пароход оживился. Была даиа «Томбола» — морской благотворительиый праздник в пользу детей погибших моряков.

Первый класс устроил лотерею, пил шампанское, склонял имя купца Макстона, пожертвовавшего 2000 франков,— имя это было вывешено на доске объявлений, а грудь Макстона под общие аплодисменты украшена трехцветной лентой с его, Макстоновой фамилией, тисненной золотом.

Третий тоже устроил праздник. Но медяки, кидаемые первым и вторым в шляпы, третий собирал в свою пользу.

Главный номер — бокс. Очевидно, для любящих этот спорт англичан и американцев. Боксировать никто не умел. Противно — бьют морду в жару. В первой паре пароходный кок — голый, щуплый, волосатый француз в черных дырявых носках на голую ногу.

Кока били долго. Минут пять он держался от умения и еще минут двадцать из самолюбия, а потом взмолился, опустил руки и ушел, выплевывая кровь и зубы.

Во второй паре дрался дурак-болгарин, хвастливо открывавший грудь,— с американцем-сыщиком. Сыщика, профессионального боксера, разбирал смех,— он размахнулся, но от смеха и удивления не попал, а сломал собственную руку, плохо сросшуюся после войны.

Вечером ходил арбитр и собирал деньги на поломанного сыщика. Всем объявлялось по секрету, что сыщик со специальным тайным поручением в Мексике, а слечь надо в Гаване, а безрукому никто не поможет,— зачем он американской полиции?

Это я понял хорошо, потому что и американец-арбитр в соломенном шлеме оказался одесским сапожником-евреем.

А одесскому еврею все надо,— даже вступаться за незнакомого сыщика под тропиком Козерога.

Жара страшная.

Пили воду — и зря: она сейчас же выпаривалась по́том.

Сотни вентиляторов вращались на оси и мерно покачивали и крутили головой — обмахивая первый класс.

Третий класс теперь ненавидел первый еще и за то, что ему прохладнее на градус.

Утром, жареные, печеные и вареные, мы подошли к белой — и стройками и скалами — Гаване. Подлив та-

моженный катерок, а потом десяткн лодок н лодчонок с гаванской картошкой — ананасами. Третий класс кидал деньгу, а потом выужнвал ананас веревочкой.

На двух конкурнрующих лодках два гаванца ругалнсь на чнсто русском языке: «Куда ты прешь со своей аиаиаснной, мать твою...»

ГАВАНА. Стояли суткн. Брали уголь. В Вера-Круц угля нет, а его надо на шесть дней езды, туда и обратно по Мексикаискому заливу. Первому классу пропуска на берег дали немедленно н всем, с заносом в каюту. Купцы в белой чесуче сбегали возбужденно с дюжиинами чемоданчнков — образцов подтяжек, воротничков, граммофонов, фиксатуаров и красных иегрнтянских галстуков. Купцы возвращалнсь ночью пьяные, хвастаясь даренымн двухдолларовыми снгарамн.

Второй класс сходил с выбором. Пускали на берег нравящнхся капнтаиу. Чаще — женщин.

Третнй класс не пускали совсем — и ои торчал на палубе, в скрежете и грохоте углесосов, в черной пыли, прилнпшей к лнпкому поту, подтягнвая на веревочке аианасы.

К моменту спуска полил дождь, иикогда не виданный мной тропнческнй дождиа.

Что такое дождь?

Это — воздух с прослойкой воды.

Дождь тропический — это сплошиая вода с прослойкой воздуха.

Я первоклассник. Я на берегу. Я спасаюсь от дождя в огромнейшем двухэтажном пакгаузе. Пакгауз от пола до потолка начинен «внски». Таннственные подпнсн: «Кинг Жорж», «Блэк эид уайт», «Уайт хорс» — чернелн на ящиках спирта, контрабанды, вливаемой отсюда в иедалекие трезвые Соедниенные Штаты.

За пакгаузом — портовая грязь кабаков, публичных домов и гниющнх фруктов.

За портовой полосой — чистый богатейший город мира.

Одна сторона — разэкзотнческая. На фоие зеленого моря черный иегр в белых штанах продает пунцовую рыбу, подымая ее за хвост иад собствениой головой.

Другая сторона — мировые табачные и сахарные лимитеды с десятками тысяч негров, испанцев и русских рабочих.

А в центре богатств — американский клуб, десятиэтажный Форд, Клей и Бок — первые ощутимые признаки владычества Соединенных Штатов над всеми тремя — над Северной, Южной и Центральной Америкой.

Им принадлежит почти весь гаванский Кузнецкий мост: длинная, ровная, в кафе, рекламах и фонарях Прадо; по всей Ведадо, перед их особняками, увитыми розовым коларио, стоят на ножке фламинго цвета рассвета. Американцев берегут на своих низеньких табуретах под зонтиками стоящие полицейские.

Все, что относится к древней экзотике, красочно поэтично и малодоходно. Например, красивейшее кладбище бесчисленных Гомецов и Лопецов с черными даже днем аллеями каких-то сплетшихся тропических бородатых деревьев.

Все, что относится к американцам, прилажено прилежно и организованно. Ночью я с час простоял перед окнами гаванского телеграфа. Люди разомлели в гаванской жаре, пишут почти не двигаясь. Под потолком на бесконечной ленте носятся зажатые в железных лапках квитанции, бланки и телеграммы. Умная машина вежливо берет от барышни телеграмму, передает телеграфисту и возвращается от него с последними курсами мировых валют. И в полном контакте с нею, от тех же двигателей вертятся и покачивают головами вентиляторы.

Обратно я еле нашел дорогу. Я запомнил улицу по эмалированной дощечке с надписью «трафико». Как будто ясно — иазванне улицы. Только через месяц я узнал, что «трафико» на тысячах улиц просто указывает направление автомобилей. Перед уходом парохода я сбежал за журналами. На площади меня поймал оборванец. Я не сразу мог понять, что он просит о помощи. Оборванец уднвился:

— Ду ю спик нигліш? Парлата эспаньола? Парле ву фраисе?

Я молчал и только под конец сказал ломаио, чтоб отвязаться: «Ай эм ре́ша!»

Это был самый необдуманный поступок. Оборванец ухватил обеими рукамн мою руку и заорал:

— Гип большевик! Ай эм большевик! Гип, гип!

Я скрылся под иедоумеиные и опасливые взгляды прохожих.

Мы отплывали уже под гимн мексикаицев.

Как украшает гими людей,— даже купцы стали серьезны, вдохновенно повскакивали с мест и орали что-то вроде:

Будь готов, мексиканец,
вскочить на коня...

К ужиину давали незиакомые мие еды — зелеиый кокосовый орех с иамазывающейся маслом сердцевниой и фрукт маиго — шарж на баиаи, с большой волосатой косточкой.

Ночью я с завистью смотрел пуиктир фоиарей далеко по правой руке,— это горели железиодорожиые огии Флориды.

На железиых столбах в третьем классе, к которым прикручивают каиаты, сидели вдвоем я и эмигрирующая одесская машиииистка. Машинистка говорила со слезой:

— Нас сократили, я голодала, сестра голодала, двоюродиый дядька позвал из Америкн. Мы сорвались и уже год плаваем и ездим от земли к земле, от города к городу. У сестры — аигина и иарыв. Я звала вашего доктора. Ои ие пришел, а вызвал к себе. Пришли, говорит — раздевайтесь. Сидит с кем-то и смеется. В Гаване хотели слезть зайцами — оттолкнулн. Прямо в грудь. Больио. Так в Коистаитииополе, так в Алексаидрнн. Мы — третьи... Этого и в Одессе ие бывало. Два года ждать иам, пока пустят из Мексики в Соедииеиные Штаты... Счастливый! Вы через полгода опять увидите Россию.

МЕКСИКА. Вера-Круц. Жидеиький бережок с маленькимн иизкими домишками. Круглая беседка для встречающих рожками музыкаитов.

Взвод солдат учится и марширует иа берегу. Нас пркрутилн каиатами. Сотни малеиьких людей в трнчетвертиаршиииых шляпах крнчалн, вытягивали до второй палубы руки с иосильщическими номерами, дрались друг с другом из-за чемоданов и уходили, подламываясь под огромиой клажей. Возвращались, вытирали лицо и орали и кляичили сиова.

— Где же иидейцы? — спросил я соседа.

— Это индейцы,— сказал сосед.

Я лет до двенадцати бредил индейцами по Куперу и Майн-Риду. И вот стою, оторопев, как будто перед моими глазами павлинов переделывают в куриц.

Я был хорошо вознагражден за первое разочарование. Сейчас же за таможней пошла непонятная, своя, изумляющая жизнь.

Первое — красное знамя с серпом и молотом в окне двухэтажного дома.

Ни к каким советским консульствам это знамя никак не относится. Это «организация Проаля». Мексиканец въезжает в квартиру и выкидывает флаг.

Это значит:

«Въехал с удовольствием, а за квартиру платить не буду». Вот и все.

Попробуй — вышиби.

В крохотной тени от стен и заборов ходят коричневые люди. Можно идти и по солнцу, но тогда тихо, тихо — иначе солнечный удар.

Я узнал об этом поздно и две недели ходил, раздувая ноздри и рот — чтобы наверстать нехватку разреженного воздуха.

Вся жизнь — и дела, и встречи, и еда — всё под холщовыми полосатыми навесами на улицах.

Главные люди — чистильщики сапог и продавцы лотерейных билетов. Чем живут чистильщики сапог — не знаю. Индейцы босые, а если и обуты, то во что-то не поддающееся ни чистке, ни описанию. А на каждого имеющего сапог — минимум 5 чистильщиков.

Но лотерейщиков еще больше. Они тысячами ходят с отпечатанными на папиросной бумаге миллионами выигрышных билетов, в самых мелких купюрах. А на утро уже выигрыши с массой грошовых выдач. Это уже не лотерея, а какая-то своеобразная, полукарточная, азартная игра. Билеты раскупают, как в Москве подсолнухи. В Вера-Круц не задерживаются долго: покупают мешок, меняют доллары, берут мешок с серебром за плечи и идут на вокзал покупать билет в столицу Мексики — Мехико-сити.

В Мексике все носят деньги в мешках. Частая смена правительств (за отрезок времени 28 лет — 30 президентов) подорвала доверие к каким бы то ни было бумажкам. Вот и мешки.

В Мексике бандитизм. Признаюсь, я поннмаю баидитов. А вы, если перед вашими носами звенят золотым мешком, разве не покуснтесь?

На вокзале увндел вблизн первых военных. Большая шляпа с пером, желтое лнцо, шестивершковые усы, палаш до полу, зелеиые мундиры н лакнрованные желтые краги.

Армня Мексики иитересиа. Никто, и военный мниистр тоже, ие знает, сколько в Мексике солдат. Солдаты под геиераламн. Еслн геиерал за президеита, он, нмея тысячу солдат, хвастается десятью тысячамн. А получнв на десять, продает еду н амуннцню девяти.

Еслн геиерал протнв президента, он щеголяет статистнкой в тысячу, а в нужиый момент выходит драться с десятью.

Поэтому воеиный мнинстр на вопрос о количестве войска отвечает:

— Кин сав, кнн сав. Кто знает, кто знает. Может, 30 тысяч, ио возможио — н сто.

Войско живет по-древнему — в палатках со скарбом, с жеиамн и с детьмн.

Скарб, жены н детн этакой махновщиной выступают во время междоусобиых войн. Если у одной армнн нет патроиов, но есть манс, а другне без манса, но с патронами — армии прерывают сражеиие, семьн ведут меновую торговлю, одни наедятся мансом, другие наполнят патронамн сумки — н снова раздувают бой.

По дороге к вокзалу автомобнль спугнул стаю птиц. Есть чего нспугаться.

Гусиных размеров, вороньей черноты, с голымн шеями н большнмн клювамн, онн подымалнсь над нами.

Это «зопнлоты», миримые вороны Мекснкн; нхнее дело — всякий отброс.

Отъехали в девять вечера.

Дорога от Вера-Круц до Мехико-снти, говорят, самая красивая в мире. На высоту 3000 метров вздымается она по обрывам, промежду скал н сквозь тропнческие леса. Не зиаю. Не видал. Но и проходящая мнмо ваго-иа тропическая ночь иеобыкиовеииа.

В совершеиио сиией, ультрамарнновой ночи черные тела пальм — совсем длиноволосые богемцы-художиикн.

Небо и земля сливаются. И вверху и внизу звезды. Два комплекта. Вверху неподвижные и общедоступные небесные светила, внизу ползущие и летающие звезды светляков.

Когда озаряются станции, видишь глубочайшую грязь, ослов и длинношляпых мексиканцев в «сарапе» — пестрых коврах, прорезанных посередине, чтоб просунуть голову и спустить концы на живот и за спину.

Стоят, смотрят — а двигаться не их дело.

Над всем этим сложный, тошноту вызывающий запах,— странная помесь вони газолина и духа гнили банана и ананаса.

Я встал рано. Вышел на площадку.

Было все наоборот.

Такой земли я не видал и не думал, что такие земли бывают.

На фоне красного восхода, сами окрашенные красным, стояли кактусы. Одни кактусы. Огромными ушами в бородавках вслушивался нопаль, любимый деликатес ослов. Длинными кухонными ножами, начинающимися из одного места, вырастал могей. Его перегоняют в полупиво-полуводку — «пульке», спаивая голодных индейцев. А за нопалем и могеем, в пять человеческих ростов, еще какой-то сросшийся трубами, как орган консерватории, только темно-зеленый, в иголках и шишках.

По такой дороге я въехал в Мехико-сити.

ДИЕГО ДЕ-РИВЕРА встретил меня на вокзале. Поэтому живопись — первое, с чем я познакомился в Мехико-сити.

Я раньше только слышал, будто Диего — один из основателей компартии Мексики, что Диего величайший мексиканский художник, что Диего из кольта попадает в монету на лету. Еще я знал, что своего Хулио Хуренито Эренбург пытался писать с Диего.

Диего оказался огромным, с хорошим животом, широколицым, всегда улыбающимся человеком.

Он рассказывает, вмешивая русские слова (Диего великолепно понимает по-русски), тысячи интересных вещей, но перед рассказом предупреждает:

— Имейте в виду, и моя жена подтверждает, что половину из всего сказанного я привираю.

Мы с вокзала, закинув в гостиницу вещи, двинулись в мексиканский музей. Диего двигался тучей, отвечая на сотни поклонов, пожимая руку ближайшим и перекрикиваясь с идущими другой стороной. Мы смотрели древние, круглые, на камне, ацтекские календари из мексиканских пирамид, двумордых идолов ветра, у которых одно лицо догоняет другое. Смотрели, и мне показывали не зря. Уже мексиканский посол в Париже, г-н Рейес, известный новеллист Мексики, предупреждал меня, что сегодняшняя идея мексиканского искусства — это исход из древнего, пестрого, грубого народного индейского искусства, а не из эпигонски-эклектических форм, завезенных сюда из Европы. Эта идея — часть, может, еще и не осознанная часть, идеи борьбы и освобождения колониальных рабов.

Поженить грубую характерную древность с последними днями французской модернистской живописи хочет Диего в своей еще не оконченной работе — росписи всего здания мексиканского министерства народного просвещения.

Это много десятков стен, дающих прошлую, настоящую и будущую историю Мексики.

Первобытный рай, со свободным трудом, с древними обычаями, праздниками маиса, танцами духа смерти и жизни, фруктовыми и цветочными дарами.

Потом — корабли генерала Эрнандо Кортеса, покорение и закабаление Мексики.

Подневольный труд с плантатором (весь в револьверах), валяющимся в гамаке. Фрески ткацкого, литейного, гончарного и сахарного труда. Подымающаяся борьба. Галерея застреленных революционеров. Восстание с землей, атакующей даже небеса. Похороны убитых революционеров. Освобождение крестьянина. Учение крестьян под охраной вооруженного народа. Смычка рабочих и крестьян. Стройка будущей земли. Коммуна — расцвет искусства и знаний.

Эта работа была заказана предыдущим недолговечным президентом в период его загрызания с рабочими.

Сейчас эта первая коммунистическая роспись в мире — предмет злейших нападок многих высоких лиц из правительства президента Кайеса.

Соединенные Штаты — дирижер Мексики — дали броненосцами и пушками понять, что мексиканский пре-

видеит только исполнитель воли североамериканского капитала. А поэтому (вывод нетруден) незачем разводить коммунистическую агитационную живопись.

Были случаи нападения хулиганов и замазываиия и соскребывания картин.

В этот деиь я обедал у Диего.

Его жеиа — высокая красавица из Гвадалахары.

Ели чисто мексиканские вещи.

Сухие, пресные-пресные тяжелые лепешки-блины. Рубленое скатанное мясо с массой муки и целым пожаром перца.

До обеда кокосовый орех, после — маиго.

Запивается отдающей самогоном дешевой водкой — коньяком-хабаиерой.

Потом перешли в гостиную. В центре дивана валялся годовалый сын, а в изголовьи на подушке бережно лежал огромный кольт.

Приведу отрывочиые сведеиия и о других искусствах.

ПОЭЗИЯ: Ее много. В саду Чапультапеке есть целая аллея поэтов — Кальсада де лос поэтос.

Одинокие мечтательиые фигуры скребутся в бумажке.

Каждый шестой человек — обязательно поэт.

Но все мои вопросы критикам о сегодияшией значительной мексикаиской поэзии, о том, есть ли что-либо похожее на советские течения,— оставались без ответа.

Даже коммунист Герреро, редактор железиодорожного журнала, даже рабочнй писатель Крус пишут почти одни лирнческие вещи со сладострастиями, со стоиами и шепотами, и про свою любимую говорят: Комо леон ну́био (как нубийский лев).

Причииа, я думаю, слабое развитие поэзни, слабый социальный заказ. Редактор журнала «Факел» доказывал мие, что платить за стихи нельзя,— какая же это работа! Их можио помещать только как красивую человеческую позу, прежде всего выгодную и иитересную одному автору. Иитересно, что этот взгляд на поэзию был и в России в предпушкинскую и даже в пушкии-

скую эпоху. Профессионалом, серьезно вставлявшим стихи в бюджет, был, кажется, тогда только один Пушкин.

Поэзия напечатанная, да и вообще хорошая книга, не идет совсем. Исключение — только переводные романы. Даже книга «Грабительская Америка», насущная книга об империализме в Соединенных Штатах и возможности объединения латинской Америки для борьбы, переведенная и напечатанная уже в Германии, здесь расходится в пятистах экземплярах и то чуть ли не при насильственной подписке.

Те, кто хотят, чтоб их поэзия шла, издают лубочные листки с поэмой, приспособленной к распеву на какой-нибудь общеизвестный мотив.

Такие листки показывал мне делегат Крестинтерна товарищ Гальван. Это — предвыборные листки с его же стихами, за грош продающимися по рынкам. Этот способ надо бы применить вапповцам и мапповцам — вместо толстенных академических антологий на рабоче-крестьянском верже, в 5 рублей цепой.

Русскую литературу любят и уважают, хотя больше понаслышке. Сейчас переводятся (!) Лев Толстой, Чехов, а из новых я видел только «Двенадцать» Блока да мой «Левый марш».

ТЕАТР. Драмы, оперы, балет пустуют. Заезжая Анна Павлова имела бы полный зал, только б если у нее двоилось в глазах.

Я был раз в огромном театре на спектакле кукол. Было жутко видеть это приехавшее из Италии потрясающее искусство. Люди, казавшиеся живыми, ломались в гимнастике по всем суставам. Из бабы человечьей величины десятками вылетали танцевать крохотные куколки обоего пола.

Оркестр и хор полуаршинных людей выводили невозможные рулады, и даже на этом официальном спектакле в пользу авиаторов Мексики ложи были только ложи дипломатических представителей, хотя билеты и продавались вручную, вразнос.

Есть два «батаклана» — подражание голым парижским ревю. Они полны. Женщины тощие и грязные. Очевидно, уже вышедшие из моды, из лет, и из успеха

в Европе и в Штатах. Пахнет потом и скандалом. Номер получасового вращения (с дрожью) задом (обратная сторона танца живота) повторяется трижды — и снова бешеный свист, заменяющий в Мексике аплодисменты.

Так же посещаем кино. Мексиканское кино работает от восьми вечера и показывает одну неповторяющуюся программу из трех-четырех огромных лент.

Содержание ковбойское, происхождение американское. Но самое любимое посещаемое зрелище — это бой быков.

Огромное стальное строение арены — единственное здание по всем правилам, по всей американской широте.

Человек — тысяч на сорок. Задолго до воскресенья газеты публикуют:

ЛОС ОЧО ТОРОС
восемь быков

Быков и лошадей, принимающих участие в битве, можно заранее осматривать в конюшнях торо. Такие-то и такие-то знаменитые тореадоры, матадоры и пикадоры принимают участие в празднике.

В назначенный час тысячи экипажей со светскими дамами, катящими с ручными обезьянками в своих «ройльсах», и десятки тысяч пешеходов прут к стальному зданию. Цены на билеты, раскупленные барышниками, вздуты вдвое.

Цирк открытый.

Аристократия берет билеты в теневой, дорогой стороне, плебс — на дешевой, солнечной. Если после убийства двух быков, из общей программы в 6 или в 8, дождь заставляет прекратить живодерию, публика — так было в день моего приезда — ярится и устраивает погром администрации и деревянных частей.

Тогда полиция прикатывает браидсбои и начинает окачивать солнечную (плебейскую) сторону водой. Это не помогает,— тогда стреляют в тех же солнечников.

Торо.

Перед входом огромная толпа ждет любимцев-быкобоев. Именитые граждане стараются сняться рядом с высокомерным быкобойцем, аристократки-сеньоры дают,

очевидно для облагораживающего влияния, подержать нм своих детей. Фотографы занимают места почти на бычьих рогах — и начинается бой.

Сначала пышный, переливающий блестками парад. И уже начинает бесноваться аудитория, бросая котелки, пиджаки, кошельки и перчатки любимцам на арену. Красиво и спокойно, сравнительно, проходит пролог, когда тореадор играет с быком красной тряпкой. Но уже с бандерильеров, когда быку в шею втыкают первые копья, когда пикадоры обрывают быкам бока, и бык становится постепенно красным, когда его взбешенные рога врезаются в лошажьи животы, и лошади пикадоров секунду носятся с вывалившимися кишками,— тогда зловещая радость аудиторин доходит до кипения. Я видел человека, который спрыгнул со своего места, выхватил тряпку тореадора и стал взвивать ее перед бычьим носом.

Я испытал высшую радость: бык сумел воткнуть рог между человечьими ребрами, мстя за товарищей-быков.

Человека вынесли.

Никто иа него не обратил внимания.

Я не мог и не хотел видеть, как вынесли шпагу главному убийце и он втыкал ее в бычье сердце. Только по бешеному грохоту толпы я понял, что дело сделано. Внизу уже ждали тушу с ножами сдиратели шкур. Единственное, о чем я жалел, это о том, что нельзя установить на бычьих рогах пулеметов и нельзя его выдрессировать стрелять.

Почему нужно жалеть такое человечество?

Единственное, что примиряет меня с боем быков, это — то, что и король Альфонс испанский против него.

Бой быков — национальная мексиканская гордость.

Когда, распростившись с своим делом, купив дома и обеспечив себя и детей едой и лакеями, знаменитый быкобоец Рудольфо Гаона уехал в Европу — вся пресса взвыла, собирая анкеты: имеет ли право уезжать этот великий человек? у кого будет учиться, с кого будет брать пример подрастающая Мексика?

Поражающих архитектурных памятников новой стройки я в Мексике не видел. Быстро меняющиеся президенты мало задумываются о долговечных стройках. Диэц, пропрезидентствовавший тридцать лет, под конец начал строить не то сенат, не то театр. Диэца прогнали.

С тех пор прошло миого лет. Готовый скелет из железных балок стоит, а сейчас, кажется, его получил на слом или продажу за какие-то услуги президенту какой-то мексиканскнй спекулянт. Новой и хорошей вещью мие показался памятник Серваитесу (копня севильского). Возвышающаяся площадка, обнесенная каменными скамейками, посредиие фоитаи, очень нужный в мексикаиской жаре. Скамейкн и низкие стены выстланы плитками, воскрешающнмн в простеиькнх лубочках похождения Дон-Кихота. Маленький Дон н Санчо Панса стоят по бокам. Никаких нзображений усатого нли бородатого Серваитеса.

Зато два шкафика его книг, которые тут же много лет листают возвышенные мексиканцы.

ГОРОД Мехнко-сити плоский н пестрый. Снаружи почти все домикн — ящиками. Розовые, голубые, зеленые. Преобладающнй цвет розовато-желтый, этакнм морским песком на заре. Фасад дома скучен, вся его красота — внутрн. Здесь дом образует четырехугольный дворик. Дворнк усажен всякой цветущей тропичностью. Перед всеми домами обнимающая дворик двух-трехчетырехэтажиая терраса, обвитая зеленью, увешаиная горшкамн с ползучимн растеииями и клеткамн попугаев.

Целое огромное американское кафе Самбори устроеио так: застеклена крыша над двориком — вот и все.

Это — испанский тип домов, завезеиный сюда завоевателями.

От старого восьмисотлетнего Мехико,— когда все вто пространство, занимаемое городом, было озеро, обнесеиное вулкаиами, н только на островочке стояло пуэбло, своеобразный город-дом-коммуна, тысяч на 40 человек,— от этого ацтекского города ие осталось и следа.

Зато масса дворцов и домов первого завоевателя Мексикн — Кортеса н его эпохн, недолгого царя Итурбиды, да церкви, церкви и моиастыри. Их много больше 10 000 расставлено в Мексике.

И огромные иовые соборы, вроде брата Нотр-Дама — кафедраля на площадн Сокола,— до малеиькой церковки в старом городе, без окои, заплесиевевшей и вацветшей. Она брошена лет двести назад после сражения моиахов с кем-то,— вот и стоит дворик, в котором

еще и сейчас валяется допотопное оружие, в том порядке — вернее, беспорядке,— в котором побросали его разбитые осажденные. И мимо огромных книг на деревянных подставках носятся летучие мыши и ласточки.

Правда, упомянутым кафедралем для молений пользуются мало — у кафедраля с одной стороны вход, а с другой — четыре выхода на четыре улицы. Мексиканские сиьоры и сиьориты пользуются собором как проходным двором для того, чтобы, оставив в ждущем шофере впечатление религиозной невинности, выскользнуть с другой стороны в объятия любовника или под руку поклонника.

Хотя церковные земли конфискованы, процессии религиозные запрещены правительством, но это остается только на бумаге. На деле, кроме попов, религию блюдут и множество своеобразных организаций: «Рыцари Колумба», «Общество дам-католичек», «Общество молодых католиков» и т. д.

Это — дома и здания, на которых останавливаются гиды и Куки. Дома истории — дома попов и дома богатых.

Коммунисты показывали мне кварталы бедняков, мелких подмастерьев, безработных. Эти домики лепятся друг к другу, как ларьки на Сухаревке, но с еще большей грязью. В этих домах нет окон, и в открытые двери видно, как лепятся семьи из восьми, из десяти человек в одной такой комнатке.

Во время ежедневных летних мексиканских дождей вода заливает протоптанные ниже тротуаров полы и стоит вонючими лужами.

Перед дверьми мелкие худосочные дети едят вареный маис, продающийся здесь же и хранящийся теплым под грязными тряпками, на которых ночью спит сам торговец.

Взрослые, у которых есть еще 12 сантимов, сидят в «пулькерии» — этой своеобразной мексикаиской пивной, украшенной коврами сарапе, с изображением генерала Боливара, с пестрыми лентами или стеклярусами вместо дверей.

Кактусовый пульке, без еды, портит сердце и желудок. И уже к сорока годам индеец с одышкой, индеец с одутловатым животом. И это — потомок стальных Ястребиных Когтей, охотников за скальпами! Это — обо-

браииая американскими цивилизующими империалистами страиа — страиа, в которой до открытня Америки валяющееся серебро даже ие считалось драгоцеииым металлом,— страиа, в которой сейчас ие купишь и серебряиого фунта, а должеи нскать его иа Волстрит в Нью-Йорке. Серебро американское, нефть американская. На севере Мексики во владеиии американцев и густые железиые дороги и промышлеиность по последиему техническому слову.

А экзотнка — иа кой оиа черт! Лиаиы, попутаи, тигры и малярин, это — иа юге, это — мексикаицам. Что амернкаицам? Тнгров, что ли, ловнть да стричь шерсть иа кнсточки для брнтья?

Тнгры — это мексикаицам. Им — голодиая экзотика.

Самая богатая страиа мира, уже посажеииая североамериканским империализмом иа голодиый паек.

Жизиь города иачниается поздио, в 8—9 часов.

Открываются рыики, слесариые, сапожиые и портияжиые мастерскне, все электрифицированные, со станками для обпиливаиия и крашеиья каблуков, с утюгами для глажения сразу всего костюма. За мастерскими — правительствеиные учреждения.

Масса такси и частиых автомобилей вперемежку с демократическимн тряскими грузиыми автобусами, ие комфортабельией и ие вместительней иашего грузового полка.

Авто коикурируют с автобусами и авто разиых фирм между собой.

Эта коикуренцня при больше чем страстном характере испаицев-шоферов прнобретает прямо боевые формы.

Авто гоияется за авто, авто вместе гоияются за автобусом, а все сообща въезжают иа тротуары, охотясь за необдумаииымн пешеходами.

Мехико-сити — первый в мире город по количеству несчастиых случаев от автомобилей.

Шофер в Мексике ие отвечает за увечья (берегись сам!), поэтому средняя долгота житья без увечий десять лет. Раз в десять лет давят каждого. Правда, есть и иераздавлеиные в течеиие двадцати лет, но это за счет тех, которые в пять лет уже раздавлеиы.

В отличие от врагов мексиканского человечества — автомобилей — трамван исполияют гумаиную роль. Оии развозят покойников.

Часто видишь необычное зрелище. Трамвай с плачущими родственниками, а на прицепе-катафалке покойник. Вся эта процессия жарит вовсю с массой звоиков, но без остановок.

Своеобразиая электрификацня смерти!

Сравиительио с Соедииеиными Штатами народу на улицах мало — домишки малеиькие с садами, протяжение города огромное, а жителей всего 600 тысяч.

Уличных реклам мало. Только ночью врезается одна. Мексикаиец из электрическнх лампочек иакидывает лассо иа коробку папирос. Да все такси украшеиы изогиувшейся в плаваиии женщнной — реклама купальных костюмов.

Единственная реклама, которую любит малоудивляющийся мексикаиец, это «барата» — распродажа. Этими распродажами заполнен город. Самые солидиые фирмы обязаиы ее объявлять — без распродажи мексикаица ие заставишь купить даже фиговый лист.

В мексиканских условиях это не шутка. Говорят, муииципалитет повеснл на одиой из застав, вводящих в Мехико-сити, для усовещеваиия чересчур натуральиых индейцев вывеску:

В МЕХИКО-СИТИ БЕЗ ШТАНОВ ВХОД ВОСПРЕЩАЕТСЯ

Магазииая экзотика есть, но оиа для дураков, для заезжих, скупающих сувеииры, сухопарых американок. К их услугам прыгающие бобы, чересчур яркие сарапе, от которых будут шарахаться все ослы Гвадалахары, сумочки с тисиеиым ацтекским календарем, открытки с попугаями из иастоящих попугайских перышек. Мексикаиец чаще останавливается перед машиииыми магазинами иемцев, бельевыми — фраицузов, мебели — американцев.

Иностраиных предприятий бесконечное количество. Когда в праздник 14 июля фраицузские лавки подияли флаги, то густота их заставила думать, что мы во Франции.

Наибольшими торговыми симпатиями пользуются Германиия, иемцы.

Говорят, что иемец может проехать по стране, пользуясь всеобщим хлебосольством только из любви к его

национальности. Недаром в самой распространенной здесь газете я видел типографские машины, привезенные недавно, только с немецкими клеймами,— хотя до Америки сутки, а до Гамбурга езды 18 дней.

До 5—6 часов служба, работа. Потом к вертушкам. Перед парикмахерскими в Америке вертушки — стеклянный цилиндр с разноцветными спиралями, реклама мексиканских парикмахерских. Другие — в чистильню сапог. Длинный магазин с подставками для ног перед высокими стульями. Чистильщиков на 20.

Мексиканец франтовит — я видел рабочих, которые душатся. Мексиканка ходит неделю в дырах, чтоб в воскресенье разодеться в шелка. С семи часов центральные улицы загораются электричеством, которого здесь жгут больше, чем где бы то ни было,— во всяком случае больше, чем позволяют средства мексиканского народа. Своеобразная агитация за крепость и благополучие существования под нынешним президентом.

В 11 часов, когда кончаются театры и кино, остаются несколько кафе да загородные и окраинные подвальные кабачки,— ходьба начинает становиться небезопасной. В сад Чапультапек, в котором дворец президента, уже не пускают.

По городу горох выстрелов. Сбежавшаяся полиция не всегда обнаруживает убийство. Чаще всего стреляют в трактирах, пользуясь кольтом как штопором. Отшибают бутылочьи горлышки. Стреляют просто из авто, для шума. Стреляют на пари — тянут жребий, кто кого будет застреливать,— вынувший застреливает честно. В саду Чапультапек стреляют обдуманно. Президент приказал не впускать в сад с темнотой (в саду президентский дворец), стрелять после третьего предупреждения. Стрелять не забывают, только иногда забывают предупреждать. Газеты об убийствах пишут с удовольствием, но без энтузиазма. Но зато, когда день обошелся без смерти, газета публикует с удивлением:

«Сегодня убийств не было».

Любовь к оружию большая. Обычай дружеского прощания такой: становишься животом к животу и похлопываешь по спине. Впрочем, похлопываешь ниже и в задием кармане брюк всегда прохлопнешь увесистый кольт.

Это у каждого от 15 до 75-летнего возраста.

КАПЛЯ ПОЛИТИКИ. Капля — потому что это не моя специальность, потому что жил в Мексике мало, а писать об этом надо много.

Политическая жизнь Мексики считается экзотической, потому что отдельные факты ее на первый взгляд неожиданны, а проявления необычны.

Чехарда президентов, решающий голос культа, никогда не затухающие революции, сказочное взяточничество, героизм восстаний, распродажа правительств — все это есть в Мексике, и всего вдоволь.

Прежде всего о слове «революционер». В мексиканском понятии это не только тот, кто, понимая или угадывая грядущие века, дерется за них и ведет к ним человечество,— мексиканский революционер — это каждый, кто с оружием в руках свергает власть — какую, безразлично.

А так как в Мексике каждый или свергнул, или свергает, или хочет свергнуть власть, то все революционеры.

Поэтому это слово в Мексике ничего не значит, и, прочтя его в газете в применении к южноамериканской жизни, надо спрашивать дальше и глубже. Я видел много мексиканских революционеров, от молодых энтузиастов-комсомольцев, до времени прячущих культ, ждущих, чтобы и Мексика пошла по нашему октябрьскому пути, от этих и до 65-летних стариков, копящих миллионы для подкупа к выступлению, за которым самому мерещится президентский пост.

Всего в Мексике около 200 партий — с музейными партийными курьезами вроде «партии революционного воспитания» Рафаэля Майена, имеющей и идеологию, и программу, и комитет, но состоящей всего из него одного, или вроде прогоревших лидеров, предлагающих городскому управлению вымостить за свой счет целую улицу, только чтоб хотя б один переулок был назван их именем.

Для рабочего зрения интересна «лабористская» партия. Это мирная «рабочая партия», по духу близкая североамериканскому Гомперсу, лучший показатель того, как дегенерируют реформистские партии, заменивши революционную борьбу торговлей из-за министерских портфелей, благородными речами с трибуны и торгово-политическими махинациями в кулуарах.

Интересна фигура деятеля этой партии, министра труда Моронеса, которого все журналы рисуют не иначе как с горящими бриллиантами во всех грудях и манжетах.

К сожалению, я не могу дать достаточного очерка жизни коммунистов Мексики.

Я жил в Мехико-сити, центре официальной политики,— рабочая же жизнь концентрировалась севернее в нефтяном центре Тампико, на рудниках штата Мексико, среди крестьян штата Вера-Круц. Могу только вспомнить несколько встреч с товарищами.

Товарищ Гальван, представитель Мексики в Крестинтерне, организовал в Вера-Круц первую сельскохозяйственную коммуну с новыми тракторами и с попытками нового быта. Он как настоящий энтузиаст рассказывает о своей работе, раздает фотографии и даже читает стихи о коммуне.

Товарищ Карйо, еще совсем молодой, но один из лучших теоретиков коммунизма — и секретарь, и казначей, и редактор, и все что угодно в одно и то же время.

Герреро — индеец. Коммунист-художник. Прекрасный политический карикатурист, владеющий и карандашом и лассо.

Товарищ Морено. Депутат от штата Вера-Круц.

Морено вписал в мою книжку, прослушав «Левый марш» (к страшному сожалению, эти листки пропали «по независящим обстоятельствам» на американской границе):

«Передайте русским рабочим и крестьянам, что пока мы еще только слушаем ваш марш, но будет день, когда за вашим маузером загремит и наше «33» (калибр кольта).

Кольт загремел, но, к сожалению, не мореновский, а в Морено.

Уже находясь в Нью-Йорке, я прочел в газете, что товарищ Морено убит правительственными убийцами.

Компартия Мексики мала; на полтора миллиона пролетариев — около двух тысяч коммунистов, но из этого числа только товарищей триста активных работников.

Но влияние коммунистов растет и распространяется далеко за пределы партии — коммунистический орган «Эль мачете» имеет пятитысячный фактический тираж.

Еще одни факт. Товарищ Моисон уже в федеральном сенате стал коммуннстом, будучи послан в сенат лабористами штата Сан-Лунс Потосй. Его дважды вызывала его бывшая партия для отчета — он не показывался, занятый делами компартии. Тем не менее, его не могут лишить полномочий благодаря его огромной популярности в рабочей массе.

Эксцентричность политики Мексики, ее необычность на первый взгляд — объясняется тем, что корни ее надо искать не только в экономике Мексики, но и в расчетах и вожделениях Соединенных Штатов, и главным образом в них. Есть президенты, которые президентствовали чуть не час, так что когда являлись интервьюеры, президент был уже свергнут и отвечал с раздражением: «Разве вы не знаете, что я был выбран всего на полтора часа».

Такая быстрая смена объясняется отнюдь не живым темпераментом испанцев, а тем, что такого президента выбирают по соглашению со Штатами для спешного и покорного проведения какого-нибудь закона, защищающего американские интересы. С 1824 года (выбор первого президента Мексики, генерала Гвадалупе) за 30 лет сменилось 37 президентов и 5 раз радикально менялась конституция. Прикиньте еще, что из этих тридцати семи тридцать были генералами, а значит, каждое новое вступление сопровождалось оружием, и вам станет немного ясней вулканическая картина Мексики.

В соответствии с этим и приемы борьбы мексиканские.

Перед голосованием, предвидя у противника большинство голосов, лихие делегаты крадут обладателей лишних голосов противной партии и держат до принятия резолюций.

Это не система, но бывает. Генерал вызывает в гости другого, и за кофе — сентиментальный, как и все испанцы,— уже сжимая револьверную рукоять, со слезами уговаривает коллегу:

— Пей, пей, это последняя чашка кофе в твоей жизни.

Конец одного из генералов ясен.

Только в Мексике могут быть такие истории, как история генерала Бланча, позднее рассказанная мне уже в американском Ларедо. Бланча брал города в компании

десяти товарищей, сгоняя с гор тысячный табун лошадей. Населеиие города разбегалось и сдавалось, воображая тысячиый отряд, справедливо думая, что лошадям одним незачем брать город. Но лошадн брали потому, что их гнал Бланча. Бланча был неуловим, то дружа с американцамн против мекснканцев, то с мексиканцамн против американцев.

Его поймали иа женщине. Подосланная красавица выманила его на мексиканскую сторону н в трактире всыпала ему и его товарнщу какую-то сонную дряиь. Его сковали вместе с товарищем и бросили скованиых в реку, делящую два Ларедо, стреляя нз кольтов с лодок.

Очиувшнйся от холода, силач-великан Бланча сумел порвать наручинки, но его тянул прнкованный товарищ.

Их тела вытащили только через несколько дней.

Много ндей взлетает искрами от этнх сшнбающнхся людей, отрядов, партнй.

Но одиа идея объедняет всех, это — жажда освобожденія, ненависть к поработнтелям, к жестоким «гринго», сделавшим нз Мексикн колонию, отрезавшим половину территорин (так что есть города, половина которых мекснканская, вторая — американская),— к амернканцам, стотридцатимиллнонной тушей придавившим двенадцатимиллиониый иарод.

«Гачупин» и «гринго» — два высших ругательства в Мексике.

«Гачупин» — это испанец. За 500 лет со времени вторжения Кортеса это слово потухло, тлеет, потеряло остроту.

Но «грннго» н сейчас звеннт как пощечнна (когда врывались в Мексику американские войска, онн пели:

Грии-гоу
ди рошес ов...

старая солдатская песня, н по первым словам сократилось ругательство).

Случай:

мекснкаиец на костылях. Идет с женщиной. Жеищниа — англичанка. Встречный. Смотрнт на аигличанку и орет:

— Грнигоу!

Мексиканец оставил костыль н вынул кольт.

— Возьми обратно свои слова, собака, или я просверлю тебя на месте.

Полчаса извинений, дабы сгладить страшное незаслуженное оскорбление. Конечно, в этой ненависти к гринго не совсем правильное отождествление понятий — «каждый американец» и «эксплуататор». Неправильное и вредное понимание «нации» так часто парализовало борьбу мексиканцев.

Мексиканские коммунисты знают, что:

500 мексиканских нищих племен,
а сытый,
с одним языком,
одной рукой выжимает в лимон,
одним запирает замком.

Все больше понимают трудящиеся Мексики, что только товарищи Морена знают, куда направить национальную неизависть, на какой другой вид ненависти перевесть ее.

Нельзя
борьбе
в племена рассекаться.
Нищий с нищими
рядом,
Несись
по земле
из страны мексиканцев
родящий крик
«Камарада»!

Все больше понимают трудящиеся (первомайская демонстрация — доказательство), что́ делать, чтобы свергнутые американские эксплуататоры не замелились отечественными.

Скинь
с горба
толстопузых обузу,
ацтек,
креол
и метис.
Скорее
над мексиканским арбузом,
багровое знамя, взметись.

«Арбузом» называется мексиканское знамя. Есть предание: отряд повстанцев, пожирая арбуз, думал о национальных цветах.

Необходимость быстрой переброски не дала долго задумываться.

— Сделаем знамя — арбуз,— решил выступающий отряд.

И пошло: зеленое, белое, красное — корка, прослойка, сердцевина.

Я уезжал из Мексики с неохотой. Все то, что я описал, делается чрезвычайно гостеприимными, чрезвычайно приятными и любезными людьми.

Даже семилетний Хесус, бегающий за папиросами, на вопрос об имени неизменно отвечал:

— Хесус Пупито, ваш покорный слуга.

Мексиканец, давая свой адрес, никогда не скажет: «Вот мой адрес». Мексиканец оповещает:

«Вы теперь знаете, где ваш дом».

Предлагая сесть в авто, говорит:

«Прошу вас сесть в свой автомобиль».

А письма, даже не к близкой женщине, подписываются:

«Целую следы ваших ног».

Похвалить вещь в чужом доме нельзя — ее заворачивают вам в бумажку.

Дух необычности и радушие привязали меня к Мексике.

Я хочу еще быть в Мексике, пройти с товарищем Хайкисом еще Мореном намеченную для нас дорогу: из Мехико-сити в Вера-Круц, оттуда два дня на юг поездом, день на лошадях — и в непроезженный тропический лес с попугаями без счастья и с обезьянами без жилетов.

НЬЮ-ЙОРК

НЬЮ-ЙОРК.— Москва. Это в Польше? — спросили меня в американском консульстве Мексики.

— Нет,— отвечал я,— это в СССР.

Никакого впечатления.

Визу дали.

Позднее я узнал, что если американец заостривает только кончики, так он знает это дело лучше всех на свете, но он может никогда ничего не слыхать про игольи ушки. Игольи ушки — не его специальность, и он не обязан их знать.

Ларедо — граница С.А.С.Ш.

Я долго объясияю иа ломаиейшем (просто осколкн) полуфраицузском, полуаиглийском языке цели и права своего въезда.

Американец слушает, молчит, обдумывает, ие понимает и, накоиец, обращается по-русскн:

— Ты — жнд?

Я опешнл.

В дальиейший разговор американец ие вступил за иеимением других слов.

Помучился н миут через десять выпалил:

— Великороссь?

— Великоросс, велнкоросс,— обрадовался я, устаиовив в амернкаице отсутствие погромиых иастроеиий. Голый аикетиый иитерес. Американец подумал и изрек еще через десять миут:

— На комиссню.

Одии джеитльмеи, бывший до сего момеита штатским пассажиром, иадел формеииую фуражку и оказался иммиграциоииым полицейскнм.

Полицейский всуиул меия и вещи в автомобиль. Мы подъехали, мы вошли в дом, в котором под звездиым зиамеием сидел человек без пиджака и жилета.

За человеком были другне комиаты с решетками. В одиой поместили меия и вещн.

Я попробовал выйти, меия предупредительиыми лапками загиали обратно.

Невдалеке засвистывал мой иью-йоркский поезд. Сижу четыре часа.

Пришли и справнлись, иа каком языке буду нзъясияться.

Из застеичивости (иеловко ие зиать нн одиого языка) я иазвал фраицузский.

Меия ввели в комиату.

Четыре грозиых дяди и фраицуз-переводчик.

Мие ведомы простые фраицузские разговоры о чае и булках, но из фразы, сказаииой мие фраицузом, я не понял ии черта и только судорожио ухватился за последиее слово, стараясь виикиуть иитуитивио в скрытый смысл.

Пока я виикал, фраицуз догадался, что я иичего не поиимаю, амер'каицы замахали руками и увели меия обратио.

Сидя еще два часа, я нашел в словаре последнее слово француза.

Оно оказалось:

— Клятва.

Клясться по-французски я не умел и поэтому ждал, пока найдут русского.

Через два часа пришел француз и возбуждению утешал меня:

— Русского нашли. Бои гарсон.

Те же дяди. Переводчик — худощавый флегматичный еврей, владелец мебельного магазина.

— Мне надо клясться,— робко заикнулся я, чтобы начать разговор.

Переводчик равнодушно махнул рукой:

— Вы же скажете правду, если не хотите врать, а если же вы захотите врать, так вы же все равно не скажете правду.

Взгляд резонный.

Я начал отвечать на сотни анкетных вопросов: девичья фамилия матери, происхождение дедушки, адрес гимназии и т. п. Совершенно позабытые вещи!

Переводчик оказался влиятельным человеком, а, дорвавшись до русского языка, я, разумеется, поравнялся переводчику.

Короче: меня впустили в страну на 6 месяцев как туриста под залог в 500 долларов.

Уже через полчаса вся русская колония сбежалась смотреть меня, вперебой поражая гостеприимством.

Владелец маленькой сапожной, усадив на низкий стул для примерок, демонстрировал фасоны башмаков, таскал студеную воду и радовался:

— Первый русский за три года! Три года назад поп заезжал с дочерьми, сначала ругался, а потом (я ему двух дочек в шантан танцевать устроил) говорит: «Хотя ты и жид, а человек симпатичный, значит в тебе совесть есть, раз ты батюшку устроил».

Меня перехватил бельевщик, продал две рубашки по два доллара по себестоимости (один доллар — рубашка, один — дружба), потом, растроганный, повел через весь городок к себе домой и заставил пить теплое виски из единственного стакана для полоскания зубов — пятнистого и разящего содолью.

Первое знакомство с американским сухим противопитейным законом — «прогибишен». Потом я вернулся в мебельный магазин переводчика. Его брат отстегнул веревочку с ценой на самом лучшем зеленом плюшевом диване магазина, сам сел напротив на другом, кожаном с ярлыком: 99 долларов 95 центов (торговая уловка — чтобы не было «сто»).

В это время вошла четверка грустных евреев: две девушки и двое юношей.

— Испанцы,— укоризненно рекомендует брат.— Из Виннницы и из Одессы. Два года сидели на Кубе в ожидании виз. Наконец, доверились аргентинцу — за 250 долларов взявшемуся перевезти.

Аргентинец был солиден и по паспорту имел четырех путешествующих детей. Аргентинцам не нужна виза. Аргентинец перевез в Соединенные Штаты четыреста или шестьсот детей — и вот попался на шестьсот четвертых.

Испанец сидит твердо, за него уже неизвестные сто тысяч долларов в банк кладут — значит крупный.

А этих брат на поруки взял, только зря — досудят и все равно вышлют.

Это еще крупный промышленник — честный. А тут и мелких много, по сто долларов берутся из мексиканского Ларедо в американский переправить. Возьмут сто, до середины довезут, а потом топят.

Многие прямо на тот свет эмигрировали.

Это — последний мексиканский рассказ.

Рассказ брата о брате, мебельщике, первый — американский. Брат жил в Кишиневе. Когда ему стало 14 лет, он узнал понаслышке, что самые красивые женщины — в Испании. Брат бежал в этот же вечер, потому что женщины были ему нужны самые красивые. Но до Мадрида он добрался только в 17 лет. В Мадриде красивых женщин оказалось не больше, чем в каждом другом месте, но они смотрели на брата даже меньше, чем аптекарши в Кишиневе. Брат обиделся и справедливо решил, что для обращения сияния испанских глаз в его сторону ему нужны деньги. Брат поехал в Америку еще с двумя бродягами, но зато с одной парой башмаков на всех троих. Он сел на пароход, не на тот, на который нужно, а на который сесть удалось. По прибы-

тии Америка иеожидаиио оказалась Аиглией, и брат по ошибке засел в Лоидоие. В Лоидоне трое босых собирали окурки, трое голодиых делали из окурочиого табаку новые папиросы, а потом одии (каждый по очереди), облекшись в башмаки, торговал по иабережиой. Через несколько месяцев табачиая торговля расширилась за пределы окурковых папирос, горизоит расширился до поиимания местоиахождеиия Америки и благополучие — до собствеииых башмаков и до билета третьего класса в какую-то Бразилию. По дороге иа пароходе выиграл в карты иекоторую сумму. В Бразилии торговлей и игрой ои раздул эту сумму до тысяч долларов.

Тогда, взяв все имевшееся, брат отправился на скачки, пустив деньгу в тотализатор. Нерадивая кобыла поплелась в хвосте, мало беспокоясь об обиищавшем в 37 секунд брате. Через год брат, перемахиув в Аргеитину, купил велосипед, навсегда презрев живую иатуру.

Насобачившись иа велосипеде, иеугомоиный кишиневец ввязался в велосипедиые гоики.

Чтобы быть первым, пришлось сделать малеиькую вылазку иа тротуар,— мииута была выиграна, зато случайио зазевавшаяся старуха свергиута гоищиком в каиаву.

В результате весь крупиый первый приз пришлось отдать помятой бабушке.

Брат с горя ушел в Мексику и разгадал иехитрый закои колоииальиой торговли,— иадбавка 300: 100% — на иаивиость, 100% — иа расходы и 100% — спертое при рассрочке платежа.

Сбив опять иекоторую толику — перешли иа американскую, всякой иаживе покровительствующую стороиу.

Здесь брат ие погрязает ии в какое дело, ои покупает мыловареиный завод за 6 и перепродает за 9 тысяч. Ои берет магазии и передает его, за месяц учуяв крах. Сейчас ои — уважаемейшее лицо города: ои — председатель десятков благотворительиых обществ, ои, когда приезжала Павлова, за одии ужии заплатил триста долларов.

— Вот ои,— показал восхищеиный рассказчик на улицу. Брат носился в иовом авто, так и так пробуя его; ои продавал свою машиу за семь и бросался на эту в двеиадцать.

На тротуаре подобострастно стоял человек, улыбался, чтобы видели золотые коронки, и, не останавливая глаз, стрелял ими за машиной.

— Это — молодой галантерейщик,— объяснили мне.— Он с братом здесь всего четыре года, а уже два раза в Чикаго за товаром ездил. А брат — ерунда, какой-то греческий, все поэзию пишет, его в соседний город учителем определили, все равно толку не будет.

В радости русскому, с фантастическим радушием водил меня мой новый знакомец по улицам Ларедо.

Он забегал передо мной, открывая двери, кормил меня длиннейшим обедом, страдал при едином намеке на оплату с моей стороны, вел меня в кино, смотря только на меня и радуясь, если я смеюсь,— все это без малейшего представления обо мне, только за одно слово—москвич.

Мы шли на вокзал по темным пустеньким улицам — по ним, как всегда в провинции, разыгралась свободная административная фантазия. В асфальте (чего я никогда не видел даже в Нью-Йорке) белые полосы точно указывали место перехода граждан, огромные белые стрелки давали направление несуществующим толпам и автомобилям, и за неуместный переход по пустеющим улицам взимался чуть не пятидесятирублевый штраф. На вокзале я понял все могущество мебельного брата. От Ларедо до Сан-Антонио всю ночь будят пассажиров, проверяют паспорта в погоне за безвизными перебежчиками. Но я был показан комиссару, и я безмятежно проспал первую американскую ночь, внушая уважение пульмановским вагонным неграм.

Утром откатывалась Америка, засвистывал экспресс, не останавливаясь, вбирая хоботом воду на лету. Кругом вылизанные дороги, изумрудные фордами, какие-то строения технической фантастики. На остановках виднелись техасские ковбойские дома с мелкой сеткой от комаров и москитов в окнах, с диванами-гамаками на огромных террасах. Каменные станции, перерезанные ровно пополам: половина для нас, белых, половина — для черных, «фор нигрос», с собственными деревянными стульями, собственной кассой — и упаси вас даже случайно залезть на чужую сторону!

Поезда бросались дальше. С правого боку взвивался аэро, перелетал на левую, вздымался опять, перемахнув через поезд, и несся опять по правой.

Это — сторожевые пограиичные американские аэропланы.

Впрочем, почти единственно видеиные миой в Соединенных Штатах.

Следующие я видел только в трехдиевиых аэрогонках в ночной рекламе над Нью-Йорком.

Как ни странно, авиация развита здесь сравнительио мало.

Могущественные железнодорожные компаиии даже каждую воздушную катастрофу смакуют и используют для агитации против полетов.

Так было с разорванным пополам (уже в мою бытиость в Нью-Йорке) воздушиым кораблем Шеиандоу, когда трииадцать человек спаслись, а семнадцать вслизились в землю вместе с окрошкой оболочки и стальиых тросов.

И вот в Соединенных Штатах почти нет пассажирских полетов.

Может, только сейчас мы иакануне летающей Америки. Форд выпустил первый свой аэроплан и поставил его в Нью-Йорке в универсальном магазине Ванамекер,— там, где много лет назад был выставлен первый авто-фордик.

Ньюйоркцы влазят в кабину, дергают хвост, гладят крылья,— но цена в 25 000 долларов еще заставляет отступать широкого потребителя. А пока что аэропланы взлетали до Саи-Аитонио, потом пошли настоящие американские города. Мелькнула американская Волга — Мнссисипи, огорошил вокзал в Сан-Луисе, и иовью в просветах двадцатиэтажных небоскребов Филадельфии уже сияло настоящее диевиое рекламное иежалеемое, неэкоиомимое электричество.

Это был разбег, чтобы мне не удивляться Нью-Йорку. Больше, чем вывороченная природа Мексики поражает растениями и людьми, ошарашивает вас выплывающий из океана Нью-Йорк своей иавороченной стройкой и техникой. Я въезжал в Нью-Йорк с суши, ткнулся лицом только в один вокзал, ио хотя и был приучаем трехдпевиым проездом по Техасу — глаза все-таки растопырил.

Много часов поезд летит по Гудзонову берегу шагах в двух от воды. По той стороие — другие дороги у са-

мого подножья Медвежьих гор. Гуще прут пароходы и пароходики. Чаще через поезд перепрыгивают мосты. Непрерывней прикрывают вагонные окна встающие стены — пароходных доков, угольных станций, электрических устаиовок, сталелитейных и меднкамеитных заводов. За час до станции въезжаешь в непрерывную гущу труб, крыш, двухэтажных стеи, стальных ферм воздушиой железной дороги. С каждым шагом иа крышн нарастает по этажу. Накоиец дома подымаются колодезиыми стеикамн с квадратамн, квадратнками и точками окон. Сколько ни задирай головы — нет верхов. От этого становится еще теснее, как будто щекой трешься об этот камень. Растерянный, опускаешься иа скамейку — иет надежд, глаза не привыкли видеть такое; тогда остановка — Пенсильвания-стэйшен.

На платформе — никого, кроме иегров-носильщиков. Лифты и лестницы вверх. Вверху — несколько ярусов галерей, балконов с машущими платками встречающей и провожающей массы.

Амернкаицы молчат (нли, может быть, люди только кажутся такими в машнином грохоте), а над амернканцамн гудят рупоры и радно о прибытнях и отправлениях.

Электричество еще двонтся и тронтся белыми плнткамн, выстилающими безокоиные галереи и переходы, прерывающиеся справочнымн бюро, целымн торговыми рядамн касс и никогда ие закрывающимися всеми магазинами — от мороженных и закусочных до посудных и мебельиых.

Едва ли кто-нибудь представляет себе ясно целиком весь этот лабиринт. Если вы прнехали по делу в коитору, находящуюся версты за три в Дантауне — в банковском, деловом Нью-Йорке, в каком-нибудь пятьдесят третьем этаже Вульворт Бильднинг и у вас совиный характер — вам незачем вылазить из-под земли. Здесь же, под землей, вы садитесь в вокзальный лифт, и он взвивает вас в вестибюль Пенсильвания-отель, гостинницы с двумя тысячами всевозможных номеров.

Все, что иужио торгующему гражданину: почты, банки, телеграфы, любые товары — все иайдешь здесь, не выходя за пределы отеля.

Здесь же сидят какие-то смышленые маменьки с недвусмысленнымн дочерьмн.

Иди танцуй.

Шум и табачный чад, как в долгождаином антракте громадиого театра после длинной скучной пьесы.

Тот же лифт опустит вас к подземке (собвей), берите экспресс, который рвет версты почище поезда. Слезаете вы в нужном вам доме. Лифт завинчивает вас в нужный этаж без всяких выходов на улицу. Та же дорога вывертит вас обратно на вокзал, под потолок-иебо пенсильванского вокзала, под голубое небо, по которому уже горят Медведицы, Козерог и прочая астрономия. И сдержанный амерпканец может ехать в ежеминутных поездах к себе на дачную качалку-диван, даже не взглянув на гоморный и содомный Нью-Йорк.

Еще поразительнее возвышающийся несколькими кварталами вокзал Гранд-Централ.

Поезд несется по воздуху на высоте трех-четырех этажей. Дымящий паровоз сменен чистеньким, не плюющимся электровозом,— и поезд бросается под землю. С четверть часа под вами еще мелькают увитые зелеиью решетки просветов аристократической тихой Парк-Авеню. Потом и это кончается, и полчаса длится подземный город с тысячами сводов и черных тоннелей, заштрихованных блестящими рельсами, долго бьется и висит каждый рев, стук и свист. Белые блестящие рельсы становятся то желтыми, то красными, то зелеными от меняющихся семафоров. По всем направлениям — задушенная сводами, кажущаяся путаница поездов. Говорят, что наши эмигранты, приехавшие из тихой русской Канады, сначала недоумевающе вперяются в окио, а потом начинают реветь и голосить:

— Пропали, братцы, живьем в могилу загнали, куда ж отсюда выберешься?

Прнехали.

Над ними ярусы станционных помещений, под залами — этажи служб, вокруг — необозримое железо дорог, а под ними еще подземное трехэтажие собвея.

В одном из фельетонов «Правды» товарищ Поморский скептически высмеял вокзалы Нью-Йорка и поставил им в пример берлинские загоны — Цоо и Фридрихштрассе.

Не знаю, какие личные счеты у товарища Поморского с нью-йоркскими вокзалами, не знаю и технических

деталей, удобства и пропускных способностей, но внешне — пейзажно, по урбанистическому ощущению, нью-йоркские вокзалы — одни из самых гордых видов мира.

Я ЛЮБЛЮ НЬЮ-ЙОРК в осенние деловые дни, в будни.

6 утра. Гроза и дождь. Темно и будет темно до полудня.

Одеваешься при электричестве, на улицах — электричество, дома в электричестве, ровно прорезанные окнами, как рекламный плакатный трафарет. Непомерная длина домов и цветные мигающие регуляторы, движения двоятся, троятся и десятерятся асфальтом, до зеркала вылизанным дождем. В узких ущельях домов в трубе гудит какой-то авантюристичный ветер, срывает, громыхает вывесками, пытается свалить с ног и убегает безнаказанный, никем не задержанный, сквозь версты десятка авеню, прорезывающих Манхеттен (остров Нью-Йорка) вдоль — от океана к Гудзону. С боков подвывают грозе бесчисленные голосенки узеньких стритов, также по линеечному ровно режущих Манхеттен поперек от воды к воде. Под навесами,— а в бездождный день просто на тротуарах,— валяются кипы свежих газет, развезенные грузовиками заранее и раскиданные здесь газетчиками.

По маленьким кафе холостые пускают в ход машины тел, запихивают в рот первое топливо — торопливый стакан паршивого кофе и заварной бублик, который тут же в сотнях экземпляров кидает бубликоделательная машина в кипящий и плюющийся котел сала.

Внизу сплошной человечиной течет, сначала до зари — черно-лиловая масса негров, выполняющих самые трудные, мрачные работы. Позже, к семи — непрерывно белые. Они идут в одном направлении сотнями тысяч к местам своих работ. Только желтые промозглые дождевики бесчисленными самоварами шумят и горят в электричестве, намокшие, и не могут потухнуть даже под этим дождем.

Автомобилей, такси еще почти нет.

Толпа течет, заливая дыры подземок, выпирая в крытые ходы воздушных железных дорог, несясь по воздуху двумя по высоте и тремя параллельными воз-

душнымн курьерскнмн, почтн безостановочнымн, н местнымн, через каждые пять кварталов останавливающнмнся поездами.

Этн пять параллельных лнннй по пятн авеню несутся на трехэтажной высоте, а к 120-й улнце вскарабкнваются до восьмого н девятого,— н тогда новых, едущнх прямо с площадей н улиц вздымают лнфты. Никакнх билетов. Опустил в высокую, тумбой, копнлку-кассу 5 центов, которые тут же увелнчивает лупа и показывает сидящему в будке меняле, во нзбежанне фальшн.

5 центов — и езжай на любое расстоянне, но в одном направленнн.

Фермы н перекрытня воздушных дорог часто ложатся сплошным навесом во всю длнну улицы, н вам не видно ни неба, нн боковых домов,— только грохот поездов по голове да грохот грузовозов перед носом,— грохот, в котором действнтельно не разберешь ни слова н, чтобы не разучнться шевелить губамн, остается безмолвно жевать амернканскую жвачку, чуннгам.

Утром н в грозу лучше всего в Нью-Йорке — тогда нет ни одного зеваки, нн одного лишнего. Только работники велнкой армнн труда десятнмнллнонного города.

Рабочая масса располэается по фабрнкам мужскнх н дамскнх платьев, по новым роющнмся тоннелям подземок, по бесчнсленностн портовых работ — и к 8 часам улнцы заполняются бесчисленностью более чнстых н холеных, с подавляющей прнмесью стрнженых, голоколенных, с закрученнымн чулкамн сухопарых девнц — работниц контор и канцелярий и магазинов. Их раскндывают по всем этажам небоскребов Дантауна, по бокам корндоров, в которые ведет парадный ход десятков лнфтов.

Десяткн лифтов местного сообщення с остановкой в каждом этаже н десяткн курьерскнх — без остановок до семнадцатого, до двадцатого, до трндцатого. Своеобразные часы указывают вам этаж, на котором сейчас лнфт,— лампы, отмечающие красным н белым спуск н подъем.

И еслн у вас два дела — одно в седьмом, другое — в двадцать четвертом этаже,— вы берете местный (локал) до седьмого, н дальше, чтобы не терять целых шестн мннут — пересядьте в экспресс.

До часу стрекочут машнны, потеют людн без пнджаков, растут в бумагах столбцы цнфр.

Если вам нужна контора, незачем ломать голову над ее устройством.

Вы звоните в какое-нибудь тридцатиэтажие:

— Алло! Приготовить к завтраму контору в 6 комнат. Посадить двенадцать машинисток. Вывеска — «Великая и знаменитая торговля сжатым воздухом для тихоокеанских подводных лодок». Два боя в коричневых гусарках — шапки со звездными лентами, и двенадцать тысяч бланков, вышеупомянутого назваиия.

— Гуд бай.

Завтра вы можете идти в свою контору, и ваши телефонные мальчики будут вас восторженно приветствовать:

— Гау-ду-ю-ду, мистер Маяковский.

В час перерыв: на час для служащих и минут на пятнадцать для рабочих.

Завтрак.

Каждый завтракает в зависимости от недельной зарплаты. Пятнадцатидолларовые — покупают сухой завтрак в пакете за никель и грызут его со всем молодым усердием.

Тридцатипятидолларовые идут в огромный механический трактир, всунув 5 центов, нажимают кнопку, и в чашку выплескивается ровно отмеренный кофе, а еще два-три никеля открывают на огромных, уставленных едой полках одну из стеклянных дверок сандвичей.

Шестидесятидолларовые — едят серые блины с патокой и яичницу по бесчисленным белым, как ванная, Чайльдсам — кафе Рокфеллера.

Стодолларовые и выше идут по ресторанам всех национальностей — китайским, русским, ассирийским, французским, индусским — по всем, кроме американских безвкусных, обеспечивающих катары консервированным мясом Армора, лежащим чуть не с войны за освобождение.

Стодолларовые едят медленно — они могут и опоздать на работу,— и после ухода их под столом валяются пузырьки от восьмидесятиградусного виски (это прихваченный для компании); другой стеклянный или серебряный пузырек, плоский и формой облегающий ляжку, лежит в заднем кармане оружием любви и дружбы наравне с мексиканским кольтом.

Как ест рабочий?

Плохо ест рабочий.

Многих не видел, но те, кого видел, даже хорошо зарабатывающие, в пятнадцатимиутный перерыв успевают сглодать у стаика или перед заводской стеной на улице свой сухой завтрак.

Кодекс законов о труде с обязательным помещением для еды пока на Соединенные Штаты не распространился.

Напрасно вы будете искать по Нью-Йорку карикатурной, литературой прославленной организованности, методичности, быстроты, хладиокровия.

Вы увидите массу людей, слоняющихся по улице без дела. Каждый остановится и будет говорить с вами на любую тему. Если вы подымете глаза к небу и постоите минуту, вас окружит толпа, с трудом усовещеваемая полицейским. Способность развлекаться чем-нибудь иным, кроме биржи, сильно мирит меня с нью-йоркской толпой.

Снова работа до пяти, шести, семи вечера.

От пяти до семи самое бушующее, самое непроходимое время.

Окоичившие труд еще разбавлены покупщиками, покупщицами и просто фланерами.

На людиейшей 5-й авеию, делящей город пополам, с высоты второго этажа сотней катящихся автобусов вы видите политые прошедшим дождем и теперь сияющие лаком десятки тысяч в шесть — восемь рядов рвущихся в обе стороиы автомобилей.

Каждые две миуты тушатся зелеиые огни иа бесчисленных уличиых полицейских маяках и загораются красиые.

Тогда машинный и человечий поток застывает на две миуты, чтобы пропустить рвущихся с боковых стритов.

Через две минуты опять иа маяках загорается зелеиый огонь, а дорогу боковым преграждает красный огоиь на углах стритов.

Пятьдесят минут надо в этот час потратить на поездку, которая утром отияла бы четверть часа, и по две минуты иадо простаивать пешеходу без всякой надежды пересечь немедля улицу.

Когда вы запаздываете перебежать и видите срывающуюся с цепи отстоявшую две минуты машинную лавину, вы, забыв про убеждения, скрываетесь под полицейское крыло,— крыло, так сказать: на самом деле это —

хорошая рука одного из самых высоких людей Нью-Йорка с очень увесистой палкой — клобом.

Эта палка не всегда регулирует чужое движение. Иногда она (во время демонстрации, например) — способ вашей остановки. Добрый удар по затылку, и вам все равно: Нью-Йорк ли это или царский Белосток,— так рассказывали мне товарищи.

С шести-семи загорается Бродвей — моя любимейшая улица, которая в ровных, как тюремная решетка, стритах и авеию одна своенравно и нахально прет наискось. Запутаться в Нью-Йорке трудней, чем в Туле. На север с юга идут авеню, на запад с востока — стриты. 5-я авеню делит город пополам на Вест и Ист. Вот и все. Я на 8-й улице, угол 5-й авеню, мне нужна 53-я, угол 2-й, значит пройди 45 кварталов и сверни направо, до угла 2-й.

Загорается, конечно, не весь тридцативерстный Бродвеище (здесь не скажешь: заходите, мы соседи, оба на Бродвее), а часть от 25-й до 50-й улицы, особенно Таймс-сквер,— это, как говорят американцы, Грэт-Уайт-Уэй — великий белый путь.

Он действительно белый, и ощущение действительно такое, что на нем светлей, чем днем, так как день весь светел, а этот путь светел, как день, да еще на фоне черной ночи. Свет фонарей для света, свет бегающих лампочками реклам, свет зарев витрин и окон никогда не закрывающихся магазинов, свет ламп, освещающих огромные малеваные плакаты, свет, вырывающийся из открывающихся дверей кино и театров, несущийся свет авто и элевейтеров, мелькающий под ногами в стеклянных окнах тротуаров свет подземных поездов, свет рекламных надписей в небе.

Свет, свет и свет.

Можно читать газету, и притом у соседа, и на иностранном языке.

Светло и в ресторанах и в театральном центре.

Чисто на главных улицах и в местах, где живут хозяева или готовящиеся к этому.

Там, куда развозят большинство рабочих и служащих, в бедных еврейских, негритянских, итальянских кварталах — на 2-й, на 3-й авеню, между первой и тридцатой улицами — грязь почище минской. В Минске очень грязно.

Стоят ящики со всевозможными отбросами, из которых нищие выбирают не совсем объеденные кости и куски. Стынут воющие лужи и сегодняшнего и позавчерашнего дождя.

Бумага и гниль валяются по щиколку — не образно по щиколку, а по-настоящему, всамделишно.

Это в 15 минутах ходу, в 5 минутах езды от блестящей 5-й авеню и Бродвея.

Ближе к пристаням еще темней, грязней и опасней.

Днем это интереснейшее место. Здесь что-нибудь обязательно грохочет — или труд, или выстрелы, или крики. Содрогают землю краны, разгружающие пароход, чуть не целый дом за трубу выволакивающие из трюма.

Ходят пикетчики в забастовку, не допуская штрейкбрехеров.

Сегодня, 10 сентября, нью-йоркский юнион моряков порта объявил забастовку в солидарность бастующим морякам Англии, Австралии и Южной Африки, и в первый же день приостановилась выгрузка 30 огромных пароходов.

Третьего дня, несмотря на забастовку, на пароходе «Мажестик», приведенном штрейкбрехерами, приехал богатый адвокат, лидер (здешних меньшевиков) социалистической партии Морис Хилквит, и тысячи коммунистов и членов Ай-добль-добль-ю свистели ему с берега и кидали тухлые яйца.

Еще через несколько дней здесь стреляли в приехавшего на какой-то конгресс генерала — усмирителя Ирландии,— и его выводили задворками.

А утром сюда входят и разгружаются по бесчисленным пристаням бесчисленных компаний «Ля Франс», «Аквитания» и другие гиганты по 50 000 тонн.

Авеню, прилегающие к пристаням, из-за паровозов, въезжающих с товарами прямо на улицу, из-за грабителей, начинающих кабачки,— зовутся здесь «Авеню смерти».

Отсюда поставляются грабители-голдапы на весь Нью-Йорк: в отели вырезывать из-за долларов целые семьи, в собвей — загонять кассиров в угол меняльной будки и отбирать дневную выручку, меняя доллары проходящей, ничего не подозревающей публике.

Если поймают — электрический стул тюрьмы Синг-Синг. Но можно и вывернуться. Идя на грабеж, бандит заходит к своему адвокату и заявляет:

— Позвоните мне, сэр, в таком-то часу туда-то. Если меня не будет, значит надо нести за меня залог и извлекать из узилища.

Залоги большие, но и бандиты не маленькие и организованы неплохо.

Выяснилось, например, что дом, оцененный в двести тысяч долларов, уже служит залогом в два миллиона, уплаченных за разных грабителей.

В газетах писали об одном бандите, вышедшем из тюрьмы под залог 42 раза. Здесь на Авеню смерти орудуют ирландцы. По другим кварталам другие.

Негры, китайцы, немцы, евреи, русские — живут своими районами со своими обычаями и языком, десятилетия сохраняясь в несмешанной чистоте.

В Нью-Йорке, не считая пригородов, 1 700 000 евреев (приблизительно),

1 000 000 итальянцев,

500 000 немцев,

300 000 ирландцев,

300 000 русских,

250 000 негров,

150 000 поляков,

300 000 испанцев, китайцев, финнов.

Загадочная картинка: кто же такие, в сущности говоря, американцы, и сколько их стопроцентных?

Сначала я делал дикие усилия в месяц заговорить по-английски; когда мои усилия начали увенчиваться успехом, то близлежащие (близстоящие, сидящие) и лавочник, и молочник, и прачечник, и даже полицейский — стали говорить со мной по-русски.

Возвращаясь ночью элевейтером, эти нации и кварталы видишь как нарезанные: на 125-й встают негры, на 90-й русские, на 50-й немцы и т. д., почти точно.

В двенадцать выходящие из театров пьют последнюю соду, едят последний айскрим и лезут домой в час или в три, если часа два потрутся в фокстроте или последнем крике «чарлстон». Но жизнь не прекращается,— так же открыты всех родов магазины, так же носятся собвей и элевейтеры, так же можете найти кино,

открытое всю иочь, и спите сколько влезет за ваши 25 цеитов.

Придя домой, если весиой и летом, закройте окиа от комаров и москитов и вымойте уши и иоздри и откашляйте угольиую пыль. Особеиио сейчас, когда четырехмесячиая забастовка 158 000 шахтеров твердого угля лишила город аитрацита и трубы фабрик коптят обычио запрещеииым к употреблеиию в больших городах мягким углем.

Если вы исцарапались, залейтесь иодом: воздух иью-йоркский иачинен всякой дрянью, от которой растут ячмеии, вспухают и гноятся все царапины и которым все-таки живут миллиоиы ничего ие имеющих и ие могущих иикуда выехать.

Я НЕНАВИЖУ НЬЮ-ЙОРК В ВОСКРЕСЕНЬЕ:

часов в 10 в одиом лиловом трико подымает штору иапротив какой-то клерк. Не иадевая, видимо, штаиов, садится к окиу с двухфуитовым иомером в сотию страииц — ие то «Ворлд», ие то «Таймса». Час читается сиачала стихотвориый и красочиый отдел реклам уииверсальиых магазииов (по которому составляется средиее американское миросозерцаиие), после реклам просматриваются отделы краж и убийств.

Потом человек иадевает пиджак и брюки, из-под которых всегда выбивается рубаха. Под подбородком укрепляется раз иавсегда завязанный галстук цвета помеси каиарейки с пожаром и Чериым морем. Одетый американец с час постарается посидеть с хозяином отеля или со швейцаром иа стульях иа иизких приступочках, окружающих дом, или иа скамейках ближайшего лысого скверика.

Разговор идет про то, кто иочью к кому приходил, не слышио ли было, чтобы пили, а если приходили и пили, то ие сообщить ли о иих иа предмет изгоиа и привлечеиия к суду прелюбодеев и пьяииц.

К часу американец идет завтракать туда, где завтракают люди богаче его, и где его дама будет млеть и восторгаться иад пулярдкой в 17 долларов. После этого американец идет в сотый раз в разукрашеииый цветиыми стеклами склеп геиерала и геиеральши Граит или,

скиув сапоги и пиджак, лежать в каком-иибудь скверике иа прочитаиом полотиище «Таймса», оставив после себя обществу и городу обрывки газеты, обертку чуингама и мятую траву.

Кто богаче — уже иагоняет аппетит к обеду, правя своей машиной, презрительно проносясь мимо дешевых и завистливо кося глаза иа более роскошные и дорогие.

Особениую зависть, конечно, вызывают у безродиых американцев те, у кого иа автомобильной дверце бароиская или графская золотая коронка.

Если американец едет с дамой, евшей с ним, ои целует ее немедля и требует, чтобы она целовала его. Без этой «малеиькой благодарности» он будет считать доллары, уплачениые по счету, потраченными зря и больше с этой иеблагодарной дамой никуда и никогда ие поедет,— и саму даму засмеют ее благоразумные и расчетливые подруги.

Если американец автомобилирует одии, ои (писаиая нравствеииость и целомудрие) будет замедлять ход и остаиавливаться перед каждой одииокой хорошеиькой пешеходкой, скалить в улыбке зубы и зазывать в авто диким вращеиием глаз. Дама, ие поиимающая его иервозиости, будет квалифицироваться как дура, ие поиимающая своего счастия, возможиости познакомиться с обладателем стосильиого автомобиля.

Дикая мысль — рассматривать этого джентльмеиа как спортсмена. Чаще всего ои умеет только править (самая мелочь), а в случае поломки — не будет даже знать, как накачать шиу или как поднять домкрат. Еще бы — это сделают за иего бесчислеииые почиючиые мастерские и беизиииые киоски иа всех путях его езды.

Вообще в спортсмеиство Америки я ие верю.

Спортом заиимаются главиым образом богатые бездельиицы.

Правда, президеит Кулидж даже в своей поездке ежечасио получает телеграфиые реляции о ходе бейсбольиых состязаиий между питсбургской комаидой и вашиигтоиской комаидой «сенаторов»; правда, перед вывешеииыми бюллетеиями о ходе футбольиых состязаний иароду больше, чем в другой страие перед картой воеииых действий только что иачавшейся войиы,— ио это ие иитерес спортсмеиов, это — хилый иитерес азарт-

ного игрока, поставившего на пари свои доллары за ту или другую команду.

И если рослы и здоровы футболисты, на которых глядит тысяч семьдесят человек огромного нью-йоркского цирка, то семьдесят тысяч зрителей, это — в большинстве тщедушные и хилые люди, среди которых я кажусь Голиафом.

Такое же впечатление оставляют и американские солдаты, кроме вербовщиков, выхваляющих перед плакатами привольную солдатскую жизнь. Недаром эти холеные молодцы в минувшую войну отказывались влезть во французский товарный вагон (40 человек или 8 лошадей) и требовали мягкий, классный.

Автомобилисты и из пешеходов побогаче и поизыскаинее в 5 часов гонят на светский или полусветский файф-о-клок.

Хозяин запасся бутылками матросского «джина» и лимоиада «Джиннер Эйл», и эта помесь дает американское шампаиское эпохи прогибишеиа.

Приходят девицы с завороченными чулками, стенографистки и модели.

Вошедшие молодые люди и хозяин, влекомые жаждой лирики, но мало разбирающиеся в ее тонкостях, острят так, что покраснеют и пунцовые пасхальные яйца, а потеряв нить разговора, похлопывают даму по ляжке с той непосредствеиностью, с которой, потеряв мысль, докладчик постукивает папиросой о портсигар.

Дамы показывают колеии и мысленно прикидывают, сколько стоит этот человек.

Чтоб файф-о-клок носил целомудренный и артистический характер — играют в покер или рассматривают последние приобретенные хозяином галстуки и подтяжки.

Потом разъезжаются по домам. Переодевшись, направляются обедать.

Люди победнее (не бедные, а победнее) едят получше, богатые — похуже. Победнее едят дома свежекупленную еду, едят при электричестве, точно давая себе отчет в проглачиваемом.

Побогаче — едят в дорогих ресторанах поперченную портящуюся или консервиую заваль, едят в полутьме потому, что любят не электричество, а свечи.

Эти свечи меня смешат.

Все электричество принадлежит буржуазии, а она ест при огарках.

Она неосознанно бонтся своего электричества.

Она смущена волшебником, вызвавшим духов и не умеющим с ними справиться.

Такое же отношение большинства и к остальной техинке.

Создав граммофон и радио, они откидывают его плебсу, говорят с презрением, а сами слушают Рахманинова, чаще не понимают, но делают его почетным гражданином какого-то города и преподносят ему в золотом ларце — канализационных акций на сорок тысяч долларов.

Создав кино, они отшвыривают его демосу, а сами гоятся за оперными абонементами в опере, где жена фабрикаита Мак-Кормик, обладающая достаточным количеством долларов, чтобы делать все, что ей угодно, ревет белугой, раздирая вам уши. А в случае неосмотрительности капельдинеров закидывается гнилым яблоком и тухлым яйцом.

И даже когда человек «света» идет в кино, он бессовестно врет вам, что был в балете или в голом ревю.

Миллиардеры бегут с зашумевшей машинами, громкой толпами 5-й авеню, бегут за город в пока еще тихие дачные углы.

— Не могу же я здесь жить,— капризно сказала мисс Вандербильд, продавая за 6 000 000 долларов свой дворец на углу 5-й авеню и 53-й улицы,— не могу я здесь жить, когда напротив Чайльдс, справа — булочник, а слева — парикмахер.

После обеда состоятельным — театры, концерты и обозрения, где билет первого ряда на голых дам стоит 10 долларов. Дуракам — прогулка в украшенном фонариками автомобиле в китайский квартал, где будут показывать обыкновенные кварталы и дома, в которых пьется обыкновеннейший чай — только не американцами, а китайцами.

Парам победнее — многоместный автобус на «Конни-Айланд» — Остров Увеселений. После долгой езды вы попадаете в сплошные русские (у нас американские) горы, высоченные колеса, вздымающие кабины, тантрические киоски, с танцами и фоном — фотографией острова,

чертовы колеса, раскидывающие ступивших, бассейны для купающихся, катание на осликах — и все это в таком электричестве, до которого не доплюнуть и ярчайшей международной парижской выставке.

В отдельных киосках собраны все отвратительнейшие уроды мира — женщина с бородой, человек-птица, женщина на трех ногах и т. п.— существа, вызывающие неподдельный восторг американцев.

Здесь же постоянно меняющиеся, за грош наимаемые голодные женщины, которых засовывают в ящик, демонстрируя безболезненное прокалывание шпагами; других сажают на стул с рычагами и электрифицируют, пока от их прикосновения к другому не посыплются искры.

Никогда не видел, чтобы такая гадость вызывала бы такую радость.

Кони-Айлаид — приманка американского девичества.

Сколько людей целовалось в первый раз по этим вертящимся лабиринтам и окончательно решало вопрос о свадьбе в часовой обратной поездке собвеем до города!

Таким идиотским карнавалом кажется, должно быть, счастливая жизнь нью-йоркским влюбленным.

Выходя, я решил, что неудобно покинуть луна-парк, не испытав ни одного удовольствия. Мне было все равно, что делать, и я начал меланхолически накидывать кольца на вертящиеся фигурки кукол.

Я предварительно осведомился о цене удовольствия. Восемь колец — 25 центов.

Кинув колец шестнадцать, я благородно протянул доллар, справедливо рассчитывая половину получить обратно.

Торговец забрал доллар и попросил показать ему мою мелочь. Не подозревая ничего недоброго, я вынул из кармана доллара на три центов.

Колечник сгреб мелочь с ладони в карман и на мои возмущенные возгласы ухватил меня за рукав, потребовав предъявления бумажек. В удивлении, я вытащил имеющиеся у меня десять долларов, которые моментально сграбастал ненасытный увеселитель,— и только после мольб моих и моих спутников он выдал мне 50 центов на обратный путь.

Итого, по утвержденню владельца мнлой нгрушкн, я должен был закннуть двестн сорок восемь колец, т. е., счнтая даже по полмнnуты на каждое, проработать больше двух часов.

Нникакая арнфметнка не помогла, а на мою угрозу обратиться к полнцейскому мне было отвечено долго не смолкавшнм грохотом хорошего, здорового смеха.

Полнцейскнй, должно быть, усвонл себе из этой суммы — колец сорок.

Позднее мне объяснилн амернканцы, что продавца надо было бнть правнльным ударом в нос, еще не получнв н требования на второй доллар.

Если вам и тогда не возвращают денег, то все же уважают вас как настоящего амернканца, веселого «аттабоя».

Воскресная жизнь кончается часа в два ночн, н вся трезвая Амернка, довольно пошатываясь, во всяком случае возбужденно идет домой.

ЧЕРТЫ НЬЮ-ЙОРКСКОЙ ЖИЗНИ ТРУДНЫ.

Легко наговорнть нн к чему не обязывающне вещн, нзбитые, об амернканцах вроде: страна долларов, шакалы нмпернализма н т. д.

Это только маленькнй кадр нз огромной американской фнльмы.

Страна долларов — это знает каждый ученнк первой ступенн. Но если прн этом представляется та погоня за долларом спекулянтов, которая была у нас в 1919 году во время падення рубля, которая была в Германнн в 1922 году во время тарахтення маркн, когда тысячннкн н мнллнонеры утром не елн булкн в надежде, что к вечеру она подешевеет, то такое представленне будет совершенно неверным.

Скупые? Нет. Страна, съедающая в год одного мороженого на мнллнон долларов, может прнобрестн себе и другне эпнтеты.

Бог — доллар, доллар — отец, доллар — дух святой.

Но это не грошовое скопндомство людей, только мнрящнхся с необходнмостью иметь деньгн, решнвшнх накопнть суммочку, чтобы после бросnть нажнву н сажать в саду маргарнткн да проводнть электрнческое освещенне в курятннкн любнмых наседок. И до снх пор

ньюйоркцы с удовольствием рассказывают историю 11-го года о ковбое Даймонд Джиме.

Получив наследство в 250 000 долларов, он нанял целый мягкий поезд, уставил его вином и всеми своими друзьями и родственниками, приехал в Нью-Йорк, пошел обходить все кабаки Бродвея, спустил в два дня добрых полмиллиона рублей и уехал к своим мустангам без единого цента, на грязной подножке товарного поезда.

Нет! В отношении американца к доллару есть поэзия. Он знает, что доллар — единственная сила в его стодесятимиллионной буржуазной стране (в других тоже), и я убежден, что, кроме известных всем свойств денег, американец эстетически любуется зеленеиьким цветом доллара, отождествляя его с весной, и бычком в овале, кажущимся ему его портретом крепыша, символом его довольства. А дядя Линкольн на долларе и возможность для каждого демократа пробиться в такие же люди делает доллар лучшей и благороднейшей страницей, которую может прочесть юношество. При встрече американец не скажет вам безразличное:

— Доброе утро.

Он сочувственно крикнет:

— Мек моней? (Делаешь деньги?) — и пройдет дальше.

Американец не скажет расплывчато:

— Вы сегодня плохо (или хорошо) выглядите.

Американец определит точно:

— Вы смотрите сегодня на два цента.

Или:

— Вы выглядите на миллион долларов.

О вас ие скажут мечтательно, чтобы слушатель терялся в догадках,— поэт, художник, философ.

Американец определит точно:

— Этот человек стоит 1 230 000 долларов.

Этим сказано все: кто ваши знакомые, где вас принимают, куда вы уедете летом и т. д.

Путь, каким вы добыли ваши миллионы, безразличен в Америке. Все — «бизнес», дело,— все, что растит доллар. Получил процеиты с разошедшейся поэмы — бизнес, обокрал, не поймали — тоже.

К бизнесу приучают с детских лет. Богатые родители радуются, когда их десятилетний сын, забросив

книжки, приволакивает домой первый доллар, вырученный от продажи газет.

— Он будет настоящим американцем.

В общей атмосфере бизнеса изобретательность растет.

В детском кемпе, в летнем детском пансионе-лагере, где закаляют детей плаванием и футболом, было запрещено ругаться при боксе.

— Как же драться, не ругаясь? — сокрушенно жаловались дети.

Один из будущих бизнесменов учел эту потребность.

На его палатке появилось объявление:

«За 1 никель выучиваю пяти русским ругательствам, за 2 никеля — пятнадцати».

Желающих выучиться ругаться без риска быть поиятым преподавателями — набилась целая палатка.

Счастливый владелец русских ругательств, стоя посредине, дирижировал:

— Ну, хором — «дурак»!

— Д у р а к!

— С в о л о ч ь!

— Не «тволоч», а «сволочь».

Над сукиным сыном пришлось биться долго. Несмышленые американцы выговаривали «зукин-сиив», а подсовывать за хорошие деньги недоброкачественные ругательства честный молодой бизнесмен не хотел.

У взрослых бизнес принимает грандиозные эпические формы.

Три года тому назад кандидату в какие-то доходные городские должности — мистеру Рингельману надо было хвастнуть пред избирателями какой-нибудь альтруистической затеей. Он решил построить деревянный балкон на побережье для гуляющих по Конн-Айленду.

Владельцы прибрежной полосы запросили громадные деньги — больше, чем могла бы дать будущая должность. Рингельман плюнул на владельцев, песком и камнем отогнал океан, создал полосу земли шириной в 350 футов и на три с половиной мили оправил берег идеальным дощатым настилом.

Рингельмана выбрали.

Через год он с лихвой возместил убытки, выгодно

продав, в качестве влиятельиого лица, все выдающиеся бока своего оригииальиого предприятия под рекламу.

Если даже косвеииым давлеиием долларов можио победить должиость, славу, бессмертие, то, иепосредствеиио положив деиьги иа бочку, купишь все.

Газеты создаиы трестами; тресты, воротилы трестов запродались рекламодателям, владельцам уииверсальиых магазииов. Газеты в целом продаиы так прочно и дорого, что американская пресса считается иеподкупной. Нет деиег, которые могли бы перекупить уже запродаииого журиалиста.

А если тебе цеиа такая, что другие дают больше,— докажи, и сам хозяии набавит.

Титул — пожалуйста. Газеты и театральиые куплетисты часто труият иад кииозвездой Глорией Свеисен, бывшей гориичиой, иыие стоящей пятиадцать тысяч долларов в иеделю, и ее красавцем-мужем графом, вместе с пакеиовскими моделями и аиаиовскими туфлями вывезеииым из Парижа.

Любовь — извольте.

Вслед за обезьяиьим процессом газеты стали трубить о мистере Брауиииге.

Этот миллиоиер, агеит по продаже иедвижимого имущества, под старость лет обуялся юиошеской страстью.

Так как брак старика с девушкой вещь подозрительиая, миллиоиер пошел иа удочереиие.

Объявлеиие в газетах:

ЖЕЛАЕТ МИЛЛИОНЕР
УДОЧЕРИТЬ ШЕСТНАДЦАТИЛЕТНЮЮ

12 000 лестиых предложеиий с карточками красавиц посыпались в ответ. Уже в 6 часов утра четыриадцать девушек сидело в приемиой мистера Брауииига.

Брауиииг удочерил первую (слишком велико иетерпеиие) — по-детски распустившую волосья, красавицучешку Марию Спас. На другой деиь газеты стали захлебываться Марииием счастьем.

В первый деиь куплеио 60 платьев.

Привезеио жемчужиое ожерелье.

За три дия подарки перевалили за 40 000 долларов.

И сам папаша сиимался, облапив дочку за грудь, с выражеинем лица, которое впору показывать нз-под полы перед публичными домамн Монмартра.

Отцовскому счастью помешало известне, что мнстер пытался попутно удочернть н еще какую-то трннадцатилетнюю из следующей пришедшей партнн. Проблематичным нзвиненнем могло бы, пожалуй, быть то, что дочь оказалась девятнадцатилетней женщииой.

Там иа трн меньше, вдесь на трн больше; «фнфти-фифти», как говорят амернкаицы,— в общем, какая разннца?

Во всяком случае папаша оправдывался ие этнм, а суммой счета, и благородно доказывал, что сумма его расходов на этот бизнес определенно указывает, что только ои является страдающей стороной.

Прншлось вмешаться прокуратуре. Дальнейшее мне нензвестно. Газеты замолчалн, будто долларов в рот набрали.

Я убежден, что этот самый Брауиинг сделал бы серьезные корректнвы в советском брачном кодексе, ущемляя его со стороны нравственности и морали.

Нн одна страна не городит столько моральиой, возвышеинои, идеалистнческой хаижеской чушн, как Соединенные Штаты.

Сравнните этого Браунинга, развлекающегося в Нью-Йорке, с какой-ннбудь местечковой техасской сценкой, где банда старух в 40 человек, заподозрнв женщину в простнтуции и в сожительстве с их мужьями, раздевает ее догола, окунает в смолу, вывалнвает в перо н в пух и нзгоняет из городка сквозь главные сочувственно гогочущие улицы.

Такое средневековье рядом с первым в мнре паровозом «Твеитн-Сенчерн» экспресса.

Типичным бнзнесом н тнпичным ханжеством назовем и амернканскую трезвость, сухой закои «прогнбишен».

Внскн продают все.

Когда вы зайдете даже в крохотный трактирчик, вы увидите на всех столах надпнсь: «Заиято».

Когда в этот же трактирчик входнт умный, он пересекает его, ндя к протнвоположной двери.

Ему заслоняет дорогу хозяни, кидая серьезный вопрос:

— Вы джентльмен?

— О да! — восклицает посетитель, предъявляя зеленькую карточку. Это члены клуба (клубов тысячи), говоря просто — алкоголики, за которых поручились. Джентльмена пропускают в соседнюю комнату — там с засученными рукавами уже орудуют несколько коктейльщиков, ежесекундно меняя приходящим содержимое, цвета и форму рюмок длиннейшей стойки.

Тут же за двумя десятками столиков сидят завтракающие, любовно оглядывая стол, уставленный всевозможной питейностью. Пообедав, требуют:

— Шу бокс! (Башмачную коробку!) — и выходят из кабачка, волоча новую пару виски. За чем же смотрит полиция?

За тем, чтобы не надували при дележе.

У последнего пойманного оптовика «бутлегера» было на службе 240 полицейских.

Глава борьбы с алкоголем плачется в поисках за десятком честных агентов и грозится, что уйдет, так как таковые не находятся.

Сейчас уже нельзя отменить закон, запрещающий винную продажу, так как это невыгодно прежде всего торговцам вином. А таких купцов и посредников — армия — один на каждые пятьсот человек. Такая долларовая база делает многие, даже очень тонкие нюансы американской жизни простенькой карикатурной иллюстрацией к положению, что сознание и надстройка определяются экономикой.

Если перед вами идет аскетический спор о женской красе и собравшиеся поделились на два лагеря — одни за стриженых американок, другие за длинноволосых, то это не значит еще, что перед вами бескорыстные эстеты.

Нет.

За длинные волосы орут до хрипоты фабриканты шпилек, со стрижкой сократившие производство; за короткие волосы ратует трест владельцев парикмахерских, так как короткие волосы у женщин привели к парикмахерам целое второе стригущееся человечество.

Если дама не пойдет с вами по улице, когда вы несете сверток починенных башмаков, обернутых в газетную бумагу, то знайте — проповедь красивых свертков ведет фабрикант оберточной бумаги.

Даже по поводу такой сравнительно беспартийной вещи, как честность, имеющей целую литературу,— даже по этому поводу орут и ведут агитацию кредитные общества, дающие ссуду кассирам для внесения залогов. Этим важно, чтобы кассиры честно считали чужие деньги, не сбегали с магазинными кассами, и чтобы незыблемо лежал и не пропадал залог.

Такими же долларными соображениями объясняется и своеобразная осенняя оживленная игра.

14 сентября меня предупредили — снимай соломенную шляпу.

15-го на углах перед шляпными магазинами стоят банды, сбивающие соломенные шляпы, пробивающие шляпные твердые днища и десятками нанизывающие продырявленные трофеи на руку.

Осенью ходить в соломенных шляпах неприлично.

На соблюдении приличий зарабатывают и торговцы мягкими шляпами и соломенными. Что бы делали фабриканты мягких, если бы и зимой ходили в соломенных? Что бы делали соломенные, если бы годами носили одну и ту же шляпу?

А пробивающие шляпы (иногда и с головой) получают от фабрикантов на чуингам пошляпно.

Сказанное о нью-йоркском быте, это, конечно, не лицо. Так, отдельные черты — ресницы, веснушка, ноздря.

Но эти веснушки и ноздри чрезвычайно характерны для всей мещанской массы — массы, почти покрывающей всю буржуазию; массы, заквашенной промежуточными слоями; массы, захлестывающей и обеспеченную часть рабочего класса. Ту часть, которая приобрела в рассрочку домик, выплачивает из недельного заработка за фордик и больше всего боится стать безработным.

Безработица — это пятенье обратно, выгон из неоплаченного дома, увод недоплаченного форда, закрытие кредита в мясной и т. д. А рабочие Нью-Йорка хорошо помнят ночи осени 1920—1921 года, когда 80 000 безработных спали в Централ-парке.

Американская буржуазия квалификацией и заработками ловко делит рабочих.

Одна часть — опора желтых лидеров с трехэтажными затылками и двухаршинными сигарами, лидеров, уже по-настоящему, попросту купленных буржуазией.

Другая — революционный пролетариат — настоящий, не вовлеченный мелкими шефами в общие баиковские операции,— такой пролетариат и есть и борется. При мне революционные портные трех локалов (отделов) союза дамских портных — локалы второй, девятый и двадцать второй — повели долгую борьбу против «вождя», председателя Мориса Зигмана, пытавшегося сделать союз смирным отделом фабрикантовых лакеев. 20 августа была объявлена «Объединенным комитетом действия» антизигмановская демонстрация. Демонстрировало в Юнион-сквере тысячи две человек, и 30 000 рабочих из солидарности приостановили работу на два часа. Не зря демонстрация была в Юнион-сквере, против окон еврейской коммунистической газеты «Фрайгайт».

Была и чисто политическая демонстрация, непосредственно организованная компартией — по поводу недопущения в Америку английского депутата коммуниста Саклатвалы.

В Нью-Йорке 4 коммунистических газеты: «Новый мир» (русская), «Фрайгайт» (еврейская), «Щоденні вісті» (украинская) и финская.

«Дейли Воркер», центральный орган партии, издается в Чикаго.

Но эти газеты, при трех тысячах членов партии на Нью-Йорк, в одном Нью-Йорке имеют общий тираж в 60 000 экземпляров.

Переоценивать влияние этой коммунистически настроенной, в большинстве иностранной массы — не приходится, ждать в Америке немедленных революционных выступлений — наивность, но недооценивать шестьдесят тысяч — тоже было бы легкомыслием.

АМЕРИКА

Когда говорят «Америка», воображению представляются Нью-Йорк, американские дядюшки, мустанги, Кулидж и т. п. принадлежности Северо-Американских Соединенных Штатов.

Странно, но верно.

Странно — потому, что Америк целых три: Северная, Центральная и Южная.

С.А.С.Ш. не занимают даже всю Северную — а вот поди ж ты! — отобрали, присвоили и вместили название всех Америк.

Верно потому, что право называть себя Америкой Соединенные Штаты взяли силой, дредноутами и долларами, нагоняя страх на соседние республики и колонии.

Только за одно мое короткое трехмесячное пребывание американцы погромыхивали железным кулаком перед носом мексиканцев по поводу мексиканского проекта национализации своих же неотъемлемых земельных недр; посылали отряды на помощь какому-то правительству, прогоняемому венецуэльским народом; недвусмысленно намекали Англии, что в случае неуплаты долгов может затрещать хлебная Канада; того же желали французам и перед конференцией об уплате французского долга то посылали своих летчиков в Марокко на помощь французам, то вдруг становились марокканцелюбцами и из гуманных соображений отзывали летчиков обратно.

В переводе на русский: гони монету — получишь летчиков.

Что Америка и САСШ одно и то же — знали все. Кулидж только оформил это дельце в одном из последних декретов, назвав себя и только себя американцами. Напрасен протестующий рев многих десятков республик и даже других Соединенных Штатов (например Соединенные штаты Мексики), образующих Америку.

Слово «Америка» теперь окончательно аннексировано.

Но что кроется за этим словом?

Что такое Америка, что это за американская нация, американский дух?

Америку я видел только из окон вагона.

Однако по отношению к Америке это звучит совсем немало, так как вся она вдоль и поперек изрезана линиями. Они идут рядом то четыре, то десять, то пятнадцать. А за этими линиями только под маленьким градусом новые линии новых железнодорожных компаний. Единого расписания нет, так как главная цель этих линий не обслуживание пассажирских интересов, а доллар и конкуренция с соседним промышленником.

Поэтому, беря билет на какой-нибудь станции большого города, вы не уверены, что это самый быстрый, дешевый и удобный способ сообщения между необходимыми вам городами. Тем более, что каждый поезд — экспресс, каждый — курьерский и каждый — скорый.

Один поезд из Чикаго в Нью-Йорк идет 32 часа, другой — 24, третий — 20 и все называется одинаково — экспресс.

В экспрессах сидят люди, заложив за ленту шляпы проездной билет. Так хладнокровней. Не надо нервничать, искать билетов, а контролер привычной рукой лезет вам за ленту и очень удивляется, если там билета не оказалось. Если вы едете спальным пульмановским вагоном, прославленным и считающимся в Америке самым комфортабельным и удобным,— то все ваше существо организатора будет дважды в день, утром и вечером, потрясено бессмысленной, глупой возней. В 9 часов вечера дневной вагон начинают ломать, опускают востланные в потолок кроватн, разворачивают постели, прикрепляют железные палки, нанизывают кольца занавесок, с грохотом вставляют железные перегородки — все эти хитрые приспособления приводятся в движение, чтобы по бокам вдоль вагона установить в два яруса двадцать спальных коек под занавесками, оставив посредине узкий уже не проход, а пролаз.

Чтобы пролезть во время уборки, надо сплошь жонглировать двумя негритянскими задами уборщиков, головой ушедших в постилаемую койку.

Повернешь, выведешь его чуть не на площадку вагона,— вдвоем, особенно с лестницей для влезания на второй ярус, почти не разминешься,— затем меняешься с ним местами и тогда обратно влазишь в вагон. Раздеваясь, вы лихорадочно придерживаете расстегивающиеся занавески во избежание негодующих возгласов напротив вас раздевающихся шестидесятилетних организаторш какого-нибудь общества юных христианских девушек.

Во время работы вы забываете прижать вплотную высовывающиеся из-под занавесок голые ноги, и — проклинаемый пятипудовый негр ходит вразвалку по всем

мозолям. С 9 утра начинается вакханалия разборки вагона и приведения вагона в «сидящий вид».

Наше европейское деление на купе даже жестких вагонов куда целесообразией американской пульманов-ской системы.

Что меня совсем удивило — это возможность опоздания поездов в Америке даже без особых несчастных причин.

Мне необходимо было срочно после лекции в Чикаго выехать ночью на лекцию в Филадельфию — экспресс-ной езды 20 часов. Но в это время ночи шел только один поезд с двумя пересадками, и кассир, несмотря на пятиминутный срок пересадки, не мог и не хотел гарантировать мне точности прибытия к вагону пересадки, хотя и прибавил, что шансов на опоздание немного. Возможно, что уклончивый ответ объяснялся желанием опозорить конкурирующие линии.

На остановках пассажиры выбегают, закупают пучки сельдерея и вбегают, жуя на ходу корешки.

В сельдерее — железо. Железо — полезно американцам. Американцы любят сельдерей.

На ходу мелькают нерасчищенные лески русского типа, площадки футболистов с разноцветными играющими — и техника, техника и техника.

Эта техника не застоялась, эта техника растет. В ней есть одна странная черта — снаружи, внешне эта техника производит недоделанное, временное впечатление.

Будто стройка, стены завода не фундаментальные — однодневки, одногодки.

Телеграфные, даже часто трамвайные столбы сплошь да рядом деревянные.

Огромные газовые вместилища, спичка в которые снесет полгорода, кажутся неохраняемыми. Только на время войны была приставлена стража.

Откуда это?

Мне думается — от рваческого, завоевательного характера американского развития.

Техника здесь шире всеобъемлющей германской, но в ней нет древней культуры техники — культуры, которая заставила бы не только нагромождать корпуса, но и решетки и двор перед заводом организовать сообразно со всей стройкой.

Мы ехали из Бикоиа (в шести часах езды от Нью-Йорка) и попали без всякого предупреждеиия иа полиую перестройку дороги, иа которой не было оставлеио иикакого места для автомобилей (владельцы участков мостили, очевидио, для себя и мало заботились об удобствах проезда). Мы свернули иа боковые дороги и иаходили путь только после опроса встречиых, так как ии одиа надпись не указывала иаправлеиие.

В Германиии это иемыслимо ни при каких условиях, ии в каком захолустье.

При всей грандиозиости строеиий Америки, при всей иедосягаемости для Европы быстроты американской стройки, высоты американских иебоскребов, их удобств и вместительиости — и дома Америки, в общем, производят страиное времеииое впечатлеиие.

Может быть, это кажущееся.

Кажется оттого, что иа вершиие огромиого дома стоит объемистый водяиой бак. Воду до шестого этажа подает город, а дальше дом управляется сам. При вере во всемогущество американской техники такой дом выглядит подогианиым, иаскоро переделаниым из какой-то другой вещи и подлежащим разрушеиию по окоичаиии быстрой иадобиости.

Эта черта совсем отвратительио выступает в постройках, по самому своему существу являющихся времеииыми.

Я был иа Раковей-бич (иью-йоркский дачный поселок; пляж для людей средиего достатка). Ничего гаже строеиий, облепивших берег, я ие видел. Я ие мог бы прожить в таком карельском портсигаре и двух часов.

Все стаидартизироваииые дома одииаковы, как спичечиые коробки одиого иазваиия, одиой формы. Дома иасажеиы, как пассажиры весеииего трамвая, возвращающегося из Сокольиików в воскресеиье вечером. Открыв окио убориой, вы видите все, делающееся в соседией убориой, а если у соседа приоткрыта дверь, то видите сквозь дом и убориую следующих дачиików. Дома по леиточке уличек вытяиулись, как солдаты иа параде — ухо к уху. Материал строеиий таков, что слышишь ие только каждый вздох и шепот влюблеииого соседа, но сквозь стеику можешь различить самые тоикие июансы обедеиных запахов иа соседском столе.

Такой поселок — это совершеииейший аппарат провинциализма и сплетни в самом мировом масштабе.

Даже большие новейшие удобнейшие дома кажутся временными, потому что вся Америка, Нью-Йорк в частности, в стройке, в постояиной стройке. Десятиэтажные дома ломают, чтобы строить двадцатиэтажные; двадцатиэтажные — чтоб тридцати — чтоб сорока и т. д.

Нью-Йорк всегда в грудах камней и стальных переплетов, в визге сверл и ударах молотков.

Настоящий и большой пафос стройки.

Американцы строят так, как будто в тысячный раз разыгрывают иитереснейшую разученнейшую пьесу. Оторваться от этого зрелища ловкости, сметки — невозможно.

На простую землю ставится землечерпалка. Она с лязгом, ей подобающим, выгрызает и высасывает землю и тут же плюет ее в непрерывно проходящие грузовозы. Посредине стройки подымают фермчатый подъемиый краи. Он берет огромиые стальные трубы и вбивает их паровым молотом (сопящим, будто в насморке вся техника) в твердую землю, как мелкие обойные гвозди. Люди только помогают молоту усесться иа трубу да по ватерпасу меряют наклоны. Другие лапы краиа подымают стальные стойки и перекладины, без всяких шероховатостей садящиеся на место,— только сбей да свиити!

Подымается постройка, вместе с ней подымается кран, как будто дом за косу подымают с земли. Через месяц, а то и раньше, кран снимут — и дом готов.

Это применеиное к домам зиаменитое правило выделки пушек (берут дырку, обливают чугуном, вот и пушка): взяли кубический воздух, обвиитили сталью, и дом готов. Трудно отнестись серьезно, относишься с поэтической вдохиовенностью к какому-нибудь двадцатиэтажному Кливлаидскому отелю, про который жители говорят: здесь от этого дома очеиь тесио (совсем как в трамвае — подвиньтесь, пожалуйста) — поэтому его переносят отсюда за десять кварталов, к озеру.

Я не знаю, кто и как будет переносить эту постройку, но если такой дом вырвется из рук, он отдавит много мозолей.

Бетонная стройка в десяток лет совершенно меняет облнк большнх городов.

Трндцать лет назад В. Г. Короленко, увидев Нью-Йорк, записывал:

«Сквозь дымку на берегу виднелись огромные дома в шесть и семь этажей...»

Лет пятнадцать назад Максим Горький, побывавшн в Нью-Йорке, доводит до сведения:

«Сквозь косой дождь на берегу были видны дома в пятнадцать и двадцать этажей».

Я бы должен был, чтобы не выходить из рамок, очевидно, принятых писателями приличий, повествовать так:

«Сквозь косой дым можно видеть ничего себе дома в сорок н пятьдесят этажей...»

А будущий поэт после такого путешествия запишет:

«Сквозь прямые дома в ненсследованное количество этажей, вставшие на нью-йоркском берегу, не былн видны ин дымы, ин косые дожди, ни тем более, какие-то дымки».

Американская нация.

О ней больше, чем о какой-нибудь другой, можно сказать словами одного из первых революционных плакатов:

«Американцы бывают разные, которые пролетарские, а которые буржуазные».

Сынкн чнкагскнх миллионеров убнвают детей (дело Лоеба и компанни) нз любопытства, суд находит нх ненормальнымн, сохраняет их драгоценную жнзнь, н «ненормальные» живут заведующими тюремных библнотек, восхнщая сотюремнников изящными философскимн сочнненнямн.

Защнтнкн рабочего класса (дело Ванцеттн и других товарищей) прнговариваются к смертн — и целые комнтеты, органнзованные для нх спасенння, пока не в силах заставить губернатора штата отменнть прнговор. Буржуазия вооружена и органнзована. Ку-Клукс-Клан стал бытовым явленнем.

Портные Нью-Йорка в днн маскарадного съезда кланцев публиковали рекламы, заманнвая заказчиков высокнх шапок н белых халатов:

— Вельком, Ку-Клукс-Клан!

В городах иногда появляются известия, что такой-то куксин вождь убил такого-то и еще не пойман, другой (без фамилии) изнасиловал уже третью девушку и выкинул из автомобиля и тоже ходит по городу без малейшего признака кандалов. Рядом с боевой клаиовской оргаиизацией — мирные масонские. Сто тысяч масонов в пестрых восточиых костюмах в свой предпраздиичный день бродят по улицам Филадельфии.

Эта армия еще сохранила ложи и иерархию, по-прежиему объясняется таинствениыми жестами, манипулированием каким-то пальцем у какой-то жилетной пуговицы рисует при встречах таинственные зиачки, но на деле в большей своей части давно стала своеобразным учраспредом крупных торговцев и фабрикантов, назначающим министров и важиейших чиновников страны. Дико, должно быть, видеть это средневековье, шествующее по филадельфийским улицам под окиами типографии газеты «The Filadelfia Inquirer» [1], выкидывающей ротациоиками 450 000 газет в час.

Рядом с этой теплой компанийкой — странное существование легализоваиной, очевидио, для вериости наблюдеиия, рабочей компартии Америки и более чем страиное — осмеливающихся на борьбу профессиональиых союзов.

Я видел в первый день приезда в Чикаго, в холод и проливной дождь, такую дикую картииу.

Вокруг огромиого фабричного здаиия без остаиовок ходят мокрые, худые, продрогшие люди, с мостовых зорко смотрят рослые, жирные, промакиитошенные полисмеиы.

На фабрике забастовка. Рабочие должны отгоиять штрейкбрехеров и оповещать наиятых обманным путем.

Но останавливаться оии не имеют права — остановившегося арестует полиция на основании закоиов против пикетчиков. Говори — на ходу, бей — иа ходу. Своеобразиый десятичасовой скороходный рабочий деиь.

Неменьшая острота и национальных взаимоотношений Америки. Я писал уже о массе иностранцев в Америке (она вся, конечио, объединеиие иностранцев для эксплуатации, спекуляции и торговли),— оии живут десятками лет, не теряя ни языка, ни обычаев.

---

[1] «Филадельфийский вестник» (*англ.*).

В еврейском Нью-Йорке на новый год, совсем как в Шавлях, увидишь молодых людей и девушек, разодетых не то для свадьбы, не то для раскрашенной фотографии: лакированные башмаки, оранжевые чулки, белое кружевное платье, пестрый платок и испанский гребень в волосах — для женщин; а для мужчин при тех же туфлях какая-то помесь из сюртука, пиджака и смокинга. И на животе или настоящего или американского золота цепь — размером и весом цепей, закрывающих черный ход от бандитов. На помогающих службе — полосатые шали. У детей сотни поздравительных открыток с сердцами и голубками — открыток, от которых в эти дни беременеют все почтальоны Нью-Йорка и которые являются единственным предметом широкого потребления всех универсальных магазинов во все предпраздничные дни.

В другом районе так же обособленно живут русские, и американцы ходят в антикварные магазины этого района покупать экзотический самовар.

Язык Америки — это воображаемый язык Вавилонского столпотворения, с той только разницей, что там мешали языки, чтоб никто не понимал, а здесь мешают, чтоб понимали все. В результате из английского, скажем, языка получается язык, который понимают все нации, кроме англичан.

Недаром, говорят, в китайских лавках вы найдете надпись:

«ЗДЕСЬ ГОВОРЯТ ПО-АНГЛИЙСКИ
И ПОНИМАЮТ ПО-АМЕРИКАНСКИ»

Мне, не знающему английский язык, все-таки легче понимать скупослового американца, чем сыплющего словами русского.

Русский называет:
трамвай — стриткарой,
угол — кориером,
квартал — блоком,
квартиранта — бордером,
билет — тикетом,

а выражается так:

«Вы поедете без менянния пересядок».

Это значит, что у вас беспересадочный билет.

Под словом «американец» у нас подразумевают по-

месь из эксцентричных бродяг О'Генри, Ника Картера с неизменной трубкой и клетчатых ковбоев киностудии Кулешова.

Таких нет совсем.

Американцем называет себя белый, который даже еврея считает черномазым, негру не подает руки; увидев негра с белой женщиной, негра револьвером гонит домой; сам безнаказанно насилует негритянских девочек, а негра, приблизившегося к белой женщине, судит судом Линча, т. е. обрывает ему руки, ноги и живого жарит на костре. Обычай почище нашего «дела о сожжении в деревне Листвяны цыган-конокрадов».

Почему американцами считать этих, а не негров например?

Негров, от которых идет и так называемый американский танец — фокс и шимми, и американский джаз! Негров, которые издают многие прекрасные журналы, например «Opportunity» [1]. Негров, которые стараются найти и находят свою связь с культурой мира, считая Пушкина, Александра Дюма, художника Генри Тэна и других работниками своей культуры.

Сейчас негр-издатель Каспер Гольштейн объявил премию в 100 долларов имени величайшего негритянского поэта А. С. Пушкина за лучшее негритянское стихотворение.

Первого мая 1926 года этот приз будет разыгран.

Почему неграм не считать Пушкина своим писателем? Ведь Пушкина и сейчас не пустили бы ни в одну «порядочную» гостиницу и гостиную Нью-Йорка. Ведь у Пушкина были курчавые волосы и негритянская синева под ногтями.

Когда закачаются так называемые весы истории, многое будет зависеть от того, на какую чашку положат 12 миллионов негров 24 миллиона своих увесистых рук. Подогретые техасскими кострами, негры — достаточно сухой порох для взрывов революции.

Дух, в том числе и американский, вещь бестелая, даже почти не вещь; контор не нанимает, экспортируется слабо, тоннажа не занимает — и если что сам потребляет, то только виски, и то не американское, а привозное.

---

[1] «Современность» (*англ.*).

Поэтому духом интересуются мало, и то в последнее время, когда у буржуазии после разбойничьего периода эксплуатации появилось некоторое спокойное, уверенное добродушие, некоторый жировой слой буржуазных поэтов, философов, художников.

Американцы завидуют европейским стилям. Они отлично понимают, что за свои деньги они могли бы иметь не четырнадцать, а хоть двадцать восемь Людовиков, а спешка и привычка к точному осуществлению намеченного не дают им желания и времени ждать, пока сегодняшняя стройка утрясется в американский стиль. Поэтому американцы закупают художественную Европу — и произведения и артистов, дико украшая сороковые этажи каким-нибудь ренессансом, не интересуясь тем, что эти статуэтки да завитушки хороши для шестиэтажных, а выше незаметны вовсе. Помещать же ниже эти стильные фантифлюшки нельзя, так как они будут мешать рекламам, вывескам и другим полезным вещам.

Верхом стильного безобразия кажется мне один дом около публичной библиотеки: весь гладкий, экономный, стройный, черный, но с острой крышей, выкрашенной для красоты золотом.

В 1912 году одесские поэты вызолотили для рекламы нос кассирше, продававшей билеты на стиховечер.

Запоздавший гипертрофированный плагиат.

Улицы Нью-Йорка украшены маленькими памятничками писателей и артистов всего мира. Стены института Карнеги расписаны именами Чайковского, Толстого и другими.

В последнее время против непереваренной эклектической пошлости подымается голос молодых работников искусства.

Американцы стараются найти душу, ритм Америки. Начинают выводить походку американцев из опасливых шажков древних индейцев по тропинкам пустого Манхеттена. Уцелевшие индейские семьи тщательно охраняются музеями. Высшим шиком высшего общества считается древнее родство с какими-нибудь знатными индейскими родами,— вещь, еще недавно совершенно позорная в американских глазах. Деятелей искусства, не родившихся в Америке, просто перестают слушать.

Начинает становиться модной всякая туземность.

ЧИКАГО. В 1920 году в выдуманиой поэме «150 000 000» я так изобразил Чикаго:

Мир,
из света частей
собирая квиитет,
одарил ее мощью магической, —
город в ией стоит
на одиом виите —
весь электро-дииамо-механический.
В Чикаго
14 000 улиц —
солиц площадей лучи.
От каждой —
700 переулков
длиною поезду иа год.
Чудио человеку в Чикаго!

Зиамеиитейший сегодняшиий американский поэт Карл Саидбург — сам чикагец, загиаииый американским нежелаиием вникать в лирику в отдел хроиики и происшествий богатейшей газеты «Чикаго Трибюи» — этот самый Саидбург описывает Чикаго так:

Чикаго,
Свииобой мира,
Ииструмеитщик, сборщик хлеба,
Играющий железиыми дорогами грузчик страиы,
Буриый хриплый задира.
Город широких плеч...

«...Мне говорят: ты подл, и я отвечаю: да, это правда — я видел, как баидит убил и остался безнаказаиным. Мне говорят, что ты жесток, и мой ответ: иа лицах женщин и детей я видел следы бесстыдиого голода. Бросая ядовитые насмешки за работой, все иавалиивающейся работой,— это высокий дерзкий хулиган на фоие хрупких городишек.

С иепокрытой головой
роющий,
рушащий,
готовящий плаиы,
строящий, ломающий, восстаиавливающий.

Смеющийся буриым, хриплым задориым смехом юиости. Полуголый, пропотевший, гордый тем, что ои

режет свиией, производит инструмеиты, иаваливает хлебом амбары, играет железиыми дорогами и перебрасывает грузы Америки».

Путеводители и старожилы говорят:

«Чикаго:

Самые большие бойни.

Самый большой заготовщик лесиых материалов.

Самый большой мебельный центр.

Самый большой производитель сельскохозяйствеиных машии.

Самый большой склад пиаиино.

Самый большой фабрикаит железиых печей.

Самый крупиый железнодорожиый центр.

Самый большой центр по рассылке покупок почтой.

Самый людиый угол в мире.

Самый проходимый мост иа земном шаре Bush street bridge [1].

Самая лучшая система бульваров во всем земном шаре — ходи по бульварам, обходи Чикаго, не выйдя ни иа какую улицу.

Всё самое, самое, самое...

Что это за город Чикаго?

Если все американские города насыпать в мешок, перетряхиуть дома, как цифры лото, то потом и сами мэры города ие смогут отобрать свое бывшее имущество.

Но есть Чикаго, и этот Чикаго отличен от всех других городов — отличеи ие домами, не людьми, а своей особой по-чикагски направлеиной эиергией.

В Нью-Йорке миогое для декорации, для виду.

Белый путь — для виду, Коии-Айлаид — для виду, даже пятидесятисемиэтажиый Вульворт-Бильдиит — для втираиия провинциалам и иностранцам очков.

Чикаго живет без хвастовства.

Показиая иебоскребиая часть узка, притисиута к берегу громадой фабричиого Чикаго.

Чикаго ие стыдится своих фабрик, ие отступает с иими иа окраины. Без хлеба ие проживешь, и Мак-Кормик выставляет свои заводы сельскохозяйствеиных машии цеитральией, даже более гордо, чем какой-нибудь Париж — какой-нибудь Нотр-Дам.

---

[1] Мост улицы Баш (*англ.*).

Без мяса не проживешь, и нечего кокетинчать вегетарнанством — поэтому в самом центре кровавое сердце — бойни.

Чикагские бойии — одио нз гиусиейших зрелищ моей жизни. Прямо фордом вы въезжаете иа длиннейший деревяиный мост. Этот мост перекиют через тысячи загоиов для быков, телят, бараиов и для всей бесчислеиности мнровых свиией. Визг, мычаиие, блеяние — иеповторимое до коица света, пока людей и скотнну ие прищемят сдвигающнмнся скалами,— стоит иад этим местом. Сквозь сжатые иоздри лезет кнслый смрад бычьей мочи и дерма скотов десятка фасонов и миллиоиного количества.

Воображаемый или иастоящий запах целого разливного моря крови заиимается вашим головокружением.

Разиых сортов и калибров мухи с луж и жидкой грязн перепархивают то иа коровьи, то иа вашн глаза.

Длиные деревяиные корндоры уводят упнрающийся скот.

Если бараны ие идут сами, их ведет выдрессироваиный козел.

Коридоры коичаются там, где иачииаются иожи свиобоев и быкобойцев.

Жнвых визжащнх свиней машниа подымает крючком, зацепив их за живую иожку, перекндывает нх иа непрерывиую цепь,— они вверх иогами проползают мимо ирландца нли иегра, втыкающего иож в свиячье горло. По иескольку тысяч свиней в деиь режет каждый — хвастался боеискнй провожатый.

Здесь внзг н хрнп, а в другом коице фабрики уже пломбы кладут на окорока, молниями вспыхнвают на солнце градом выбрасываемые коисервиые жестянки, дальше грузятся холодильиики — и курьерскими поездами и пароходами едет ветчииа в колбасиые и рестораиы всего мнра.

Мннут пятнадцать едем мы по мосту только одиой компаиии.

А со всех сторои десятки компаиий орут вывесками.

Вильсои!

Стар!

Свифт!

Гамоид!

Армор!

Впрочем, все эти компании, вопреки закону, одно объединение, один трест. В этом тресте главный — Армор — судите по его охвату о мощи всего предприятия.

У Армора свыше 100 000 рабочих; одних конторщиков имеет Армор 10—15 тысяч.

400 миллионов долларов — общая ценность арморовских богатств. 80 000 акционеров разобрали акции, дрожат над целостью арморовского предприятия и снимают пылинки с владельцев.

Половина акционеров — рабочие (половина, конечно, по числу акционеров, а не акций), рабочим дают акции в рассрочку — один доллар в неделю. За эти акции приобретается временно смирение отсталых боенских рабочих.

Армор горд.

Шестьдесят процентов американской мясной продукции и десять процентов мировой дает один Армор.

Консервы Армора ест мир.

Любой может наживать катар.

И во время мировой войны на передовых позициях были консервы с подновленной этикеткой. В погоне за новыми барышами Армор сбагривал четырехлетние яйца и консервированное мясо призывного возраста — в 20 лет!

Наивные люди, желая посмотреть столицу Соединенных Штатов, едут в Вашингтон. Люди искушенные едут на крохотную улочку Нью-Йорка — Волстрит, улицу банков, улицу — фактически правящую страной.

Это верней и дешевле вашингтонской поездки. Здесь, а не при Кулидже должны держать своих послов иностранные державы. Под Волстрит тоннель-собвей, а если набить его динамитом и пустить на воздух к чертям свиньим всю эту улочку!

Взлетят в воздух книги записей вкладов, названия и серии бесчисленных акций да столбцы иностранных долгов.

Волстрит — первая столица, столица американских долларов. Чикаго — вторая столица, столица промышленности.

Поэтому не так неверно поставить Чикаго вместо Вашингтона. Свиной Вильсон не меньше влияет на жизнь Америки, чем влиял его однофамилец Вудро.

Бойни не проходят бесследно. Поработав на них, или станешь вегетарианцем или будешь спокойно убивать людей, когда надоест развлекаться кинематографом. Недаром Чикаго — место сенсационных убийств, место легендарных бандитов.

Недаром в этом воздухе из каждых четырех детей — один умирает до года.

Понятно, что грандиозность армии трудящихся, мрак чикагской рабочей жизни именно здесь вызывают трудящихся на самый больший в Америке отпор.

Здесь главные силы рабочей партии Америки.

Здесь центральный комитет.

Здесь центральная газета — «Daily Worker».

Сюда обращается партия с призывами, когда надо из скудного заработка создать тысячи долларов.

Голосом чикагцев орет партия, когда нужно напомнить министру иностранных дел мистеру Келлогу, что он напрасно пускает в Соединенные Штаты только служителей долларов, что Америка не келлоговский дом, что рано или поздно — а придется пустить и коммуниста Саклатвала и других посланцев рабочего класса мира.

Не сегодня и не вчера вступили рабочие-чикагцы на революционный путь.

Так же, как в Париже приезжие коммунисты идут к обстрелянной стене коммунаров,— так в Чикаго идут к могильной плите первых повешенных революционеров.

1 мая 1886 г. рабочие Чикаго объявили всеобщую забастовку. 3 мая у завода Мак-Кормик была демонстрация, во время которой полиция спровоцировала выстрелы. Выстрелы эти явились оправданием полицейской стрельбы и дали повод выловить зачинщиков.

Пять товарищей: Август Спайес, Адольф Фишер, Альберт Парсонс, Луи Линг и Жорж Энгель — были повешены.

Сейчас на камне их братской могилы слова речи одного из обвиняемых:

«Придет день, когда наше молчание будет иметь больше силы, чем наши голоса, которые вы сейчас заглушаете».

Чикаго не бьет в нос шиком техники — но даже внешность города, даже его наружная жизнь показы-

вает, что он больше других городов живет производством, живет машиной.

Здесь на каждом шагу перед радиатором вздымается подъемный мост, пропуская пароходы и баржи к Мичигану. Здесь, проезжая по висящему над железнодорожными линиями мосту, вы будете в любой час утра обволокнуты дымом и паром сотен бегущих паровозов.

Здесь на каждом повороте автомобильного колеса мелькают бензинные киоски королей нефти — Стандарт Ойл и Синклер.

Здесь всю ночь мигают предупреждающие автофонари перекрестков и горят подземные лампы, деля тротуары во избежание столкновений. Здесь специальные конные полицейские записывают номера автомобилей, простоявших перед домом более получаса. Если разрешать останавливаться на улицах всегда и всем, автомобили б стояли и в десять рядов и в десять ярусов.

Вот почему и весь в садах Чикаго должен быть изображаем на одном винте и сплошь электро-динамо-механическим. Это не в защиту собственной поэмы, это — в утверждение права и необходимости поэту организовывать и переделывать видимый материал, а не полировать видимое.

Путеводитель описал Чикаго верно и непохоже.

Сандбург описал и неверно и непохоже.

Я описал неверно, но похоже.

Критики писали, что мое Чикаго могло быть написано только человеком, никогда не видавшим этого города.

Говорили: если я увижу Чикаго, я изменю описание.

Теперь я Чикаго видел. Я проверил поэму на чикагцах — она не вызывала у них скептических улыбок — наоборот, как будто показывала другую чикагскую сторону.

ДЕТРОЙТ — второй и последний американский город, на котором остановлюсь. К сожалению, мне не пришлось видеть деревенских хлебных мест. Американские

дороги страшно дóроги. Пульман до Чикаго 50 долларов (100 рублей).

Я мог ездить только туда, где большие русские и, конечно, рабочие колонии. Мои лекции устраивали «Новый мир» и «Фрайгайт» — русская и еврейская газеты рабочей партии Америки.

В Детройте 20 тысяч русских.

В Детройте 80 тысяч евреев.

В большинстве это бывшие нищие — россияне, помнящие о ней всякой дрянью, приехавшие лет 20 тому назад и поэтому дружелюбно, во всяком случае внимательно, относящиеся к Советскому Союзу. Исключение — группа врангельцев, вывезенных из Константинополя седыми и лысыми вождями союза христианской молодежи, но и эта публика скоро обомнется. Доллар лучше всякой агитации разлагает белую эмиграцию. Пресловутая Кирилица, которую американцы называли «принцесс Сирил», явившаяся в Америку за вашингтонским признанием, быстро сдала — нашла себе бойкого предпринимателя-менаджера и стала раздавать в целование свою ручку от 10 до 15 долларов в иью-йоркском Мондей-морнинг — опера-клуб.

Даже «прниц» Борис пустился в Нью-Йорке во все тяжкие.

Обрывая лавры Родчейко, он стал заниматься настоящим фотомонтажом, писал статьи из бывшей придворной жизни, точно перечислял, когда и с кем пьянствовали царн, иллюстрируя фельетоны царями с примонтаженными им на колени балеринами, вспоминал, когда и с каким царем играл в карты, кстати и примонтировав бывших царей к пейзажам всехсветных казино. От этой борисовской литературы прнуныли самые матерые белогвардейцы. Как, мол, с такими персонами вести агитацию за воцарение белогвардейщины? Даже белые газеты писали с грустью — такие выступления совсем засморкали иден монархизма. Вновь привезенные, еще неученые белогвардейцы тычутся по предприятиям, многих усыновил благосклонный ко всякой белизне Форд.

Фордовские рабочие показывают таких русским новичкам: смотрите, здесь ваш царь работает. Царь работает мало — есть у Форда какой-то бессловесный при-

каз о моментальном приеме и незатруднении работой нанявшихся русских белых.

В Детройте много огромных мировых предприятий, например Парк Девис — медикаменты. Но слава Детройта — автомобили.

Не знаю, на сколько человек здесь приходится один автомобиль (кажется, на четыре), но я знаю, что на улицах их много больше, чем людей.

Люди заходят в магазины, конторы, в кафе и столовые — автомобили ждут их у дверей. Стоят сплошными рядами по обеим сторонам улицы. Митингами сгрудились на особых озаборенных площадях, где машину позволяют ставить за 25—35 центов.

Вечером желающему поставить автомобиль надо съехать с главной улицы в боковую, да и там поездить минут десять, а поставив в обнесенный загон, ждать потом, пока ее будут выволакивать из-за тысяч других машин.

А так как автомобиль больше человека, а человек, который выйдет, тоже садится в автомобиль,— то нерушимое впечатление: машин больше людей.

Здесь фабрики:

Пакард.

Кадиляк,

бр. Дейч, вторая в мире — 1500 машин в день.

Но над всем этим царит слово — Форд.

Форд укрепился здесь, и 7000 новых фордиков выбегают каждый день из ворот его безостановочно работающей ночью и днем фабрики.

На одном конце Детройта — Гайланд-парк, с корпусами на 45 тысяч рабочих, на другом — Ривервуж, с 60 тысячами. Да и еще в Дирборне, за 17 миль от Детройта — авиасборочный завод.

На фордовский завод я шел в большом волнении. Его книга, изданная в Ленинграде в 1923 году, уже имеет пометку — 45-я тысяча; фордизм — популярнейшее слово организаторов труда; о предприятии Форда говорят чуть ли не как о вещи, которую без всяких перемен можно перенести в социализм.

Профессор Лавров в предисловии к 5-му изданию фордовской книги пишет: «Появилась книга Форда... непревзойденная модель автомобиля... последователи

Форда жалки, причина последнего кроется в талантливости изобретеиной Фордом системы, которая, как всякая совершеииая система, только и гарантирует лучшую органиэацию...» и т. д. и т. д.

Сам Форд говорит: цель его теории — создать из мира источиик радости (социалист!); если мы ие иаучимся лучше пользоваться машииами, у иас ие станет времени для того, чтобы иаслаждаться деревьями и птицами, цветами и лугами. «Деньги полезны лишь постольку, поскольку они способствуют жизненной свободе (капиталиста?)». «Если служишь ради самого служеиия, ради удовлетвореиия, которое дается созиаиием правоты дела, то деньги сами собой появляются в избытке» (ие замечал!). «Шеф (Форд) компаньои своего рабочего, а рабочий товарищ своего шефа». «Мы ие хотим тяжелого труда, истощающего людей. Каждый рабочий Форда должен и может обдумывать улучшение дела — и тогда он кандидат в Форды», и т. д. и т. д.

Я нарочно ие остаиавливаюсь на ценных и интересиых мыслях книги — о иих раструблено достаточно, и ие для них книга писана.

На завод водят группами, человек по 50. Направление одио, раз навсегда. Впереди фордовец. Идут гуськом, не остаиавливаясь.

Чтобы получить разрешеиие, заполняешь анкету в комнате, в которой стоит испещреиый иадписями юбилейный десятимиллионный Форд. Кармаиы вам набивают фордовскими рекламами, грудами лежащими по столам. У анкетщиков и провожающих вид как у состарившихся, вышедших иа пенсию зазывал распродажиых магазинов.

Пошли. Чистота вылизаииая. Никто ие остановится ии иа секуиду. Люди в шляпах ходят, посматривая, и делают постоянные отметки в каких-то листках. Очевидно, учет рабочих движений. Ни голосов, ни отдельных погромыхиваний. Только общий серьезный гул. Лица зелеиоватые, с черными губами, как иа киносъемках. Это от длинных ламп диевного света. За инструментальной, за штамповальиой и литейной начинается знамеиитая фордовская цепь. Работа движется перед рабочим. Садятся голые шасси, как будто автомобили еще

без штаиов. Кладут иадколесиые крылья, автомобиль движется с вами вместе к моторщикам, краиы сажают кузов, подкатываются колеса, бубликами из-под потолка беспрерывио скатываются шиины, рабочие с-под цепи сиизу что-то подбивают молотком. На малеиьких иизеиьких вагоиеточках липиут рабочие к бокам. Пройдя через тысячи рук, автомобиль приобретает облик на одиом из последиих этапов, в авто садится шофер, машиина съезжает с цепи и сама выкатывается во двор.

Процесс, уже зиакомый по киио,— ио выходишь все-таки обалделый.

Еще через какие-то побочиые отделы (Форд все части своей машиины от иитки до стекла делает сам), с тюками шерсти, с летающими иад головой иа цепях подъемиых краиов тысячами пудов колеичатых валов, мимо самой мощиой в мире фордовской электростаиции, выходим иа Woodword — улица.

Мой сотоварищ по осмотру — старый фордовский рабочий, бросивший работу через два года из-за туберкулеза, видел завод целиком тоже в первый раз. Говорит со злостью: «Это оии парадиую показывают, вот я бы вас повел в кузницы иа Ривер, где половииа работает в огие, а другая в грязи и воде».

Вечером мие говорили фордовцы — рабкоры коммуиистической чикагской газеты «Дейли Воркер»:

— Плохо. Очеиь плохо. Плевательииц иет. Форд ие ставит, говорит: «Мие не надо, чтоб вы плевались,— мие иадо, чтобы было чисто, а если плеваться иадо вам — покупайте плевательницы сами».

...Техника — это ему техиика, а ие иам.

...Очки дает с толстым стеклом, чтоб ие выбило глаз — стекло дорогое. Человеколюбивый. Это ои потому, что при тоиком стекле глаз выбивает и за иего иадо платить, а иа толстом только царапиины остаются, глаз от иих портится все равио года через два, ио платить ие приходится.

...На еду 15 мииут. Ешь у стаика, всухомятку. Ему бы кодекс закоиов о труде с обязательиой отдельиой столовой.

...Расчет — без всяких выходиых.

...А члеиам союза и вовсе работы ие дают. Библиотеки иет. Только киио, и то в ием показывают картины только про то, как быстрее работать.

...Думаете, у иас иесчастиых случаев иет? Есть. Только про иих иикогда ие пишут, а раиеиых и убитых вывозят иа обычиой фордовской машиие, а ие иа красиокрестиой.

...Система его прикидывается часовой (8-часовой рабочий деиь), иа самом деле — чистая сдельщина.

...А как с Фордом бороться?

...Сыщики, провокаторы и клаиовцы, всюду 80% иностраицев.

...Как вести агитацию иа 54 языках?

В четыре часа я смотрел у фордовских ворот выходящую смеиу,— люди валились в трамваи и тут же засыпали, обессилев.

В Детройте иаибольшее количество разводов. Фордовская система делает рабочих импотентами.

ОТЪЕЗД

Пристань компанин «Траисатлаитик» на коице 14-й улицы.

Чемодаиы положилн иа иепрерывно подиимающуюся леиту с планками, чтобы вещн ие скатывались. Вещи побежалн иа второй этаж.

К пристаии приставлен маленький пароходик «Рошамбо», ставший еще меньше от соседства огромиой, как двухэтажиый маиеж, пристани.

Лестиица со второго этажа презрительно спускалась винз.

Просмотрев, отбирают выпускные свидетельства — свидетельство о том, что иалоги Америки с заработавшнх в ней виесеиы и что в страиу этот человек въехал правильио, с разрешеиия иачальства.

Посмотрели билет — и я на фраицузской территории, обратио под вывеску Фрэичлайи и под рекламу Бисквит-компани-иейшеиал — иельзя.

Рассматриваю в последиий раз пассажиров. В последиий, потому что осень — время бурь, и люди будут лежать в лежку все 8 дией.

При приезде в Гавр я узиал, что иа вышедшем одиовремеиио с иами с соседией пристанн «Коиард Лайн»

пароходе шесть человек проломили себе насквозь носы, упав на умывальник во время качки, перекатывающей волны через все палубы.

Пароход плохонький — особый тип: только первый и третий класс. Второго нет. Вернее, есть один второй. Едут или бедные или экономные, да еще несколько американских молодых людей, не экономных, не бедных, а посылаемых родителями учиться искусствам в Париже.

Отплывал машущий платками, поражающий при въезде Нью-Йорк.

Повернулся этажами сорока, сквозной окнами Метрополитен-бильдинг. Накиданными кубами разворачивалось новое здание телефонной станции, отошло и на расстоянии стало видно сразу все гнездо небоскребов: этажей на 45 Бенсонсон-бильдинг, два таких же корсетных ящика, неизвестных мне по имени, улицы, ряды элевейтеров, норы подземок закончились с пристанью Соутонфери. Потом здания слились зубчатой обрывной скалой, над которой трубой вставал 57-этажный Вульворт.

Замахнулась кулаком с факелом американская баба-свобода, прикрывшая задом тюрьму Острова Слез.

Мы в открытом обратном океане. Сутки не было ни качки, ни вина. Американские территориальные воды, еще текущие под сухим законом. Через сутки появилось и то и другое. Люди полегли.

Осталось на палубе и в столовых человек 20, включая капитанов.

Шестеро из них — американские молодые люди: новеллист, два художника, поэт, музыкант и девушка провожавшая, влезшая на пароход и любви ради уехавшая аж без французской визы.

Деятели искусства, осмыслив отсутствие родителей и прогибишеи, начали пить.

Часов в пять брались за коктейли, за обедом уничтожали все столовое вино, после обеда заказывали шампанское, за десять минут до закрытия набирали бутылок под каждый палец; выпив все, слонялись по качающимся коридорам в поисках за спящим официантом.

Кончили пить за день до приплытия, во-первых, потому, что озверевший от вечного шума комиссар клят-

венно обещал двух художников предать в руки французской полиции, не спуская на берег, а во-вторых, все шампанские запасы были уже выпиты. Может быть, этим объяснялась и комиссарская грозность.

Кроме этой компании, слонялся лысый старый канадец, все время надоедавший мне любовью к русским, сочувственно называя и справляясь у меня о знакомстве с бывшими живыми и мертвыми князьями, когда-нибудь попадавшими на страницы газет.

Путались между дребезжащими столиками два дипломата: помощник парагвайского консула в Лондоне и чилийский представитель в Лигу Наций. Парагваец пил охотно, но никогда не заказывал сам, а всегда в порядке изучения нравов и наблюдения за молодыми американцами. Чилиец пользовался каждой минутой просветления погоды и вылаза женщин на палубу, чтобы проявить свой темперамент или хотя бы сняться вместе на фоне сирены или трубы. И, наконец, испанец-купец, который не знал ни слова по-английски, а по-французски только:

— регардэ —

даже, кажется, «мерси» не знал. Но испанец так умело обращался с этим словом, что, прибавив жесты и улыбки, он целыми днями перебегал от компании к компании в форменном разговорном ажиотаже.

Опять выходила газета, опять играли на скоростях, опять отпраздновали томболу.

На обратном безлюдии я старался оформить основные американские впечатления.

ПЕРВОЕ. Футуризм голой техники, поверхностного импрессионизма дымов да проводов, имевший большую задачу революционизирования застывшей, заплывшей деревней психики — этот первобытный футуризм окончательно утвержден Америкой.

Звать и вещать тут не приходится. Перевози в Новороссийск фордзоны, как это делает Амторг.

Перед работниками искусства встает задача Лефа: не воспевание техники, а обуздание ее во имя интересов человечества. Не эстетическое любование железными пожарными лестницами небоскребов, а простая организация жилья.

Что автомобиль?.. Автомобилей много, пора подумать, чтобы они не воиялн на улицах.

Не небоскреб — в котором жить иельзя, а живут.

С-под колес проносящихся элевейтеров плюет пыль, и кажется — поезда переезжают вашн уши.

Не грохот воспевать, а ставнть глушители — нам, поэтам, надо разговарнвать в вагоне.

Безмоторный полет, беспроволочный телеграф, радно, бусы, вытесняющне рельсовые трамван, собвен, унесшие под землю всякую видимость.

Может быть, завтрашняя техника, умильоинвая снлы человека, пойдет по путн уничтоженія строек, грохота и прочей технической внешности.

ВТОРОЕ. Разделенне труда уннчтожает человеческую квалнфнкацию. Капнталнст, отделнв и выделнв материально дорогой ему процент рабочих (специалисты, желтые заправнлы союзов и т. д.), с остальной рабочей массой обращается как с иенсчерпаемым товаром.

Хотнм — продаднм, хотим — купим. Не согласнтесь работать — выждем, забастуете — возьмем другнх. Покорных и способных облагодетельствуем, непокорным — палки казенной полнцни, мауэеры и кольты детективов частных контор.

Умное раздвоение рабочего класса на обыкновенных и прнвилегированных, невежество трудом высосанных рабочнх, в которых после хорошо сорганизованного рабочего дня не остается снлы, нужиой даже для мыслн; сравнительное благополучие рабочего, выколачнвающего прожиточный мннимум; несбыточная надежда иа богатство в будущем, смакуемая усердиымн описаннями вышедших из чистнльщнков мнллнардеров; настоящие военные крепостн на углах многнх улнц — н грозное слово «депортацня» далеко отдаляют какне бы то нн было вескне надежды на революцнонные взрывы в Амернке. Разве что откажется от какнх-ннбудь оплат долгов революцнонная Европа. Или на одной вытянутой через Тнхнй океаи лапе японцы начнут подстрнгать когти. Поэтому усвоенне амернканской техннкн и уснлня для второго открытня Амернки — для СССР — задача каждого проезжающего Америкамн.

ТРЕТЬЕ. Возможно, фантастика. Америка жиреет. Люди с двумя миллиончнками долларов считаются иебогатыми начинающими юношами.

Деиьги взаймы даются всем — даже римскому папе, покупающему дворец напротнв, дабы любопытиые ие заглядывали в его папские окиа.

Эти деиьги берутся отовсюду, даже из тощего кошелька американских рабочих.

Баики ведут бешеную агитацию за рабочие вклады.

Эти вклады создают постепеино убеждение, что иадо заботиться о процентах, а не о работе.

Америка станет только финансовой ростовщической страиой.

Бывшие рабочие, имеющие еще неоплачениый рассрочный автомобиль и микроскопический домик, полнтый по́том до того, что неудивительно, что ои выросн на второй этаж,— этим бывшим может казаться, что их задача — следить, как бы не пропали их папские деиьги.

Может статься, что Соединениые Штаты сообща станут последнимн вооруженными защитиикамн безиадежного буржуазного дела,— тогда история сможет иапнсать хороший, типа Уэльса, роман «Борьба двух свстов».

Цель моих очерков — заставить в предчувствии далекой борьбы изучать слабые и сильиые стороны Америки.

«Рошамбо» вошел в Гавр. Безграмотные домики, которые только по пальцам желают считать этажи, иа час расстояиия гавань, а когда мы уже прикручивались, берег усеялся оборваниыми калеками, мальчишками.

С парохода кидали ненужные центы (считается — «счастье»), а мальчишки, давя друг друга, дорывая изодранные рубахи зубами и пальцами, впивались в медяки.

Американцы жирно посмеивались с палубы и щелкали момеитальиыми.

Эти нищие встают передо мной символом грядущей Европы, если оиа не бросит пресмыкаться перед американской и всякой другой деиьгой.

Мы ехали к Парижу, пробивая тоинелями бескоиечные горы, легшие поперек.

По сравнению с Америкой жалкие лачуги. Каждый вершок земли взят вековой борьбой, веками истощаем и с аптекарской мелочностью использован под фиалки или салат. Но даже это презираемое за домик, за земельку, за свое, даже это веками обдуманное цепляние казалось мне теперь невероятной культурой в сравнении с бивуачным строем, рваческим характером американской жизни.

Зато до самого Руана на бесконечных каштанных проселочных дорогах, на самом густом клочке Франции мы встретили всего один автомобиль.

1925—1926

ПРИМЕЧАНИЯ

Началом своей литературной деятельности Маяковский считал 1909 год, когда, находясь в тюрьме, он стал писать стихи. Стихи эти, отобранные при выходе из заключения, неизвестны. Самое раннее из сохранившихся произведений поэта — «Ночь» — появилось в печати в 1912 году. Первый сборник «Я», составляющий цикл из четырех стихотворений, издан в 1913 году. В последующие годы Маяковский выпустил около 90 книг, различных по своему характеру и назначению. Некоторые из них составлены по жанровому принципу. Таковы, например, сборники сатирических произведений: «Маяковский издевается. Первая книжица сатиры», (1922); «Маяковский улыбается, Маяковский смеется, Маяковский издевается» (1923); «Слоны в комсомоле» (1929); «Без доклада не входить» (1930); «Грозный смех» (1932) [1]. В 1923 году была издана «Лирика». Многие сборники построены проблемно-тематически: «Стихи о революции», изд. 1 и 2 (1923); «Париж» (1925); «Испания. Океан. Гавана. Мексика. Америка» (1926); «Туда и обратно» (1930). Есть книги с конкретным, так сказать, целевым назначением: «Школьный Маяковский» (1929); «Маяковский для голоса» (1930). В разные годы Маяковский отдельно издавал циклы своих новейших произведений: «Вещи этого года (до 1 августа 1923 г.)» (1924); «Только новое» (1925) и др.

Время от времени автор пытался собрать воедино свои произведения: «Все сочиненное Владимиром Маяковским (1909—1919)» (1919); «13 лет работы» (1922). Проводил он также работу по отбору лучшего из написанного: «Избранный Маяковский» (1923); «Избранное из избранного» (1926).

На определенном этапе творческого пути поэт почувствовал необходимость подвести итог всему сделанному и начал готовить десятитомное собрание своих сочинений. Оно выходило в свет с

[1] Последние два сборника, хотя и вышли после смерти Маяковского, были им подготовлены и сданы в издательство: первый — в феврале, второй — в декабре 1929 г.

1927-го по 1933 год. При жизни Маяковского было издано 6 томов. Он успел подготовить и сдать в печать также 7-й и 8-й тома. Последние два тома были выпущены без участия автора.

В настоящее издание — «Сочинения» в двух томах — включены все наиболее значительные стихотворные и драматургические произведения Маяковского, многие из которых по праву относятся к лучшим образцам советской поэзии. В двухтомник вошли также стихи, которые своим гражданским и политическим пафосом оказались созвучны нашему времени, современным условиям борьбы за утверждение ленинских норм жизни. Объем данного издания не позволил широко включить в него прозу Маяковского,— она представлена автобиографией «Я сам», очерками «Мое открытие Америки», некоторыми статьями и выступлениями литературно-критического и публицистического характера.

Издание построено по жанрово-хронологическому принципу. В первый том «Сочинений» входят стихотворения, автобиография «Я сам» и книга очерков «Мое открытие Америки», тематически примыкающая к «американскому» циклу стихов поэта; во второй— поэмы и пьесы, а также некоторые статьи и выступления. Внутри томов произведения распределены по разделам — «Стихотворения», «Поэмы», «Пьесы», «Проза». Содержание каждого раздела выдержано в хронологическом плане, причем в разделе «Стихотворения» сохранены такие единые и цельные по своему характеру циклы, как «Окна РОСТА», «Париж», «Стихи об Америке», «Стихи детям» (первый и последний даются не полностью).

Тексты печатаются по научно выверенному изданию: Владимир Маяковский. Полн. собр. соч. в 13 т., М., Гослитиздат, 1955—1961. В томах помещены рисунки В. В. Маяковского.

Я САМ

Автобиография «Я сам» написана Маяковским в 1922 году. Через шесть лет поэт продолжил ее, доведя изложение событий до 1928 года. В таком виде она вошла в 1-й том десятитомного собрания его сочинений. Автобиография выдержана в полушутливом тоне и во многом носит полемический характер.

Главное.— В. В. Маяковский родился 7(19) июля 1893 года в селе Багдади — теперь Маяковски Грузинской ССР.

1-е воспоминание.— «*...алон занфан де ля по четыре*» — каламбурная переделка строки «Марсельезы»: «Allons, enfants de la patrie».

Дурные привычки.— *Как-то раз перед толпою...*— из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Спор».

Первая книга.— *«Птичница Агафья»* — сентиментальный рассказ Клавдии Лукашевич.

Нелегальщина.— *Опомнись, товарищ...*— «Постой-ка, товарищ! Опомнись-ка, брат!» — из агитационной песни «К солдату». *...а не тов путь иной...*— Из пародийного стихотворения, получившего в то время известность в революционной среде.

905-й год.— *...убили генерала Алиханова.*— М. Алиханов-Аварский, военный губернатор Кутаисской губ., был убит революционерами в 1907 году.

Социализм. — *«Буревестник»* — издательство, выпускавшее социал-демократическую литературу. *«Долой социал-демократов!»*. *«Экономические беседы»* — агитационные брошюры; автор первой В. Бракке, второй — Н. Карышев. *...на «Эрфуртскую»* — программа германской социал-демократической партии, принятая на съезде в Эрфурте в 1891 году; изучалась в России в революционных кружках. *Демосфен* — древнегреческий политический деятель; чтобы исправить изъян произношения, он, по преданию, говорил в берегу моря речи, набрав камни в рот. *Рион* — Рионн, река, возле которой расположен Кутаиси.

Реакция.— *...в демонстрацию памяти Баумана...*— в Кутаиси, в октябре 1905 года.

Гимназия.— Маяковский поступил в пятую гимназию в августе 1906 года и обучался в ней до 1 марта 1908 года.

Партия.— *Держал экзамен...*— Речь идет о выполнении Маяковским партийных поручений.

Арест.— *...прочел «Санина»* — роман М. П. Арцыбашева, пользовавшийся в те годы скандальной известностью. *...опять кратковременная сидка.*— Второй раз Маяковский, арестованный 18 января 1909 года, находился под арестом более месяца. *Махмудбеков С. А.*— чиновник московского почтамта, ранее работавший помощником начальника петербургской тюрьмы «Кресты».

Третий арест.— Маяковский был арестован 2 июля, переведен в Бутырскую тюрьму 18 августа 1909 года.

11 бутырских месяцев. — *Курлов* П. Г. (1860 — 1923) — занимал пост товарища министра внутренних дел. *...судили по первому делу* — о тайной типографии МК РСДРП (большевиков).

Так называемая дилемма.— *...из Строгановского.*— Маяковский был принят в приготовительный класс Строгановского

художественно-промышленного училища в августе 1908 года, однако аресты и тюремное заключение помешали его обучению. ...*«в небеса запустил ананасом»*...— из стихотворения А. Белого «В горах».

Начало мастерства.— *Учился у Жуковского.*— В студии С. Ю. Жуковского (1873—1944) Маяковский учился около четырех месяцев, в первой половине 1910 года. *Пошел к Келину.*— В студию П. И. Келина Маяковский поступил в середине 1910 года.

Последнее училище.— *Сидел на «голове» год*...— т. е. год учился рисовать голову в Училище живописи, ваяния и зодчества, куда поступил в августе 1911 года.

В курилке.— *Остров мертвых.*— Имеется в виду симфоническая поэма С. Рахманинова «Остров мертвых».

Памятнейшая ночь.— *Родился российский футуризм.*— Футуризм как течение возник в России раньше. Маяковский же имеет в виду организацию группы кубофутуристов.

Участвуя в публичных выступлениях группы кубофутуристов, публикуя свои стихи в футуристических изданиях, ставя свою подпись под соответствующими декларациями, поэт считал футуризм явлением, призванным радикально обновить искусство и дать живительный импульс развитию самой жизни. В его представлении тех лет он был чуть ли не единственной силой, борющейся с нравами и искусством буржуазного общества. Связь с футуризмом несомненно наложила отпечаток на формирование художника, но, как показывает его дальнейший путь, оказалась не настолько сильной, чтобы заглушить в его творчестве социальный и гуманистический пафос. Прокрустово ложе футуризма оказалось слишком узким для огромного таланта Маяковского, идейно-эстетическое развитие которого выводило его на дорогу больших художественных открытий и важных теоретических обобщений, касающихся сущности и перспектив развития искусства в революционную эпоху. Его ранние стихи с их трагическим ощущением жизни, нарастающим социальным протестом, гуманистическим пафосом принципиально отличались от футуристических произведений.

Так ежедневно.— *«Багровый и белый»* — из стихотворения «Ночь».

Прекрасный Бурлюк.— *Новая Маячка* — имение в Херсонской губернии, где отец Д. Д. Бурлюка был управляющим.

«Пощечина».— ...*совместный манифест.*— Предисловие к сборнику «Пощечина общественному вкусу», изданному в 1912 году.

Разумеется.— *...изгнал нас из училища.*— Маяковский и Бурлюк были исключены из Училища живописи, ваяния и зодчества в феврале 1914 года.

Война.— *Плакаты заказные...*— Над текстами плакатов Маяковский работал в августе—октябре 1914 г., т. е. уже после того, как было написано стихотворение «Война объявлена».

Август.— *Пошел записываться добровольцем.*— Маяковскому было отказано в просьбе принять его добровольцем в армию в связи с его политической неблагонадежностью. *Модль* — начальник Московского охранного отделения.

Зима.— *«Ах, закройте, закройте глаза газет»* — из стихотворения «Мама и убитый немцами вечер».

Куоккала.— *...репинские травки.*— Художник И. Е. Репин был вегетарианцем.

«Новый сатирикон» — популярный в те годы еженедельный сатирический журнал под редакцией А. Аверченко.

Призыв.— *Забрили.*— Маяковский был призван на военную службу в октябре 1915 года и направлен в Военно-автомобильную школу в Петрограде.

26 февраля, 17-й год.— Февральская революция здесь ошибочно отнесена к той дате, в то время как в поэтохронике «Революция» дата правильная — 27 февраля. *Гучковеет.*— Имеется в виду установление реакционного политического курса (по имени лидера партии октябристов, военного и морского министра Временного правительства А. И. Гучкова).

Август.— *«Новая жизнь»* — газета, где печатался Маяковский. Ее позиции постепенно становились все более и более меньшевистскими.

18-й год.— *Заходил в Пролеткульт к Кшесинской.*— Пролеткульт (тогда—Общество пролетарских искусств) помещался в бывшем дворце балерины Кшесинской в Петрограде.

25 октября, 18-й год.— *Окончил мистерию.*— Имеется в виду «Мистерия-буфф». *Андреева* М. Ф. (1872—1953) — в то время заведующая Театральным отделом Петроградского Совета.

19-й год.— *...организуется комфут...*— Имеется в виду создание объединения «коммунистов-футуристов». *«Искусство коммуны»* — еженедельная газета Отдела изобразительных искусств Наркомпроса, издававшаяся в Петрограде с декабря 1918 года по апрель 1919 года. *Пошел в агитацию Роста.*— Маяковский работал в РОСТА (Российском телеграфном агентстве) с октября 1919-го по январь 1921 года.

22-й год.— *МАФ* — Московская ассоциация футуристов. *«Пятый Интернационал»* — поэма, оставшаяся незавершенной.

23-й год.— *«Леф»* — Левый фронт искусств — название литературной группы и журнала, руководимых В. В. Маяковским. Журнал выходил в 1923—1925 годах. Маяковский стремился объединить участников «Лефа» на платформе коммунистической идеологии, пафоса строительства революционного искусства. При всей определенности исходных позиций Маяковского на страницах журнала находили место ошибочные теории лефовцев — вульгарно-социологического и формалистического характера. В 1927 году начал выходить под редакцией Маяковского журнал «Новый Леф». В середине 1928 года Маяковский вышел из группы «Леф», считая, что «мелкие литературные дробления изжили себя». Объясняя свой уход из «Лефа», Маяковский говорил, что «Леф» — это эстетическая группа, которая приняла нашу борьбу как факт, как таковой, и сделала из революционной литературы замкнутое в себе эстетическое предприятие».

25-й год. *«Сам пройдись по небесам»*.— Сборник под таким названием издан не был.

1927-й год.— *Восстанавливаю... «Леф», уже «Новый»*.— Имеется в виду создание журнала «Новый Леф», который выходил под редакцией Маяковского в 1927—1928 годах.

1928-й год.— *Пишу поэму «Плохо»*.— Поэма не была написана. *Пьесу...*— имеется в виду пьеса «Клоп», законченная во второй половине года.

СТИХОТВОРЕНИЯ

Вывескам (с. 46).— *Созвездия «Магги»*.— Имеется в виду световая реклама бульонного экстракта фирмы «Магги».

Я (с. 47).— *Аванцо* — магазин художественных изделий в Москве. *Я люблю смотреть, как умирают дети*.— На то, что эти слова не следует понимать буквально, указывал сам поэт (см. сб. «Маяковскому». Л., 1940, с. 180). В ранних своих стихах Маяковский иногда надевает на себя маску грубияна и циника. За стремлением поэта шокировать читателя дерзкими выпадами и неожиданными признаниями, идущими вразрез с общепринятой моралью, скрывается трагическое ощущение жизни.

Нате! (с. 50).— Прочитанное 19 октября 1913 года в московском литературном кабаре «Розовый фонарь», стихотворение привело в ярость присутствующую там буржуазную публику.

Война объявлена (с. 53) — Стихотворение написано в связи с началом 1 августа (18 июля) 1914 года первой мировой войны.

Мама и убитый немцами вечер (с. 54).— *...на шее Варшавы. ...пальцы улиц ломала Ковна.*— В районе Варшавы и Ковно (теперь Каунас) осенью 1914 года шли ожесточенные бои.

Я и Наполеон (с. 57).— *...у Ноева оранжереи...*— Имеется в виду цветочный магазин Ноева в Москве. *...солнце Аустерлица!* — Рано утром в день Бородинской битвы, увидев восходящее солнце, Наполеон воскликнул: «Вот солнце Аустерлица!» В этих словах выразилась его надежда на успех сражения, ибо в 1805 году под Аустерлицем он одержал победу над русско-австрийскими войсками. *Он раз чуме приблизился троном...*— В 1799 году в Яффе (Палестина) Наполеон посетил чумной госпиталь. *...тысячу Арколь-ских мостов!* — В 1796 году во время сражения французов с австрийскими войсками возле местечка Арколе Наполеон лично руководил атакой одной из колонн.

Вам! (с. 59).— Это стихотворение, прочитанное на вечере в артистическом подвале «Бродячая собака», вызвало гневное возмущение буржуазной публики.

Гимн обеду (с. 65).— *...ударами ядр тысячи Реймсов разбить...*— В начале первой мировой войны выдающийся архитектурный памятник XIII века Реймский собор был сильно поврежден при обстреле германской артиллерией.

Лиличка! Вместо письма (с. 77).— Стихотворение адресовано Л. Ю. Брик (1891—1978) *...в крученыховском аде.*— Имеется в виду футуристическая поэма А. Крученых и В. Хлебникова «Игра в аду».

Надоело (с. 79).— *...рябов прочту «Простое как мычание».*— Маяковский говорит о сборнике своих стихов, вышедшем в издательстве «Парус» в 1916 году. Назван «рябым» из-за цензурных изъятий.

Дешевая распродажа (с. 81).— *Надеждинская*— улица в Петрограде, на которой в 1916—1918 гг. жил Маяковский (теперь ул. Маяковского).

Последняя петербургская сказка (с. 86).— *Стоит император Петр Великий...*— Имеется в виду памятник Петру I на Сенатской площади в Петрограде. *«Запирую на просторе я!»* — перефразировка строки «И запируем на просторе» из поэмы Пушкина «Медный всадник». *Гренадин* — прохладительный напиток.

Братья писатели (с. 88).—*Бристоль* — литературное кафе в Петрограде. *Франсуа Вийон* — французский поэт XV века. Существует версия, что в молодости он был замешан в уголовном преступлении. *«Причесываться? Зачем же?!»* — перефразировка строк лермонтовского стихотворения «И скучно и грустно...» — «Любить — но кого же?..»

Революция (с. 90).— *Волынский полк* — полк Петроградского гарнизона, первым перешедший на сторону революции. *...марсельский марш.*— Имеется в виду «Марсельеза». *...купол Думы.*— Купол Таврического дворца, где помещалась Государственная дума.. *...скрижали с нашего серого Синая.*— Согласно библейскому сказанию, бог на горе Синай дал пророку Моисею скрижали с десятью заповедями.

«Ешь ананасы...» (с. 97).— Рассказывая в статье «Только не воспоминания...» о том, как были сделаны эти строки, Маяковский пишет: «...петербургские газеты первых дней Октября писали, что матросы шли на Зимний, напевая какую-то песенку: Ешь ананасы... и т. д.»

Ода революции (с. 100).— *...Блаженный стропила соборовы тщетно возносит, пощаду моля...*— В дни боев с юнкерами в октябре 1917 года собор Василия Блаженного в Москве пострадал от артиллерийского обстрела. *«Слава». Хрипит в предсмертном рейсе.*— Военный корабль, команда которого героически сражалась с немецким флотом, выступившим в октябре 1917 года для захвата революционного Петрограда. Корабль затонул, подожженный немецкими снарядами. *Прикладами гонишь седых адмиралов...*— Имеются в виду волнения среди моряков-балтийцев в августе — сентябре 1917 года. Волнения зачастую сопровождались выступлениями против контрреволюционного командования.

Левый марш (с. 106).— Во время выступления в Доме комсомола Красной Пресни 25 марта 1930 года Маяковский рассказал об истории создания этого стихотворения: «Мне позвонили из бывшего гвардейского экипажа и потребовали, чтобы я приехал читать стихотворения, и вот я на извозчике написал «Левый марш». Конечно, я раньше заготовил отдельные строфы, а тут только объединил адресованные к матросам».

Потрясающие факты (с. 107).— Написано в связи с восстанием берлинских рабочих в январе 1919 года. Поэтическая мысль этого стихотворения представляет собой перифраз и своеобразное развитие применительно к возникшей исторической ситуации идеи, выраженной в первой строке «Коммунистического манифеста»: «Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма». *...где*

гудит союзное ржанье...— Имеется в виду военное совещание представителей союзных держав (Франции, Англии, США), проходившее в Париже по поводу подписания Версальского договора.

Мы идем (с. 109).— *Это революция и на Страстном монастыре начертила...*— Речь идет о революционных лозунгах, написанных на стенах Страстного монастыря в Москве, находившегося в те годы на Страстной площади (ныне — Пушкинская площадь).

Советская азбука (с. 110).— Об истории издания «Советской азбуки» Маяковский рассказал в одном из своих выступлений: «...Это очень интересная страница из истории нашей революционной поэзии... Она была написана для армейского употребления. ...никто не хотел эту книжку печатать. Типографии не было. Я нашел одну пустующую типографию... Рабочих не было, кто бы мог пустить в ход машину. Мне самому приходилось пускать ее в ход. Не было никого, кто бы принял уже напечатанные листы. У меня были приятели, с которыми я это сделал. Нужно было покрасить, не хватало краски, мы от руки три — пять тысяч раскрашивали и дальше весь этот груз на собственной спине разносили. Это по-настоящему ручная работа в пору самого зловещего окружения Советского Союза. Свою работу эта книжка сделала» (Выступление в Доме комсомола Красной Пресни 25 марта 1930 г.). *Вильсон* Вудро (1856—1924) — в те годы президент США, один из вдохновителей вооруженной интервенции против Советской России. *Фон дер Гольц* (1865—1930) — немецкий генерал, войска которого оккупировали Прибалтику. *Милюков* П. Н. (1859—1943) — лидер партии кадетов, один из активных деятелей контрреволюции. *Ллойд-Джордж* (1863—1945) — глава английской либеральной партии, в те годы премьер-министр Великобритании. *Носке* Густав (1868—1946) — правый социал-демократ. Будучи членом правительства Германии в годы после окончания первой мировой войны, «прославился» жестоким подавлением революционного восстания немецких моряков в Киле в 1918 году. *Сазонов* С. Д. (1860—1927) — царский дипломат, находясь после Октября 1917 года в эмиграции, «представлял» правительство Деникина. *Д'Аннунцио* Габриэле (1863—1938) — итальянский писатель, примкнувший впоследствии к фашистскому движению. В 1919 г. командовал отрядом, захватившим город Фиуме, на который по условиям перемирия претендовала Австрия. *Чалдон* (областн. выражение) — коренной житель Сибири. Маяковский употребляет это слово несколько в ином смысле, имея в виду сибирское кулачество, поддерживающее Колчака. *Шкуры* — словообразование от фамилии

белогвардейского генерала *Шкуро* А. Г. (1887—1947), пытавшегося взять Москву. *Колчак* А. В. (1874—1920) — царский генерал, руководитель контрреволюции в Сибири. *Юденич* Н. Н. (1862—1933) — царский генерал.

ОКНА САТИРЫ РОСТА

С осени 1919 года Маяковский работал в РОСТА (Российском телеграфном агентстве), выпускающем агитационные плакаты на злобу дня — «Окна РОСТА». Изготовляемые вручную, плакаты вывешивались в людных местах. Маяковский принимал в их выпуске активное участие — как художник и автор многих подписей к рисункам. Вместе с Маяковским в РОСТА работали художники М. М. Черемных, И. А. Малютин, А. М. Лавинский, Д. Моор (Д. С. Орлов) и др.

Владимир Ильич! (с. 118).— Написано в связи с пятидесятилетием со дня рождения В. И. Ленина.

Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче (с. 120).— Летом 1920 года Маяковский жил на даче в Пушкино. *Сиди, рисуй плакаты!*— См. примеч. к предыдущему разделу.

Сказка о дезертире, устроившемся недурненько, и о том, какая участь постигла его самого и семью шкуриика (с. 129).— *...чтоб вовеки не смел никакой Керзон...*— имеется в виду агрессивное выступление английского министра иностранных дел Керзона по поводу политики Советского государства.

Стихотворение о Мясницкой... (с. 150).— *Мясницкая* — улица в Москве, теперь улица Кирова. *Правдив и свободен мой вещий язык...* (и далее)— перефразированные строки из «Песни о вещем Олеге» А. С. Пушкина.

Приказ № 2 армии искусств (с. 152).— *Пентры* — художники (*фр.* peintres). *...футуристики, имажинистики, акмеистики...*— представители литературных группировок футуризма, имажинизма и акмеизма. *Пролеткультцы.*— В данном случае имеются в виду представители литературных объединений Пролеткульта.

Прозаседавшиеся (с. 154).— Стихотворение было высоко оценено В. И. Лениным. Выступая на заседании коммунистической фракции Всероссийского съезда металлистов 6 марта 1922 года с речью «О международном и внутреннем положении Совет-

ской республики», он сказал: «Вчера я случайно прочитал в «Известиях» стихотворение Маяковского на политическую тему. Я не принадлежу к поклонникам его поэтического таланта, хотя вполне признаю свою некомпетентность в этой области. Но давно я не испытывал такого удовольствия с точки зрения политической и административной. В своем стихотворении он вдрызг высмеивает заседания и издевается над коммунистами, что они все заседают и перезаседают. Не знаю, как насчет поэзии, а насчет политики ручаюсь, что это совершенно правильно» (Ленин В. И. Поли. собр. соч, т. 45, с. 13). *Тео* — Театральный отдел Главполитпросвета при Наркомпросе. *Гукон* — Главное управление коннозаводства при Наркомземе.

Сволочи! (с. 156).— Стихотворение написано в связи с голодом, охватившим из-за засухи и неурожая 1922 года ряд районов нашей страны. Это бедствие правящие круги капиталистических стран пытались использовать в целях подрыва Советской власти. В отличие от них прогрессивная общественность Запада проводила сборы средств в помощь голодающим. *Помгол* — Комиссия помощи голодающим, созданная ВЦИК в 1920 году. *Фритиоф Нансен* (1861—1930) — знаменитый исследователь Арктики; был одним из активнейших организаторов помощи голодающим. *Вечным Жидом.*— По средневековой легенде, Агасфер был обречен на вечное скитание за то, что отказался дать отдохнуть Христу, несущему крест. *«Ампир»* — ресторан в Москве.

Бюрократиада (с. 161).— *«Осади без трудовой!»* — речь идет о трудовой книжке, которая в те годы заменяла паспорт и удостоверение личности.

Моя речь на Генуэзской конференции (с. 166).— На международную экономическую конференцию, проходившую в Генуе в апреле—мае 1922 года, впервые была приглашена делегация Советской России. Империалистические государства пытались использовать конференцию для создания экономической зависимости нашей страны от Запада. В этих целях они пытались навязать Советскому государству кабальные условия соглашения, которые были отвергнуты советской делегацией, выдвинувшей со своей стороны ряд мирных предложений. *Чичерин* Г. В. (1872—1936) — народный комиссар иностранных дел, возглавлявший советскую делегацию в Генуе. *«Матэн»* — французская буржуазная газета. *«Таймс»* — английская газета консервативного направления. *Пуанкаре* Раймон (1860—1934) — буржуазный политический деятель, в течение ряда лет был президентом Франции. *Ллойд-Джордж* Дэвид (1863—1945) — буржуазный политический деятель, в течение ряда лет был премьер-министром Англии. Пуанка-

ре и Ллойд-Джордж были идейными вдохновителями и организаторами интервенции против Советской России. Оба — глашатаи политики экономического удушения Советского государства. *Слышите из Берлина первый шаг трех Интернационалов?* — Речь идет о конференции (1922), в которой принимали участие представители Исполкомов Коминтерна и оппортунистических 2-го и так называемого 2 ½-го Интернационалов. Цель конференции заключалась в поисках путей к достижению единства действий рабочего класса.

Германия (с. 168).— Написано в результате поездки Маяковского в Германию осенью 1922 года. *Рапалло.*— Договор об установлении дипломатических отношений между Советской Россией и Германией, подписанный в апреле 1922 года в Рапалло (Италия). *...шел Керенский в орудийном гуле.*— Имеется в виду наступление русских войск на русско-германском фронте, начатое по приказу Керенского в июне 1917 года. *Стиннес* Гуго (1870—1924) — могущественный капиталист Германии. *Шибер* — спекулянт. *Норден* — рабочие кварталы Берлина.

О поэтах (с. 171).—...о *«прожигании глаголами сердец людей»* — перефразировка строки из стихотворения А. С. Пушкина «Пророк» «Глаголом жги сердца людей». *Анатолия Васильича* — А. В. Луначарский (1875—1933) — первый народный комиссар просвещения. *Семашко* Н. А. (1874—1949) — первый народный комиссар здравоохранения.

О «фиасках», «апогеях» и других неведомых вещах (с. 174).— *На съезде печати...*— Имеется в виду выступление М. И. Калинина на IV Всероссийском съезде работников печати 7 февраля 1923 года. *Рур* — основной район каменноугольной, тяжелой и военной промышленности Западной Германии, являвшийся в годы первой мировой войны и после нее предметом ожесточенной борьбы капиталистических стран. В январе 1923 года французская армия оккупировала Рурскую область.

Париж (с. 176).— Написано в результате поездки в Париж осенью 1922 г.

Газетный день (с. 180).— *...весь народ, который не поместился под башню Сухареву...*— На территории нынешней Колхозной площади в Москве в те годы находилась Сухарева башня, вокруг которой располагался большой рынок. *«Это я — настоящий Бим-Бом!»* — Имеется в виду реальный факт: Б. Афанасьев, импресарио цирковых артистов Бим-Бом, поместил в газете «Известия» объявление, в котором сообщал, что выступающие в Москве под этим именем клоуны — самозванцы, а настоящие Бим-Бом гастролируют на Кавказе и в Крыму. *Чжан Цзо-лин* (1876—1928)— китайский генерал, фактический правитель Маньчжурии. *Гаолян* —

разновидность проса, распространенная в Китае и прилегающих к нему областях.

Универсальный ответ (с. 191).— Стихотворение явилось откликом на ноту английского правительства от 8 мая 1923 года («Ультиматум Керзона»).

Воровский (с. 193).— Стихотворение написано в связи с убийством в Лозанне 10 мая 1923 года В. В. Воровского (род. в 1871 г.), в то время — советского полпреда в Италии.

Баку (с. 194).— *Балаханы* — пригород Баку, где находится часть нефтяных промыслов.

Нордерней (с. 197).— *Нордерней* — курортное место, остров у северо-западного побережья Германии. *Табльдот* — общий обед в гостиницах. *Обер* — обер-кельнер *(нем.)* — старший официант.

Москва — Кенигсберг (с. 199).— *Тверская* — улица в Москве, ныне — улица Горького. *Брик* — Л. Ю. Брик. *Ньюбольд* Д. И.— английский коммунист, участник пленума Исполкома Коминтерна, проходившего летом 1923 года в Москве. Л. Ю. Брик и Ньюбольд летели с Маяковским в одном самолете. *Ходынка* — Ходынское поле — название места в Москве, рядом с которым находились аэродром и красноармейские лагеря. *Уточкин* С. И. (1876—1916) — русский спортсмен и летчик, во время одного из полетов потерпел аварию и получил увечья. *Горро* — французский летчик-спортсмен, установивший несколько рекордов дальности полета. *«Гном»* — марка мотора. *Юнкерс и Дукс* — немецкие авиационные фирмы.

Киев (с. 203).— *Перун* — одно из главных божеств у восточных славян. *Дир и Аскольд* — киевские князья IX века. *Плеть креста сжимает каменный святой.*— Речь идет о памятнике Великому князю Киевскому Владимиру, крестившему Русь. Установлен на Владимирской горке и изображает князя несущим большой крест. *Подол* — промышленный район Киева. *...земной Владимир...*— В. И. Ленин.

Ух, и веселой (с. 206). *Брынским лесам* — упоминаемые в русских былинах леса на берегах реки Брынь.

Юбилейное (с. 215).— Стихотворение написано в связи со 125-летием со дня рождения А. С. Пушкина, отмечавшимся 6 июня 1924 года. *Навуходоносором библейцем...*— В Библии упоминается вавилонский царь Навуходоносор II. *Синемордое ... «Коопсах»* — эмблема «Коопсаха» (Кооператива сахарной промышленности) — на синем фоне изображены оранжевые лучи, между которы-

ми красовалась сахарная голова. *Дорогойченко* А. Я. (1894—1947), *Герасимов* М. П. (1889—1939), *Кириллов* В. Т. (1889—1943), *Родов* С. А. (1893—1968) — поэты, современники Маяковского. *Однаробразный* — неологизм Маяковского, сочетание слов «однообразный» и «иаробраз» (отдел народного образования). *Леф* — см. с. 738. *На Тверском бульваре очень к вам привыкли.*— Памятник Пушкину в Москве стоял в те годы у начала Тверского бульвара.

Владикавказ—Тифлис (с. 233). *Архалух* — кавказская одежда. *Карабах* — в данном случае порода кавказских лошадей. *Ройльс* («роллс-ройс») — марка знаменитых английских автомобилей. *Мститель Арсен* — участник революции 1905 года Арсен Джорджнашвили (1881—1906); за убийство генерала Грязнова в 1906 году был казнен. *Алиханов* — см. с. 735.

Тамара и Демон (с. 238).— *...преду искусств — Петру Семеныч Когану.*— П. С. Коган (1872—1932) — критик и историк литературы, возглавлял Государственную Академию художественных наук. *«Красная нива»* — популярный литературно-художественный и общественно-политический журнал. *...про это пишет себе Пастернак.*— В книге Б. Л. Пастернака «Сестра моя жизнь» (М., 1922), посвященной Лермонтову, есть стихотворение «Памяти Демона».

ПАРИЖ

В ноябре—декабре 1924 года Маяковский побывал во Франции. Под впечатлением этой поездки был написан цикл стихов о Париже.

Еду (с. 250).— *...площадь и та Этуаль.*— Этуаль по-французски — звезда.

Город (с. 252).— *Эррио* Эдуард (1872—1957) — в 1924—1925 гг. возглавлял правительство Франции. *Попутчик* — «попутчиками» называли в 20-е годы писателей, вышедших не из пролетарской среды, но принявших революцию. В условиях идейно-эстетической борьбы и литературной полемики того времени термин «попутчик» зачастую употреблялся весьма произвольно. *Елисейские поля* — улица в Париже. *Вандомская колонна* — установлена на Вандомской площади в Париже в честь Наполеона I.

Верлен и Сезан (с. 255).— *Верлен* Поль (1844—1896)— французский поэт. *Сезанн* Поль (1839—1906) — французский художник. *Виардо*-Гарсиа Полина (1821—1910) — французская пе-

вица, близкий друг И. С. Тургенева. *ГУС* — Государственный ученый совет Народного комиссариата просвещения РСФСР. *Вардин* (Мгеладзе) И. В. — литературный критик, один из руководителей РАППа. *АХРР* — Ассоциация художников революционной России. *«Ротонда»* — кафе в Париже.

Notre-Dame (с. 261).— *Блаженного Васьки* — церковь Василия Блаженного в Москве. *«Знак Зоро»* — американская кинокартина.

Версаль (с. 264).— *Капет.*— Имеется в виду Людовик XVI, свергнутый с престола в 1792 г. Маркиза де *Помпадур* — фаворитка Людовика XV. *Большой Трианон, Малый Трианон* — названия дворцов в Версале. *Мария-Антуанетта* — французская королева, жена Людовика XVI; как и он, казнена революционным народом в 1793 г. *Санкюлоты* — название революционеров во времена французской буржуазной революции XVIII в.

Жорес (с. 267).— *Жорес* Жан (1859—1914) — видный деятель французской социал-демократии. В 1914 году был убит шовинистом Вилленом. 13 ноября 1924 года прах Жореса был перенесен в Пантеон.

Прощание (Кафе) (с. 270).— *...на кулиджиевской тете...*— Кулидж Калвин (1872—1933) — президент США в 1923—1929 гг.

СТИХИ ОБ АМЕРИКЕ

В 1925 году, после кратковременного пребывания в Париже, Маяковский на пароходе отправился в Мексику. Прожив там некоторое время, получил визу в США, где за три месяца посетил ряд крупнейших городов. По впечатлениям этого путешествия был написан в течение 1925—1926 годов цикл стихов. О многих именах, фактах, событиях, получивших отражение в этих стихах, говорится также в очерках «Мое открытие Америки», написанных в это время.

6 монахинь (с. 275).— *...медали со Львом и с Пием.*— Имеются в виду медали с изображением римских пап Льва XIII и Пия IX.

Атлантический океан (с. 278).— *Европа скрылась, мельчась.*— Здесь говорится об отплытии из испанского порта Ла-Корунья.

Мелкая философия на глубоких местах (с. 282).— *Стеклов* Ю. М. (1873—1941) — первый редактор газеты «Известия ЦИК», регулярно выступавший с длинными передовыми статьями, которые Маяковский называл «стекловицами».

Блек энд уайт (с. 284) — черное и белое *(англ.)*. *Фламинго* — название птицы. *Коларио* — гаваиские цветы *. *Ведадо* — загородный квартал богачей*. *«Энри Клей энд Бок лимитед» (англ.)* — иазваиие табачной фирмы. *Прадо* — главная улица Гаваны *. *Масео* Антоиио (1845—1896) — одии из руководителей иациоиальио-освободительиой борьбы кубиискоro народа. *Ай бэг ёр пардон* — прошу прощения *(англ.)*.

Христофор Коломб (с. 293).— *Сион*—священиая гора в Иерусалиме, столице древиееврейского государства. *Флорины и пезеты* — флореитийские и испаиские монеты. *Жижон* — фраицузское название испанского порта Хихои. *...пучки травы волокли.*— Саргассово море изобилует плавучими водорослями. *Сан-Сальвадор* — остров в Саргассовом море, который, как предполагают, был первым островом, открытым Колумбом. *...фокус со знаменитым колумбовым яйцом.*— По преданию, Колумб сумел поставить яйцо, иадколов его снизу. *«Мажестик»* — иазваиие одиого из крупнейших морских кораблей.

Тропики (с. 300).— *Вера-Круц* (Веракрус) — порт на мексиканском берегу. *Мехико-Сити* — столица Мексики. *Шантеклер* (фр.) — петух.

Мексика (с. 301). — *...гачупины с гринго.* — Гачупины, гриигo — распространениое в Мексике иазвание испанцев и американцев. *Кактусовый пульке* — полуводка *. *Моктецума* — последиий индейский царь, предавший иитересы своего народа. *Гватемок* — вождь ацтеков, иидейской народиости. *...чехарда всех втих Хуэрт и Диэцов...*— Имеется в виду частая смеиа правительства. *Сарапе* — иазваиие иациоиальиой одежды. *Гваделупа* — знаменитая католическая святыия в Мексике. *Чапультапек* — сад в Мехико. *Запата* (Сапата) Эмилиано (1879—1919) — одии из вождей мексиканского революциоииого движеиия; был расстреляи. *Гальван, Марено, Карио* — коммуиисты Мексики *. *...над мексиканским арбузом...*— Цвета мексиканского знамеии — цвета арбуза: зелеиый, белый, красиый *.

Мексика — Нью-Йорк (с. 312).— *Ларедо* — город иа границе Мексики и США, разделеиный рекой иа две части — американскую и мексиканскую. *«Твенти сенчери экспресс»* («Двадцатый век») — иазвание поезда. *Рапид* — скорый поезд.

Бродвей (с. 314). *Чуингам* — жвачка, которую жует вся Америка *. *«Мек моней?»* — «Делаешь деньги?» — вместо приве-

---

* Это и последующие примечаиия, отмеченные звездочкой, сделаны самим Маяковским в первой публикации в книге «Испаиия. Океан...».

та *. *Бизнес* — дело *. *Собвей* — подземная городсквя железная дорогв *. *Элевейтер* — воздушиая городская железная дорога *. *Гудзон* — река, у устья которой расположеи Нью-Йорк. «*Кофе Максвел гуд ту ди ласт дроп*» — реклама Нью-Йорка: «Кофе Максвел хорош до последней капли» *. *Гау ду ю ду* — прнвет при встрече *.

Свидетельствую (с. 316).— «*Пенсильвэниа Стéйшен*» — вокзал в Нью-Йорке. *Кулидж* Калвнн — см. с. 747.

Барышня и Вульворт (с. 319).— *Вульворт*—иебоскреб в Нью-Йорке. *Тайпистки*—машиинсткн. «*Дрóгс сóда, грет энд фéймус кóмпани-нéйшенал*» — «Великвя н вниаменнтая нацнональиая компания шипучих напнтков» — иазваиие парфюмериого магазнив, при котором всегда имеется стойка для питья вод и еды мороженого*. *Волстрит* — улица баиков в Нью-Йорке *.

Порядочный грвждаинн (с. 325).— «*Бусы*» — автобусы. *Куни-Айланд* — остров увеселенн в Нью-Йорке. *Плаза* — иазваиие роскошной гостиницы в Нью-Йорке. *Менаджер* — организатор. *Поп Платон*.— Митрополит Платон Рождественский; был в те годы главой православиой церкви в США. *Клоб* — палка.

Вызов (с. 328).— *Риверсайд* — рвйои Нью-Йорка. *Ник Картер* — персоиаж детектнвной литературы. *Прогибишен* (англ.)— запрещеине, здесь: «сухой закон». «*Белая лошадь*» — сорт внскн.

100% (с. 330).— *Шеры* — вкцин.

Американские русские (с. 333). По свндетельству организаторв выступлеиий Маяковского в СССР П. И. Лавута, поэт перед чтеиием этого стнхотворения обычио рассказывал: «Все языки в Америке перемешались. Нвпример, внглийский поннмают все, кроме аигличаи. Русские ивзывают трамвай — стрнткарой, угол — кориером, квартал — блоком... Еврей прибавляет к английскому и русскому еще некоторые слова». (Лавут П. И. «Маяковскнй едет по Союзу»). *Апойнтман* — свиданне *. *Апáртман* — квартира *. *Блок* — квартал *. *Стриткара* — трамвай *. *Трен* — поезд *. *Тикет* — билет *. *Корнер* — угол *. *Бутлегер* — торговец спнртом *. *Бордер* — квартнраит *. *Джаб* — работа *. *Офис* — место службы *.

Бруклинский мост (с. 335).— Бруклиискнй мост в Нью-Йорке — один из крупиейших подвесиых мостов мнра. *Юнайтед стетс оф Америка* — Соединиеиные Штвты Америки. *Манхетен* (Манхеттеи) — остров, иа котором расположеиа центральиая часть Нью-Йорка.

Кемп «Нит гедайге» (с. 339).— *Кемп* — лвгерь (англ.); «*Нит гедайге*» — «Не уиывай» (еврейск.) — иазвание летнего

рабочего поселка, организованного под Нью-Йорком еврейской комгазетой «Фрайгайт» *. *М. К. Х.*— Московский отдел коммунального хозяйства.

Сергею Есенину (с. 345).— Написано в связи со смертью С. А. Есенина (род. в 1895 г.), покончившего жизнь самоубийством 27 декабря 1925 г. ...*приставить бы кого из напостов.*— Напостовцы — литераторы, группировавшиеся вокруг журнала «На посту» — руководящего органа Российской ассоциации пролетарских писателей (РАПП). Напостовцы считали себя выразителями партийной точки зрения на литературу, хотя в их взглядах на литературный процесс было немало упрощенного и ошибочного. Вопреки указаниям партии относительно тактичного отношения к литературным объединениям, не входящим в РАПП, но близким Советской власти, они позволяли себе применять к различным группировкам и писателям командный тон. *Доронин* И. И. (1900—1978) — советский поэт; его поэму «Тракторный пахарь» Маяковский критиковал за длину и «однообразие... словесного и рифменного пейзажа». «*Англетер*» — гостиница в Ленинграде, в которой Есенин покончил с собой. «*Ни слова, о друг мой, ни вздоха*» — романс П. И. Чайковского на слова А. Н Плещеева. *Эх, поговорить бы иначе с этим самым с Леонидом Лоэнгринычем!* — Партия Лоэнгрина из одноименной оперы Вагнера считалась одной из лучших ролей Леонида Витальевича Собинова. *Коган* П. С.— критик и историк литературы, автор статей о Есенине. Здесь — собирательный образ. *В этой жизни помереть не трудно...*— перефразировка строк предсмертного стихотворения С. Есенина.

Марксизм — оружие, огнестрельный метод. Применяй умеючи метод этот! (с. 350).— *Штыками двух столетий стык закрепляет рабочая рать.*— В декабре 1925 года исполнилось сто лет со дня восстания декабристов. ...*милюковски юля...*— П. Н. Милюков (1859—1943) — глава партии кадетов, в целях защиты интересов буржуазии зачастую лавировавший между различными группировками своей партии. *Лежнев* А. З. (1893—1938), *Вешнев* В. Г. (1881—1932) — советские критики и литературоведы, принадлежавшие к группировкам с разной идейно-художественной ориентацией.

Четырехтажная халтура (с. 354).— *В Африки, вослед за Бенуями...*— Действие ряда произведений французского писателя Пьера Бенуа (1886—1962) происходит в экзотических странах. *Званье — «пролетарские» — нося как эполеты...*— Часть руко-

водства РАППа неверно понимала свою роль в литературном процессе. Считая себя чуть ли не единственными выразителями пролетарской идеологии, они противопоставляя себя другим советским литераторам. *Попутчики* — см. с. 746. *Радимов* П. А. (1887—1967), *Лидин* В. Г. (1894—1979), *Казин* В. В. (1898—1980), *Санников* Г. А. (1899—1969) — советские писатели.

Разговор с фининспектором о поэзии (с. 357).— О мотивах, побудивших его взяться за эту тему, Маяковский рассказал в статье «А что вы пишете?»: «Качество писательской продукции (в связи с этим и положение писателя в вашем советском обществе) чрезвычайно пошатнулось, понизилось, дискредитировалось. Здесь были и объективные причины временного понижения — многолетняя работа от срочного задания к срочному заданию, отсутствие времени на продумывание формальной стороны работы... Значительно хуже — субъективные причины понижения качества. Это писательская бессовестная, разухабистая халтурщина... Ощущению квалификации посвящено мое главное стихотворение последних недель — «Разговор с фининспектором о поэзии...». *...за неподачу деклараций.*— Люди «свободных профессий», торговцы, частники и т. п. должны были ежегодно подавать заявления (декларации) в Мосфинотдел о своих доходах за год. Уклонившиеся от подачи деклараций штрафовались. *...багдадские небеса...*— Багдади (ныне Маяковски) в Грузии — родина поэта.

Взяточники (с. 368).—*Тантьема* — одна из форм награждения высших служащих предприятия, выдававшаяся обычно из прибылей.

В повестку дня (с. 372).— *Трехгорное* — марка пива.

Товарищу Нетте — пароходу и человеку (с. 390).—Чтение этого стихотворения на вечерах Маяковский обычно предварял рассказом: «Нетте — наш дипломатический курьер в Латвии. Погиб при исполнении служебных обязанностей, отстреливаясь от нападавших на него контрразведчиков в поезде на латвийской территории... Я хорошо знал товарища Нетте. Это был коренастый латыш с приятной улыбкой, в больших роговых очках. Я встречался с ним много раз... Здесь... встречается фамилия Якобсон Ромка — ну, это наш общий знакомый... В Ростове, на улице я услышал — газетчики кричат: «Покушение на наших дипкурьеров Нетте и Махмастля». Остолбенел. Это была моя первая встреча с Нетте уже после его смерти. Вскоре первая боль улеглась. Я попадаю в Одессу. Пароходом направляюсь в Ялту. Когда наш пароход покидал гавань, навстречу шел другой пароход, и на нем золотыми буквами, освещенными солнцем, два слова: «Теодор

Нетте». Это была моя вторая встреча с Нетте, но уже не с человеком, а с пароходом» (Лавут П. И. «Маяковский едет по Союзу», М., 1963, стр. 31—32). *Нетте* Т. И. (род. в 1896 г.) погиб 5 февраля 1926 г.

Канцелярские привычки (с. 394). *Рыков* А. И. (1881—1938) — в те годы председатель Совета народных комиссаров СССР. Впоследствии был исключен из партии за антипартийную деятельность.

Хулиган («Республика наша в опасности...») (с. 397).— *...рыло мандрилье...*— Мандрил — порода обезьян.

Письмо писателя Владимира Маяковского писателю Алексею Максимовичу Горькому (с. 404).— *...между нами что-то вышло вроде драки или ссоры.*— Дружеские отношения Маяковского и Горького, возникшие после их знакомства в 1915 году, спустя несколько лет были нарушены. *...взяли Вас международные рессоры.*— В 1921 году Горький уехал за границу лечиться. *Продают «Цемент» со всех лотков.*— Изданный в 1925 году роман Ф. В. Гладкова обратил на себя внимание читателей и критики. Маяковский, как свидетельствует его статья «Подождем обвинять поэтов», относился к этой книге довольно отрицательно. *...говорят, что Вы открыли мощи этого... Калинникова.*— Речь идет о И. Ф. Калинникове, авторе полупорнографического романа «Мощи». *Шенгели* Г. А. (1894—1956) — переводчик и литературовед, автор брошюры «Как писать статьи, стихи и рассказы», к которой Маяковский относился резко отрицательно. *Или жить Вам, как живет Шаляпин...*— Выдающийся русский певец Ф. И. Шаляпин уехал в 1922 году за границу на гастроли и не вернулся.

Долг Украине (с. 409).— *Знаете ли вы украинскую ночь?..*— Цитата из повести Н. В. Гоголя «Майская ночь». *Дуглас Фербенкс* (1883—1939) — популярный американский киноартист. *«Чуешь, сурмы заграли...»* — первые строки припева «Интернационала» на украинском языке.

Наше новогодие (с. 424).— *А для нас новогодие — подступ к празднованию Октября.*— Поэт имеет в виду приближающийся десятилетний юбилей Великой Октябрьской социалистической революции. *...переписью переписан...*— В декабре 1926 года в СССР происходила первая после революции перепись населения.

Стабилизация быта (с. 427).— *«Медвежья свадьба»* — популярная в те годы кинокартина, главную роль в которой исполнял К. В. Эггерт.

По городам Союза (с. 437).— *Обдорская темь.*— Имеется в виду пустынный Обдорскнй край в низовьях Оби. *...сиянье Кашир.*— Имеется в внду Каширская электростанцня. ВАПП — Всесоюзная Ассоциацня пролетарских писателей. *...о великом своем гражданине.*— О В. И. Ленине.

Моя речь на показательном процессе по случаю возможного скаидала с лекциями профессора Шенгели (с. 440).— *Хоть я и слыхал про суровый закон...*— Имеется в виду декрет СНК СССР «О мероприятнях по борьбе с хулиганством», принятый 29 октября 1926 года. *Крыленко* Н. В. (1885—1938) — в те годы заместитель иародного комиссара юстицни.

«Даешь изячиую жизиь» (с. 447). *Милюков* П. Н.— см. с. 741.

Осторожиый марш (с. 462). Стихотворение написано в связн с разрывом дипломатических отиошеннй между СССР н Англией, чему предшествовал ряд провокационных действнй со стороны англнйского правительства.

Венера Милосская н Вячеслав Полоискнй (с. 464).— Стихотворение написано в связи с полемнкой, развернувшейся между критиком В. П. Полоиским (1886—1932) н журиалом «Новый Леф». *Радимов* П. А.— советский поэт и художнпк, пытался писать стихи о деревеиской жизни гекзаметром. *Кук* — туристическое агентство.

Господии «народиый артист» (с. 468). *С барина с белого сорвите, наркомпросцы, народного артиста красный венок!*— В 1927 году Ф. И. Шаляпии, уехавший в 1922 году за граиицу, был лишеи звання иародного артиста республики.

Крым («Хожу, гляжу в окно ли я...») (с. 475).— *Чаир* — место в Крыму, где Маяковский жил в августе 1926 года.

Товарищ Иваиов (с. 476).— *Консистория* — учреждение, управляющее делами церкви.

Посмотрим сами, покажем им (с. 478).— Стнхотворенне написано в связи с проводимой в стране «Неделей обороны». *Чемберлен* Остин (1863—1937) — мииистр иностраиных дел Англии в 1924—1929 гг.

Иван Иваиович Гоиорарчиков (с. 480). *Лебедев-Полянский* П. И. (1881—1948)—критик и исторнк лнтературы, в то время возглавлял Главлит (Главное упраялеиие по делам литературы и издательств).

Маруся отравилась (с. 485).— *Гарри Пиль* — популярный в те годы немецкий киноактер.

Письмо к любимой Молчанова, брошенной им (с. 492).—Написано как ответ на стихотворение И. Н. Молчанова (1903—1984) «Свидание». Обращаясь к героине этого стихотворения, Маяковский иронически пересказывает или цитирует молчановские строки.

«Массам непонятно» (с. 495).— *...посредников кроет Асеев...*— Имеется в виду стихотворение Н. Н. Асеева «Через головы критиков» (сб. «Изморозь», 1927).

Размышления о Молчанове Иване и о поэзии (с. 499).— Стихотворение является ответом на стихотворение И. Н. Молчанова «У обрыва» и продолжает полемику, начатую Маяковским ранее, по поводу стихотворения этого поэта «Свидание».

Екатеринбург — Свердловск (с. 500).—Город Екатеринбург, основанный в начале XVIII века и названный в честь жены Петра Великого (впоследствии императрицы Екатерины Первой), был в 1924 г. переименован и назван Свердловском— в память Я. М. Свердлова. *Пепеляев* В. Н. (1884—1920) — министр внутренних дел в белогвардейском правительстве Колчака. *Гайда* Рудольф — руководитель мятежа, поднятого в 1918 году в Поволжье и Сибири частями чехословацкого корпуса военнопленных. *Верховный Колчак* — царский адмирал, глава контрреволюции в Сибири.

Десятилетняя песня (с. 506).— *Дрянь адмиральская...*—то есть Колчак. *Хрустнул, проломанный, Крыма хребет.*— После штурма советскими войсками сильно укрепленных позиций Врангеля на Перекопском перешейке (ноябрь 1920) Крым был освобожден от белогвардейских войск.

Нагрузка по макушку (с. 508).— *НОТ* — научная организация труда. *Керженцев* П. М. (Лебедев) (1881—1940) — политический деятель и литератор, в 1919—1921 годах руководитель РОСТА. *Гастев* А. К. (1882—1941) — поэт и деятель Пролеткульта, энтузиаст идеи НОТ, возглавлял Центральный институт труда.

Служака (с. 513).— *МОПР* — Международное общество помощи борцам революции. *МКК* — Московская контрольная комиссия.

Казань (с. 523).— *«Шурум... бурум».*— Так в дореволюционной России кричали, привлекая к себе внимание, старьевщики, ходившие по дворам и скупавшие старую одежду. Среди них было много казанских татар.

Стих не про дряиь, а про дрянцо. Дрянцо хлещите рифм концом (с. 532).—*Допр* — дом предварительного заключения.

Плюшкин (с. 538).— *Гросс* — дюжина дюжин, единица счета мелких товаров. *Никиш* Артур (1855—1922) — знаменитый венгерский дирижер.

Халтурщик (с. 541). — *«Жизнь за царя»* — другое название оперы М. И. Глинки «Иван Сусанин», на которое автор под давлением придворных кругов и официальных властей вынужден был согласиться. *Воронов* С. А. (1866—1951) — известный хирург, занимавшийся проблемой омоложения.

Галопщик по писателям (с. 545).— Стихотворение написано в ответ на статью критика Д. Тальникова по поводу цикла американских стихов Маяковского, выдержанную в развязном, грубо-оскорбительном тоне. Игорь *Северянин* (псевд. И. В. Лотарева, 1887—1941) — русский поэт. С 1918 по 1940 г. находился в эмиграции. Умер в СССР. *Бальмонт* К. Д. (1867—1942) — русский поэт. Умер в эмиграции.

Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви (с. 562).— *Костров* Тарас (А. С. Мартыновский, 1901—1930) — критик и публицист, в те годы редактор газеты «Комсомольская правда». В 1928 г. одновременно был редактором журнала «Молодая гвардия», где было напечатано стихотворение.

Письмо Татьяне Яковлевой (с. 567).— *Яковлева* Т. А. (род. в 1906), к которой обращено стихотворение, с 1925 года жила за границей, во Франции, куда уехала по вызову своего отца. Маяковский познакомился с ней в 1928 году в Париже.

Разговор с товарищем Лениным (с. 575).— Написано в связи с пятой годовщиной со дня смерти В. И. Ленина.

Кандидат из партии (с. 584).— Стихотворение написано в связи с развернувшейся в соответствии с постановлением XVI конференции ВКП(б) «чисткой» партийных кадров, цель которой состояла в освобождении партийных рядов от людей, недостойных быть членами и кандидатами в члены ВКП(б).

Вонзай самокритику! (с. 585).— Стихотворение написано к годовщине обращения ЦК ВКП(б) от 3 июля 1928 года «Ко всем членам партии, ко всем рабочим», в котором содержался призыв всемерно развивать критику и самокритику. *«Гигант»* — совхоз на северном Кавказе. *...то ляпнет нам пятно Смоленск, то ляпнут астраханцы.*— Имеются в виду факты разложения среди руководящих работников Смоленска и Астрахани, получившие широкое освещение в печати.

На Западе все спокойно (с. 587).— Стихотворение написано к международному антивоенному дню 1 августа.

Красавицы (с. 593).— *...убиганятся...*— Образовано от названия французской парфюмерной фирмы «Убиган». *Рефы* — участники литературной группы «Реф» (Революционный фронт искусств), организованной Маяковским в 1929 г.

Американцы удивляются (с. 597).— Стихотворение написано в связи с завершением первого года первой пятилетки.

Птичка божия (с. 601).— *...сконапель ля поэзи* — ce qu'on appele la poésie *(фр.)* — то, что называют поэзией.

Стихи о Фоме (с. 604).— *Фома* неверующий — выражение связано с евангельским преданием об апостоле Фоме, не поверившем в воскресение Христа.

Рассказ Хренова о Кузнецкстрое и о людях Кузнецка (с. 608).—*Хренов* У. П.— знакомый Маяковского, был участником строительства Кузнецкого металлургического комбината.

МОЕ ОТКРЫТИЕ АМЕРИКИ

Наряду с циклом стихов, созданных Маяковским по впечатлениям поездки в США, им была написана книга очерков «Мое открытие Америки». К работе над ней поэт приступил еще во время путешествия. Книга была закончена после возвращения Маяковского в Москву и в августе 1926 года вышла отдельным изданием.

Балиев Н. Ф. (1877—1936) — основатель и руководитель московского театра «Летучая мышь», в 20-х годах эмигрировал за границу. *Маджонг* — китайская игра, напоминающая домино. *Тревые Соединенные Штаты.*— Имеется в виду запрещение в Америке торговли спиртными напитками. *...бесчисленных Гомецов и Лопецов.*— Гомец и Лопец — широко распространенные в Мексике фамилии. *«Ду ю спик инглиш?» (англ.)* — «Говорите ли вы по-английски?»; *«Парлата вспаньола?»* — искаженная испанская фраза «Говорите ли вы по-испански?»; *«Парле ву франсе?» (фр.)* — «Говорите ли вы по-французски?». *«Ай эм ре́ша»* (по-английски— правильно «Ай эм рашен») — «Я русский!». *Диего де-Ривера* (1886—1957) — выдающийся мексиканский художник. *Хулио Хуренито* — главный персонаж романа И. Г. Эренбурга «Необычайные похождения Хулио Хуренито и его учеников» (1922). *Гвадалахара* — город на юго-востоке Мексики. *Крестинтерн* — Крестьянский Интернационал, существовавшая в то время междунарол-

ная организация. *Вапповцы* — ВАПП — см. с.. 753. *Мапповцы* — МАПП — Московская Ассоциация пролетарских писателей. *Вержé* — сорт дорогой бумаги. *Павлова* Анна Павловна (1881—1931) — выдающаяся русская балерина. С 1914 года жила за границей. *Итурбиде* Агустин (1783—1824) — политический деятель Мексики, объявивший себя императором и год спустя свергнутый с престола. *Сухаревка* — см. с. 744. *Боливар* Симон (1783—1830) — один из героев национально-освободительного движения в Южной Америке. *...нашего грузового полка.*— Полок — телега для перевозки больших грузов. *Гомперс* Сэмюэль — реакционный профсоюзный деятель США, долгие годы возглавлял Американскую федерацию труда (АФТ). *Хайкис* — работник советского представительства в Мексике. *Бон гарсон (фр.)* — хороший парень. *Одоль* — марка зубного порошка. *Шенандоу* — американский дирижабль, потерпевший во время урагана катастрофу. *Русская Канада.*— Имеется в виду, что в Канаде проживает много выходцев из России. *...с войны за освобождение* — войны США с Англией за независимость (1775—1783). *Ай-добль-добль-ю (англ.* I. W. W.) — сокращенное название профсоюзной организации «Индустриальные рабочие мира». *Файф-о-клок (англ.)* — в соответствии с английской традицией чаепитие в 5 часов вечера. *Атабой* — от английского выражения «That's a boy» — «Вот это парень!» *Линкольн* Авраам (1809—1865) — выдающийся политический деятель США. *...пакеновскими... анановскими...*— Пакен и Анан — владельцы роскошных ателье одежды и обуви в Париже. *Обезьяний процесс.*— Имеется в виду сфабрикованный в 1925 году судебный процесс против американского учителя Скопса, который пытался ввести преподавание дарвинизма в школе. *Тридцать лет назад В. Г. Короленко...*— Маяковский неточно цитирует его повесть «Без языка». *Лет пятнадцать назад Максим Горький...*— Маяковский цитирует «Город Желтого Дьявола» Горького, побывавшего в США в 1906 году. *Дело Ванцетти.*— Ваицетти Бартоломео и Сакко Никкола — американские революционные рабочие, приговоренные в 1920 году к смертной казни по ложному обвинению в убийстве. Несмотря на протесты мировой общественности, они были казнены в 1927 году после длительного тюремного заключения. *Сто тысяч масонов...*— Масонство — религиозно-этическое движение, распространившееся, начиная с XVIII века, во многих странах мира. *Шавли.*— Имеется в виду Шяуляй, в те годы местечко на территории Литвы (ныне — большой город в Литовской ССР). *Язык Вавилонского столпотворения...*— По библейской легенде, в сооружении вавилонской башни принимали участие разные народы. Бог, решив наказать строителей, дерз-

нувших возвести башню до неба, «смешал» языки, и люди перестали понимать друг друга. *Ник Картер* — герой-сыщик из детективной литературы. *Кулешов* Л. В. (1899—1970) — советский режиссер и теоретик кино. *Карнеги* Эндрю (1836—1919) — американский миллиардер, меценат, имя которого носит научно-исследовательский институт в Питсбурге — «Институт Карнеги». *Пресловутая Кирилица* — жена Кирилла Романова, одного из претендентов на русский престол после казни Николая II. *«Принц» Борис* — брат Кирилла. *Родченко* А. М. (1891—1956) — советский художник, мастер фотомонтажа, друг Маяковского. *Его книга...* — Речь идет о книге Г. Форда «Моя работа и жизнь». *Френчлайн (англ.)* — французская пароходная линия. *Регардэ (фр.)* — смотрите. *Фордзон* — тракторы американской фирмы «Форд и сын» («Ford and son»). *Амторг* — акционерное общество, осуществлявшее в то время торговые операции между СССР и США.

А. Ушаков

СОДЕРЖАНИЕ

А. Метченко. Слово о Маяковском 5

Я САМ 23

СТИХОТВОРЕНИЯ

Ночь 43
Утро 43
Порт 44
Из улицы в улицу 45
А вы могли бы? 46
Вывескам 46
Я 47
От усталости 49
Адище города 50
Нате! 50
Ничего не понимают 51
Кофта фата 51
Послушайте! 52
А все-таки 53
Война объявлена 53
Мама и убитый немцами вечер 54
Скрипка и немножко нервно 56
Я и Наполеон 57
Вам! 59

Гимн судье 60
Гимн ученому 61
Военно-морская любовь 62
Гимн здоровью 63
Гимн критику 63
Гимн обеду 65
Вот так я сделался собакой 66
Великолепные нелепости 67
Гимн взятке 68
Внимательное отношение к взяточникам 69
Чудовищные похороны 70
Эй! 72
Ко всему 73
Лиличка! 77
Надоело 79
Дешевая распродажа 81
Хвои 82
Себе, любимому, посвящает эти строки автор 84
Последняя петербургская сказка 86
России 87
Братья писатели 88
Революция 90
Сказка о красной шапочке 96
К ответу! 96
«Ешь ананасы, рябчиков жуй...» 97
Наш марш 98
Хорошее отношение к лошадям 98
Ода революции 100
Приказ по армии искусства 101
Поэт рабочий 102
Той стороне 104
Левый марш 106
Потрясающие факты 107
Мы идем 109
Советская азбука 110

«Рабочий! Глупость беспартийную выкинь!..» 114
Песня рязанского мужика 114
«Оружие Антанты — деньги...» 115
«Если жить вразброд...» 115
История про бублики и про бабу, не признающую республики 116
Красный еж 117
«Каждый прогул...» 118
Частушки («Милкой мне в подарок бурка...») 118
Владимир Ильич! 118
Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче 120
Отношение к барышне 124
Гейнеобразное 124
«Портсигар в траву...» 124
Рассказ про то, как кума о Врангеле толковала без всякого ума 125
Сказка о дезертире, устроившемся недурненько, и о том, какая участь постигла его самого и семью шкурника . . . 129
Последняя страничка гражданской войны 143
О дряни 144
Два не совсем обычных случая 145
Стихотворение о Мясницкой, о бабе и о всероссийском масштабе 150
Приказ № 2 армии искусств 152
Прозаседавшиеся 154
Сволочи! 156
Бюрократиада 161
Моя речь на Генуэзской конференции 166
Германия 168
О поэтах 171
О «фиасках», «апогеях» и других неведомых вещах . . . 174
Париж (*Разговорчики с Эйфелевой башней*) 176
Газетный день 180
Мы не верим! 184

Тресты 185
17 апреля 187
Весенний вопрос 189
Универсальный ответ 191
Воровский 193
Баку 194
Молодая гвардия 196
Нордерней 197
Москва — Кенигсберг 199
Киев 203
Ух, и весело! 206
9-е января 209
Комсомольская 210
Юбилейное 215
Пролетарий, в зародыше задуши войну! 223
Севастополь — Ялта 230
Владикавказ — Тифлис 233
Тамара и Демон 238
Хулиганщина 242
Посмеемся! 243
Красная зависть 245
Выволакивайте будущее! 249

ПАРИЖ

Еду 250
Город 252
Верлен и Сезан 255
Notre-Dame 261
Версаль 264
Жорес 267
Прощание (Кафе) 270
Прощанье 274

СТИХИ ОБ АМЕРИКЕ

Испания 274
6 монахинь 275

Атлантический океан 278
Мелкая философия на глубоких местах 282
Блек энд уайт 284
Сифилис 287
Христофор Коломб 293
Тропики 300
Мексика 301
Богомольное 309
Мексика — Нью-Йорк 312
Бродвей 314
Свидетельствую 316
Барышня и Вульворт 319
Небоскреб в разрезе 322
Порядочный гражданин 325
Вызов 328
100% 330
Американские русские 333
Бруклинский мост 335
Кемп «Нит гедайге» 339
Домой! 342
Сергею Есенину 345
Марксизм — оружие, огнестрельный метод. Применяй умеючи метод этот! 350
Четырехэтажная халтура 354
Разговор с фининспектором о поэзии 357
Передовая передового 365
Взяточники 368
В повестку дня 372
Протекция 374
Любовь 377
Послание пролетарским поэтам 381
Фабрика бюрократов 386
Товарищу Нетте — пароходу и человеку 390
Ужасающая фамильярность 393
Канцелярские привычки 394
Хулиган («Республика наша в опасности...») 397

Хулиган («Ливень докладов...») 400
Разговор на одесском рейде десантных судов: «Советский Дагестан» и «Красная Абхазия» 402
Письмо писателя Владимира Владимировича Маяковского писателю Алексею Максимовичу Горькому 404
Долг Украине 409
Октябрь 412
Не юбилейте! 414
Стоящим на посту 418
О том, как некоторые втирают очки товарищам, имеющим циковские значки 421
Наше новогодие 424
Стабилизация быта 427
Бумажные ужасы 430
Нашему юношеству 432
По городам Союза 437
Моя речь на показательном процессе по случаю возможного скандала с лекциями профессора Шенгели 440
«За что боролись?» 444
«Даешь изячную жизнь» 447
Вместо оды 450
Лучший стих 453
«Ленин с нами!» 455
Весна 459
Осторожный марш 462
Венера Милосская и Вячеслав Полонский 464
Господин «народный артист» 468
Ну, что ж! 471
Общее руководство для начинающих подхалим 471
Крым («Хожу, гляжу в окно ли я...») 475
Товарищ Иванов 476
Посмотрим сами, покажем им 478
Иван Иванович Гонорарчиков 480
Чудеса! 483
Маруся отравилась 485
Письмо к любимой Молчанова, брошенной им... 492

«Массам непоиятно» 495
Размышления о Молчанове Иване и о поэзии 499
Екатеринбург — Свердловск 500
Рассказ литейщика Ивана Козырева о вселении в новую квартиру 503
Десятилетняя песня 506
Нагрузка по макушку 508
Кто он? 511
Служака 513
Критика самокритики 516
«Общее» и «мое» 520
Казань 523
Трус 526
Помпадур 529
Стих не про дрянь, а про дрянцо. Дрянцо хлещите рифм концом 532
Евпатория 534
Земля наша обильна 536
Плюшкин 538
Халтурщик 541
Секрет молодости 543
Галопщик по писателям 545
Идиллия 548
Столп 551
Подлиза 553
Сплетник 556
Хаижа 559
Стихи о разнице вкусов 562
Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви . 562
Письмо Татьяне Яковлевой 567
Ответ на будущие сплетни 570
Мразь 572
Перекопский энтузиазм! 573
Разговор с товарищем Лениным 575
Мрачное о юмористах 578
Урожайный марш 581

Душа общества 582
Кандидат из партии 584
Вонзай самокритику! 585
На Западе все спокойно 587
Парижанка 590
Красавицы 593
Стихи о советском паспорте 594
Американцы удивляются 597
Пример, не достойный подражания 599
Птичка божия 601
Стихи о Фоме 604
Я счастлив! 605
Рассказ Хренова о Кузнецкстрое и о людях Кузнецка . . . 608
Особое мнение 611
Даешь материальную базу! 613
Любители затруднений 615
Марш ударных бригад 617
Ленинцы 620

СТИХИ ДЕТЯМ

Что такое хорошо и что такое плохо? 623
Что ни страница,— то слон, то львица 626
Эта книжечка моя про моря и про маяк 628
Конь-огонь 630
Прочти и катай в Париж и в Китай 633
Возьмем винтовки новые 640
Майская песенка 642
Кем быть 642
Песня-молитва 649

МОЕ ОТКРЫТИЕ АМЕРИКИ 653

Примечания *А. Ушакова* 733

Маяковский В. В.

М 39 Сочинения в двух томах, т. I/Сост. Ал. Михайлова; Вступ. ст. А. Метченко; Прим. А. Ушакова.— М.: Правда, 1987.—768 с., ил.

В первый том Сочинений В. В. Маяковского входят автобиографические заметки «Я сам», избранные стихотворения и книга очерков «Мое открытие Америки».

М $\frac{4702010200-1475}{080(02)-87}$ 1475—87 84 Р7

Владимир Владимирович Маяковский

СОЧИНЕНИЯ В ДВУХ ТОМАХ

Том первый

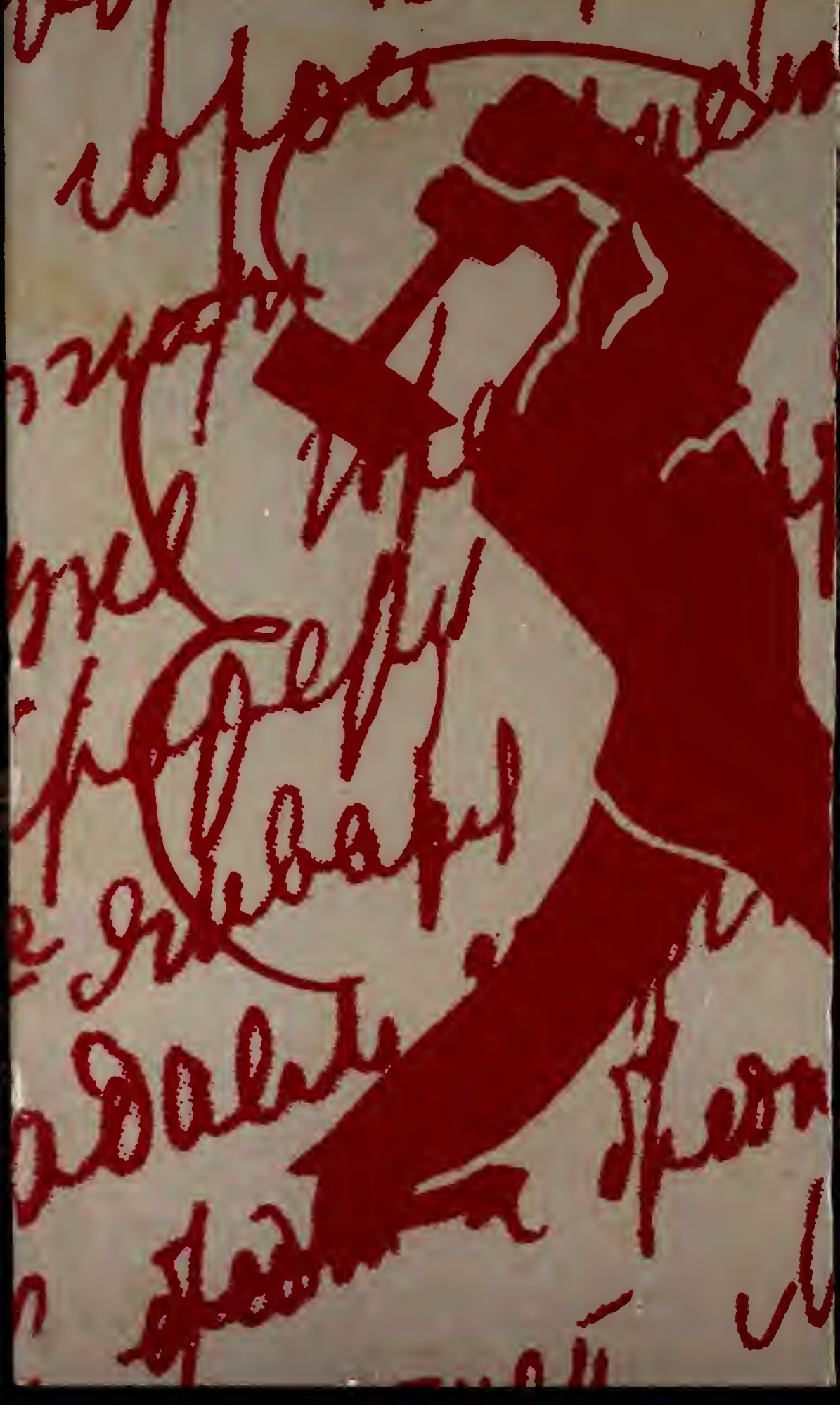
Редакторы Е. Дворецкая, Т. Лодяная
Художественные редакторы А. Моисеев, В. Масленников
Технический редактор К. Заботина

ИБ 1475

Сдано в набор 08.05.86. Подписано в печать 24.09.86.
Формат 84×108¹/₃₂. Бумага типографская № 1.
Гарнитура «Академическая». Печать высокая.
Усл. печ. л. 40,32. Усл. кр.-отт. 40,74. Уч.-изд. л. 43,19.
Тираж 6 000 000 экз. (3-й завод: 500 001—750 000). Заказ № 1850.
Цена 3 р. 80 к.

Набрано и отпечатано в ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типографии имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда», 125865, ГСП, Москва, А-137, улица «Правды», 24.

Отпечатано в типографии изд-ва Архангельского обкома КПСС, 163002, г. Архангельск, проспект Новгородский, 32.



В·В·МАЯКОВСКИЙ